30643

ОНОРЕ де БАЛЬЗАК

НЕВЕДОМЫЙ ШЕДЕВР

ПОИСКИ АБСОЛЮТА

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

Литературные Памятники

HONORÉ de BALZAC

LE CHEF-D'ŒUVRE INCONNU

LA RECHERCHE DE L'ABSOLU

ОНОРЕ де БАЛЬЗАК

НЕВЕДОМЫЙ ШЕДЕВР

ПОИСКИ АБСОЛЮТА

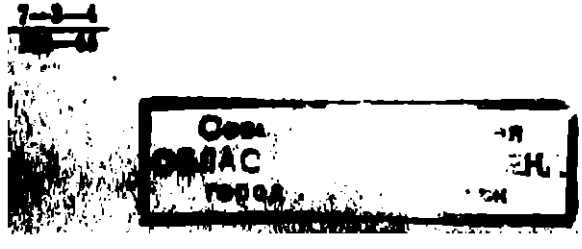
30643

ИЗДАТЕЛЬСТВО „НАУКА"
Москва 1966

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СЕРИИ
«ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ»

Академики: *Н. И. Конрад* (председатель),
М. П. Алексеев, *В. В. Виноградов*, *С. Д. Сказкин*;
члены-корреспонденты АН СССР:
И. И. Анисимов, *Д. Д. Благой*, *В. М. Жирмунский*,
Д. С. Лихачев, *А. М. Самсонов*;
член-корреспондент АН Таджикской ССР
И. С. Брагинский;
доктора филологических наук:
А. А. Елистратова, *Ю. Г. Оксман*;
доктор исторических наук *С. Л. Утченко*;
кандидат филологических наук *Н. И. Балашов*;
кандидат исторических наук *Д. В. Озноби шин* (ученый секретарь)

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР
Н. И. БАЛАШОВ

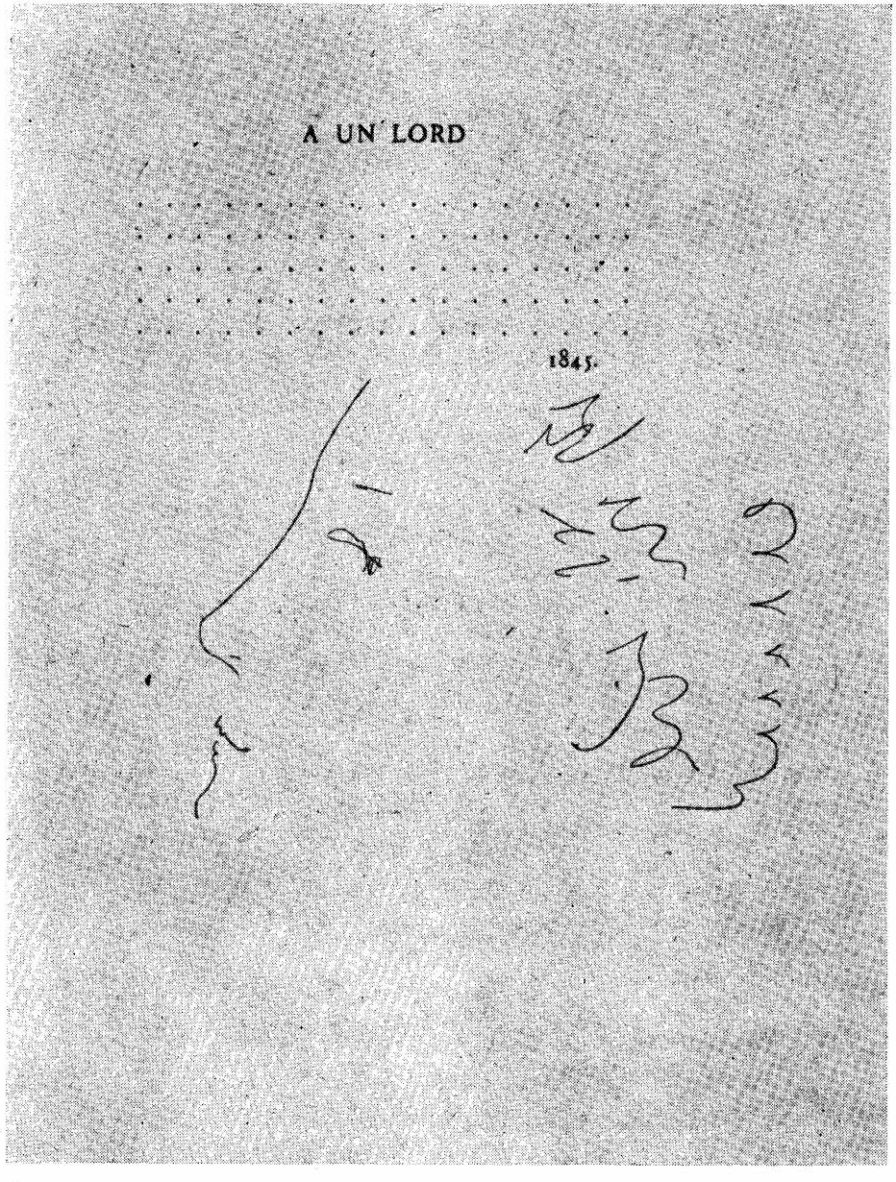


НЕВЕДОМЫЙ ШЕДЕВР

В настоящем издании впервые на русском языке публикуются не только окончательная (1837), но и первоначальная (1831) редакции повести «Неведомый шедевр». Для того чтобы ясно показать читателю динамику мысли и художественного образа Бальзака, при воспроизведении окончательного текста вертикальной чертой на полях обозначены добавления, сделанные Бальзаком при переработке повести.

В первоначальном тексте чертой на полях отмечены места, снятые автором в процессе работы.

Указания на полях не претендуют на исчерпывающую текстологическую характеристику сложного процесса работы Бальзака над повестью и должны дать представление об основном направлении этой работы.



Страница издания «Неведомого шедевра», иллюстрированного Пабло Пикассо (Париж, 1931)

ОДНОМУ ЛОРДУ

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

1845.

I

Жиллетта

В конце 1612 года холодным декабрьским утром какой-то юноша, весьма легко одетый, шагал взад и вперед мимо двери дома, расположенного по улице Больших Августинцев, в Париже. Походив так довольно долго, подобно нерешительному влюбленному, не смеющему предстать перед своей первой возлюбленной, как бы доступна она ни была, юноша перешагнул наконец порог двери и спросил, у себя ли мэтр Франсуа Порбус[1]. Получив утвердительный ответ от старухи, подметавшей сени, юноша стал медленно подыматься, останавливаясь на каждой ступеньке, как новый придворный, озабоченный мыслью, какой прием окажет ему король. Взобравшись наверх по винтовой лестнице, юноша постоял на площадке, все не решаясь коснуться причудливого молотка, украшавшего дверь мастерской, где, вероятно, в тот час работал живописец Генриха IV, забытый Марией Медичи ради Рубенса[2]. Юноша испытывал то сильное чувство, которое, должно быть, заставляло биться сердце великих художников, когда, полные юного пыла и любви к искусству, они приближались к гениальному человеку или к великому произведению. У всех человеческих чувств бывает пора первого цветения, порождаемого благородными порывами, постепенно ослабевающими, пока счастье не станет лишь воспоминанием, а слава — ложью. Среди недолговечных волнений сердца ничто так не напоминает любви, как юная страсть художника, вкушающего первые чудесные муки на пути славы и несчастий, — страсть, полная отваги и робости, смутной веры и неизбежных разочарований. У того, кто в дни безденежья и первых творческих замыслов не испытывал живого трепета при встрече с большим мастером, всегда будет недоставать одной струны в душе, какого-то мазка кисти, какого-то чувства в творчестве, какого-то неуловимого поэтического оттенка. Некоторые самодовольные хвастуны, слишком рано уверовавшие в свою будущность, кажутся людьми умными только глуп-

цам. В этом отношении все говорило в пользу неизвестного юноши, если измерять талант по той первоначальной робости, по той необъяснимой застенчивости, которую люди, созданные для славы, легко утрачивают, вращаясь постоянно в области искусства, как утрачивают робость красивые женщины, упражняясь постоянно в кокетстве. Привычка к успеху заглушает сомнения, а стыдливость и есть, быть может, сомнение.

Удрученный нуждой и удивляясь в эту минуту собственной дерзновенности, бедный новичок так и не решился бы войти к художнику, которому мы обязаны прекрасным портретом Генриха IV, если бы на помощь не явился неожиданный случай. По лестнице поднялся какой-то старик. По странному его костюму, по великолепному кружевному воротнику, по важной, уверенной походке юноша догадался, что это или покровитель, или друг мастера, и, сделав шаг назад, чтобы уступить ему место, он стал его рассматривать с любопытством, в надежде найти в нем доброту художника или любезность, свойственную любителям искусства, — но в лице старика было что-то дьявольское и еще нечто неуловимое, своеобразное, столь привлекательное для художников. Вообразите высокий выпуклый лоб с залысинами, нависающий над маленьким, плоским, вздернутым на конце носом, как у Рабле или Сократа; губы насмешливые и в морщинках; короткий, надменно приподнятый подбородок; седую остроконечную бороду; зеленые, цвета морской воды, глаза, которые как будто выцвели от старости, но, судя по перламутровым переливам белка, были иногда способны бросать магнетический взгляд в минуту гнева или восторга. Впрочем, это лицо казалось поблекшим не столько от старости, сколько от тех мыслей, которые изнашивают и душу и тело. Ресницы уже выпали, а на надбровных дугах едва приметны были редкие волоски. Приставьте эту голову к хилому и слабому телу, окаймите ее кружевами, сверкающими белизной и поразительными по ювелирной тонкости работы, накиньте на черный камзол старика тяжелую золотую цепь, и вы получите несовершенное изображение этого человека, которому слабое освещение лестницы придавало фантастический оттенок. Вы сказали бы, что это портрет кисти Рембрандта[3], покинувший свою раму и молча движущийся в полутьме, присущей этому великому художнику. Старик бросил проницательный взгляд на юношу, постучался три раза и сказал болезненному человеку лет сорока на вид, открывшему дверь:

— Добрый день, мэтр.

Порбус учтиво поклонился; он впустил юношу, полагая, что тот пришел со стариком, и уже не обращал на него никакого внимания, тем более что новичок замер в восхищении, подобно всем прирожденным художникам, впервые попавшим в мастерскую, где они могут подсмотреть некоторые приемы искусства. Открытое окно, пробитое в своде, освещало помещение мастера Порбуса. Свет был сосредоточен на мольберте

Френхофер. Гравюра с рисунка Берталя по первому изданию «Человеческой комедии», том 14 (Париж, 1845)

с прикрепленным к нему полотном, где было положено только три-четыре белых мазка, и не достигал углов этой обширной комнаты, в которых царил мрак; но прихотливые отсветы то зажигали в бурой полутьме серебристые блестки на выпуклостях рейтарской кирасы, висевшей на стене, то вырисовывали резкой полосой полированный резной карниз старинного шкафа, уставленного редкостной посудой, то усеивали блестящими точками шероховатую поверхность каких-то старых занавесей из золотой парчи, подобранных крупными складками, служивших, вероятно, натурой для какой-нибудь картины. Гипсовые слепки обнаженных мускулов, обломки и торсы античных богинь, любовно отшлифованные поцелуями веков, загромождали полки и консоли. Бесчисленные наброски, этюды, сделанные тремя карандашами, сангиной или пером, покрывали стены до потолка. Ящички с красками, бутылки с маслами и эссенциями, опрокинутые скамейки оставляли только узенький проход, чтобы пробраться к высокому окну; свет из него падал прямо на бледное лицо Порбуса и на голый, цвета слоновой кости череп странного человека. Внимание юноши было поглощено одной лишь картиной, уже знаменитой даже в те тревожные, смутные времена [4], так что ее приходили смотреть упрямцы, которым мы обязаны сохранением священного огня в дни безвременья. Эта прекрасная страница искусства изображала Марию Египетскую [5], намеревающуюся расплатиться за переправу в лодке. Шедевр, предназначенный для Марии Медичи, был ею впоследствии продан в дни нужды.

— Твоя святая мне нравится, — сказал старик Порбусу, — я заплатил бы тебе десять золотых экю сверх того, что дает королева, но попробуй посоперничай с ней... черт возьми!

— Вам нравится эта вещь?

— Хе-хе, нравится ли? — пробурчал старик. — И да и нет. Твоя женщина неплохо скроена, но она неживая. Вам всем, художникам, только бы правильно нарисовать фигуру, чтобы все было на месте по законам анатомии. Вы раскрашиваете линейный рисунок краской телесного тона, заранее составленной на вашей палитре, стараясь при этом делать одну сторону темнее, чем другую, и потому только, что время от времени вы смотрите на голую женщину, стоящую перед вами на столе, вы полагаете, что воспроизводите природу, вы воображаете, будто вы — художники и будто вы похитили тайну у бога... Брррр! Для того чтобы быть великим поэтом, недостаточно знать в совершенстве синтаксис [6] и не делать ошибок в языке! Посмотри на свою святую, Порбус! С первого взгляда она кажется прелестной, но, рассматривая ее дольше, замечаешь, что она приросла к полотну и что ее нельзя было бы обойти кругом. Это только силуэт, имеющий одну лицевую сторону, только вырезанное изображение, подобие женщины, которое не могло бы ни повернуться, ни переменить положение. Я не чувствую воздуха между этими руками и фоном кар-

тины; недостает пространства и глубины; а между тем законы удаления вполне выдержаны, воздушная перспектива соблюдена точно; но, несмотря на все эти похвальные усилия, я не могу поверить, чтобы это прекрасное тело было оживлено теплым дыханием жизни; мне кажется, если я приложу руку к этой округлой груди, я почувствую, что она холодна, как мрамор! Нет, друг мой, кровь не течет в этом теле цвета слоновой кости, жизнь не разливается пурпурной росой по венам и жилкам, переплетающимся сеткой под янтарной прозрачностью кожи на висках и на груди. Вот это место дышит, ну, а вот другое совсем неподвижно, жизнь и смерть борются в каждой частице картины; здесь чувствуется женщина, там — статуя, а дальше — труп. Твое создание несовершенно. Тебе удалось вдохнуть только часть своей души в свое любимое творение. Факел Прометея угасал не раз в твоих руках, и небесный огонь не коснулся многих мест твоей картины.

— Но отчего же, дорогой учитель? — почтительно сказал Порбус старику, в то время как юноша еле сдерживал желание его избить.

— А вот отчего! — сказал старик. — Ты колебался между двумя системами, между рисунком и краской, между флегматичной мелочностью, жесткой точностью старых немецких мастеров и ослепительной страстностью, чудесной щедростью итальянских художников. Ты хотел подражать одновременно Гансу Гольбейну и Тициану, Альбрехту Дюреру и Паоло Веронезе. Конечно, то было великолепное притязание. Но что же получилось? Ты не достиг ни сурового очарования сухости, ни обманчивого волшебства светотени. Как расплавленная медь прорывает слишком хрупкую форму, так вот в этом месте богатые и золотистые тона Тициана прорвались сквозь строгий контур Альбрехта Дюрера, в который ты их втиснул. В других местах рисунок устоял и выдержал великолепное изобилие венецианской палитры. В лице нет ни совершенства рисунка, ни совершенства колорита, и оно носит следы твоей злосчастной нерешительности. Раз ты не чувствовал за собой достаточной силы, чтобы сплавить на огне твоего гения обе соперничающие меж собой манеры письма, то надо было решительно выбрать ту или другую, чтобы достичь того единства, которое воспроизводит одну из особенностей живой натуры. Ты правдив только в срединных частях; контуры неверны, они не закругляются, и за ними ничего не ожидаешь. Вот здесь есть правда, — сказал старик, указывая на грудь святой. — И потом еще здесь, — продолжал он, отмечая точку, где на картине кончалось плечо. — Но вот тут, — сказал он, снова возвращаясь к середине груди, — тут все неверно... Оставим всякий разбор, а то ты придешь в отчаяние...

Старик сел на скамеечку, оперся головой на руки и замолчал.

— Учитель, — сказал ему Порбус, — все же я много изучал эту грудь на нагом теле, но, на наше несчастье, природа порождает такие впечатления, какие кажутся невероятными на полотне...

— Задача искусства не в том, чтобы копировать природу, но чтобы ее выражать! Ты не жалкий копиист, но поэт! — живо воскликнул старик, обрывая Порбуса властным жестом. — Иначе скульптор исполнил бы свою работу, сняв гипсовую форму с женщины. Ну, так попробуй, сними гипсовую форму с руки своей возлюбленной и положи ее перед собой, — ты не увидишь ни малейшего сходства, это будет рука трупа, и тебе придется обратиться к ваятелю, который, не давая точной копии, передаст движение и жизнь[7]. Нам должно схватывать душу, смысл, характерный облик вещей и существ. Впечатления! Впечатления! Да ведь они — только случайности жизни, а не сама жизнь! Рука, раз я уж взял этот пример, рука не только составляет часть человеческого тела — она выражает и продолжает мысль, которую надо схватить и передать. Ни художник, ни поэт, ни скульптор не должны отделять впечатление от причины, так как они нераздельны — одно в другом[8]. Вот в этом и заключается истинная цель борьбы. Многие художники одерживают победу инстинктивно, не зная об этой задаче искусства. Вы рисуете женщину, но вы ее не видите. Не таким путем удается вырвать секрет у природы. Вы воспроизводите, сами того не сознавая, одну и ту же модель, списанную вами у вашего учителя. Вы недостаточно близко познаете форму, вы недостаточно любовно и упорно следуете за нею во всех ее поворотах и отступлениях. Красота строга и своенравна, она не дается так просто, нужно поджидать урочный час, выслеживать ее и, схватив, держать крепко, чтобы принудить ее к сдаче. Форма — это Протей, куда более неуловимый и богатый ухищрениями, чем Протей в мифе! Только после долгой борьбы ее можно приневолить показать себя в настоящем виде. Вы все довольствуетесь первым обликом, в каком она соглашается вам показаться, или, в крайнем случае, вторым, третьим; не так действуют победоносные борцы. Эти непреклонные художники не дают себя обмануть всяческими изворотами и упорствуют, пока не принудят природу показать себя совершенно нагой, в своей истинной сути. Так поступал Рафаэль, — сказал старик, сняв при этом с головы черную бархатную шапочку, чтобы выразить свое преклонение перед королем искусства. — Великое превосходство Рафаэля является следствием его способности глубоко чувствовать, которая у него как бы разбивает форму. Форма в его творениях та, какой она должна быть и у нас, только посредник для передачи идей, ощущений, разносторонней поэзии[9]. Всякое изображение есть целый мир — это портрет, моделью которого было величественное видение, озаренное светом, указанное внутренним голосом и предстающее перед нами без покровов, когда небесный перст открывает нам источники выражения в прошлом целой жизни. Вы облекаете ваших женщин в нарядную одежду плоти, украшаете их прекрасным плащом кудрей, но где же кровь, текущая по жилам, порождающая спокойствие или страсть и производящая совсем особое впечатление? Твоя святая — брюнетка, но вот эти краски, бедный

мой Порбус, взяты у блондинки! Поэтому-то созданные вами лица — только раскрашенные призраки, которые вы проводите перед нашими глазами, — и это вы называете живописью и искусством! Из-за того, что вы сделали нечто, более напоминающее женщину, чем дом, вы воображаете, что достигли цели, и, гордые тем, что вам нет надобности в надписях при ваших изображениях — currus venustus * или pulcher homo **, — как у первых живописцев, вы воображаете себя удивительными художниками! . . Ха-ха... Нет, вы этого еще не достигли, милые мои сотоварищи, придется вам исчертить немало карандашей, извести немало полотен, раньше чем стать художниками. Совершенно справедливо, женщина держит голову таким образом, она так приподнимает юбку, утомление в ее глазах светится вот такой покорной нежностью, трепещущая тень ее ресниц дрожит именно так на ее щеках. Все это так — и не так! Чего же здесь недостает? Пустяка, но этот пустяк — все. Вы схватываете внешность жизни, но не выражаете ее бьющего через край избытка; не выражаете того, что, быть может, и есть душа и что, подобно облаку, окутывает поверхность тел; иначе сказать, вы не выражаете той цветущей прелести жизни, которая была схвачена Тицианом и Рафаэлем. Исходя из высшей точки ваших достижений и продвигаясь дальше, можно, пожалуй, создать прекрасную живопись, но вы слишком скоро утомляетесь. Заурядные люди приходят в восторг, а истинный знаток улыбается. О Мабузе! — воскликнул этот странный человек. — О учитель мой, ты вор, ты унес с собою жизнь! . . При всем том, — продолжал старик, — это полотно лучше, чем полотна наглеца Рубенса с горами фламандского мяса, присыпанного румянами, с потоками рыжих волос и с кричащими красками. По крайней мере у тебя здесь имеются колорит, чувство и рисунок — три существенных части Искусства.

— Но эта святая восхитительна, сударь! — воскликнул громко юноша, пробуждаясь от глубокой задумчивости. — В обоих лицах, в лице святой и в лице лодочника, чувствуется тонкость художественного замысла, неведомая итальянским мастерам. Я не знаю ни одного из них, кто мог бы изобрести такое выражение нерешительности у лодочника.

— Это ваш юнец? — спросил Порбус старика.

— Увы, учитель, простите меня за дерзость, — ответил новичок, краснея. — Я неизвестен, малюю по влечению и прибыл только недавно в этот город, источник всех знаний.

— За работу! — сказал ему Порбус, подавая красный карандаш и бумагу.

Неизвестный юноша скопировал быстрыми штрихами фигуру Марии.

— Ого! . . — воскликнул старик. — Ваше имя?

---

* Прекрасная колесница (*лат.*).

** Красивый человек (*лат.*).

Юноша подписал под рисунком: «Никола́ Пуссен» [11].

— Недурно для начинающего, — сказал странный, так безумно рассуждавший старик. — Я вижу, при тебе можно говорить о живописи. Я не осуждаю тебя за то, что ты восхитился святой Порбуса. Для всех эта вещь — великое произведение, и только лишь те, кто посвящен в самые сокровенные тайны искусства, знают, в чем ее погрешности. Но так как ты достоин того, чтобы дать тебе урок, и способен понимать, то я сейчас тебе покажу, какой требуется пустяк для завершения этой картины. Смотри во все глаза и напрягай все внимание. Никогда, быть может, тебе не выпадет другой такой случай поучиться. Дай свою палитру, Порбус.

Порбус пошел за палитрой и кистями. Старик, порывисто засучив рукава, просунул большой палец в отверстие пестрой палитры, отягченной красками, которую Порбус подал ему; он почти что выхватил из рук его горсть кистей разного размера, и внезапно борода старика, подстриженная клином, грозно зашевелилась, выражая своими движениями беспокойство страстной фантазии. Забирая кистью краску, он ворчал сквозь зубы:

— Эти тона стоит бросить за окно вместе с их составителем, они отвратительно резки и фальшивы, — как этим писать?

Затем он с лихорадочной быстротой окунул кончики кистей в различные краски, иногда пробегая всю гамму проворнее церковного органиста, пробегающего по клавишам пасхальный гимн O filii *.

Порбус и Пуссен стояли по обеим сторонам полотна, погруженные в глубокое созерцание.

— Видишь ли, юноша, — говорил старик, не оборачиваясь, — видишь ли, как при помощи двух-трех штрихов и одного голубовато-прозрачного мазка можно было добиться, чтобы повеял воздух вокруг головы этой бедняжки святой, которая, должно быть, совсем задыхалась и погибала в столь душной атмосфере. Посмотри, как эти складки колышутся теперь и как стало понятно, что ими играет ветерок! Прежде казалось, что это накрахмаленное полотно, заколотое булавками. Замечаешь ли, как верно передает бархатистую упругость девичьей кожи вот этот светлый блик, только что мною положенный на грудь, и как эти смешанные тона — красно-коричневый и жженой охры — разлились теплом по этой большой тени, серой и холодной, где кровь застыла, вместо того чтобы двигаться. Юноша, юноша, никакой учитель тебя не научит тому, что я показываю тебе сейчас! Один лишь Мабузе знал секрет, как придавать жизнь фигурам. Мабузе насчитывал только одного ученика [12] — меня. У меня же их не было совсем, а я стар. Ты достаточно умен, чтобы понять остальное, на что намекаю.

---

* О, сыновья! (*лат.*).

Говоря так, странный старик тем временем исправлял разные части картины: сюда наносил два мазка, туда — один, и каждый раз так кстати, что возникала как бы новая живопись, живопись, насыщенная светом. Он работал так страстно, так яростно, что пот выступил на его голом черепе; он действовал так проворно, такими резкими, нетерпеливыми движениями, что молодому Пуссену казалось, будто этим странным человеком овладел демон и против его воли водит его рукой по своей прихоти. Сверхъестественный блеск глаз, судорожные взмахи руки, как бы преодолевающие сопротивление, придавали некоторое правдоподобие этой мысли, соблазнительной для юношеской фантазии. Старик продолжал свою работу, приговаривая:

— Паф! Паф! Паф! Вот как оно мажется, юноша! Сюда, мои мазочки, оживите вот эти ледяные тона. Ну же! Так, так, так! — говорил он, оживляя те части, на которые указывал как на безжизненные, несколькими пятнами красок уничтожая несогласованность и восстанавливая единство тона, который соответствовал бы пылкой египтянке.

— Видишь ли, милый, только последние мазки имеют значение. Порбус наложил их сотни, я же кладу только один. Никто не станет благодарить за то, что лежит снизу. Запомни это хорошенько!

Наконец демон этот остановился и, повернувшись к онемевшим от восхищения Порбусу и Пуссену, сказал им:

— Этой вещи еще далеко до моей «Прекрасной Нуазезы», однако под таким произведением можно поставить свое имя. Да, я подписался бы под этой картиной, — прибавил он, вставая, чтобы достать зеркало, в которое стал ее рассматривать. — А теперь пойдемте завтракать, — сказал он. — Прошу вас обоих ко мне. Я угощу вас копченой ветчиной и хорошим вином. Хе-хе, несмотря на плохие времена, мы поговорим о живописи. Мы что-нибудь да значим! Вот молодой человек не без способностей, — добавил он, ударяя по плечу Никола Пуссена.

Тут, обратив внимание на жалкую курточку нормандца, старик достал из-за кушака кожаный кошелек, порылся в нем, вынул два золотых и, протягивая их Пуссену, сказал:

— Я покупаю твой рисунок.

— Возьми, — сказал Порбус Пуссену, видя, что тот вздрогнул и покраснел от стыда, потому что в молодом художнике заговорила гордость бедняка. — Возьми же, его мошна набита туже, чем у короля!

Они вышли втроем из мастерской и, беседуя об искусстве, дошли до стоявшего неподалеку от моста Сен-Мишель красивого деревянного дома, который привел в восторг Пуссена своими украшениями, дверной колотушкой, оконными переплетами и арабесками. Будущий художник оказался вдруг в приемной комнате, около пылающего камина, близ стола, уставленного вкусными блюдами, и, по неслыханному счастью, в обществе двух великих художников, столь милых в обращении.

Северо-Казахстанский
ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА
город Петропавловск

— Юноша, — сказал Порбус новичку, видя, что тот уставился на одну из картин, — не смотрите слишком пристально на это полотно, иначе вы впадете в отчаяние.

Это был «Адам» [13] — картина, написанная Мабузе, чтобы освободиться из тюрьмы, где его так долго держали заимодавцы. Вся фигура Адама полна была действительно такой мощной реальности, что с этой минуты Пуссену стал понятен истинный смысл неясных слов старика. А тот смотрел на картину с видом удовлетворения, но без особого энтузиазма, как бы думая при этом: «Я лучше пишу».

— В ней есть жизнь, — сказал он, — мой бедный учитель здесь превзошел себя, но в глубине картины он не совсем достиг правдивости. Сам человек — вполне живой, он вот-вот встанет и подойдет к нам. Но воздуха, которым мы дышим, неба, которое мы видим, ветра, который мы чувствуем, там нет. Да и человек здесь — только человек. Между тем в этом единственном человеке, только что вышедшем из рук бога, должно было бы чувствоваться нечто божественное, а его-то и недостает. Мабузе сам сознавался в этом с грустью, когда не бывал пьян.

Пуссен смотрел с беспокойным любопытством то на старца, то на Порбуса. Он подошел к последнему, вероятно, намереваясь спросить имя хозяина дома; но художник с таинственным видом приложил палец к устам, и юноша, живо заинтересованный, промолчал, надеясь рано или поздно по каким-нибудь случайно оброненным словам угадать имя хозяина, о богатстве и талантах которого достаточно свидетельствовали и уважение, проявляемое к нему Порбусом, и те чудесные произведения, какими была заполнена комната.

Увидя на темной дубовой панели великолепный портрет женщины. Пуссен воскликнул:

— Какой прекрасный Джорджоне! [14]

— Нет! — возразил старик. — Перед вами одна из ранних моих вещиц.

— Господи, значит, я в гостях у самого бога живописи! — сказал простодушно Пуссен.

Старец улыбнулся, как человек, давно свыкшийся с подобного рода похвалами.

— Френхофер, учитель мой [15], — сказал Порбус, — не могу ли я получить немного вашего доброго рейнского?

— Две бочки, — ответил старик, — одну в награду за то удовольствие, какое доставил мне утром вид твоей красивой грешницы, а другую — в знак дружбы.

— Ах, если бы не постоянные мои болезни, — продолжал Порбус, — и если бы вы разрешили мне взглянуть на вашу «Прекрасную Нуазезу», я создал бы тогда произведение высокое, большое, проникновенное и фигуры написал бы в человеческий рост.

— Показать мою работу?! — воскликнул в сильном волнении старик. — Нет, нет! Я еще должен завершить ее. Вчера под вечер, — сказал старик, — я думал, что я окончил свою Нуазезу. Ее глаза мне казались влажными, а тело одушевленным. Косы ее извивались. Она дышала! Хотя мною найден способ изображать на плоском полотне выпуклости и округлости натуры, но сегодня утром, при свете, я понял свою ошибку. Ах, чтобы добиться окончательного успеха, я изучил основательно великих мастеров колорита, я разобрал, я рассмотрел слой за слоем картины Тициана, короля света. Я так же, как этот величайший художник, наносил первоначальный рисунок лица светлыми и жирными мазками, потому что тень — только случайность, запомни это, мой мальчик. Затем я вернулся к своему труду и при помощи полутеней и прозрачных тонов, которые я понемногу сгущал, передал тени, вплоть до черных, до самых глубоких; ведь у заурядных художников натура в тех местах, где на нее падает тень, как бы состоит из другого вещества, чем в местах освещенных, — это дерево, бронза, все что угодно, только не затененное тело. Чувствуется, что, если бы фигуры изменили свое положение, затененные места не выступили бы, не осветились бы. Я избег этой ошибки, в которую впадали многие из знаменитых художников, и у меня под самой густой тенью чувствуется настоящая белизна. Я не вырисовывал фигуру резкими контурами, как многие невежественные художники, воображающие, что они пишут правильно только потому, что выписывают гладко и тщательно каждую линию, и не выставлял мельчайших анатомических подробностей, потому что человеческое тело не заканчивается линиями. В этом отношении скульпторы стоят ближе к истине, чем мы, художники. Натура состоит из ряда округлостей, переходящих одна в другую. Строго говоря, рисунка не существует! [16] Не смейтесь, молодой человек. Сколь ни странными вам кажутся эти слова, когда-нибудь вы уразумеете их смысл. Линия есть способ, посредством которого человек отдает себе отчет о воздействии света на предмет. Но в природе, где все выпукло, нет линий: только моделированием создается рисунок, то есть выделение предмета в той среде, где он существует; только распределение света дает видимость телам! Поэтому я не давал жестких очертаний, я скрыл контуры легкою мглою светлых и теплых полутонов, так что у меня нельзя было бы указать пальцем в точности то место, где контур встречается с фоном. Вблизи эта работа кажется как бы мохнатой, ей словно недостает точности, но если отступить на два шага, то все сразу делается устойчивым, определенным и отчетливым, тела движутся, формы становятся выпуклыми, чувствуется воздух. И все-таки я еще не доволен, меня мучат сомнения. Может быть, не следовало проводить ни единой черты, может быть, лучше начинать фигуру с середины, принимаясь сперва за самые освещенные выпуклости, а затем уже переходить к частям более темным. Не так ли действует солнце, божественный живописец мира?

О природа, природа! Кому когда-либо удалось поймать твой ускользающий облик? Но вот, излишнее знание, так же как и невежество, приводит к отрицанию. Я сомневаюсь в моем произведении.

Старик помолчал, затем начал снова.

— Вот уже десять лет, юноша, как я работаю. Но что значат десять коротких лет, когда дело идет о том, чтобы овладеть живой природой! Нам неведомо, сколько времени потратил властитель Пигмалион [17], создавая ту единственную статую, которая ожила!

Старик впал в глубокое раздумье и, устремив глаза в одну точку, машинально вертел в руках нож.

— Это он ведет беседу со своим *духом*, — сказал Порбус вполголоса.

При этих словах Никола Пуссена охватило неизъяснимое любопытство художника. Старик с бесцветными глазами, сосредоточенный на чем-то и оцепенелый, стал для Пуссена существом, превосходящим человека, предстал перед ним как причудливый гений из неведомой сферы. Он будил в душе тысячу смутных мыслей. Явлений духовной жизни, сказывающихся в подобном колдовском воздействии, нельзя определить точно, как нельзя передать волнение, которое вызывает песня, напоминающая сердцу изгнанника о родине. Открытое презрение этого старика к самым лучшим начинаниям искусства, его манеры, почтение, с каким относился к нему Порбус, его работа, так долго скрываемая, работа, осуществленная ценой великого терпения и, очевидно, гениальная, если судить по эскизу головы богоматери, который вызвал столь откровенное восхищение молодого Пуссена и был прекрасен даже при сравнении с «Адамом» Мабузе, свидетельствуя о мощной кисти одного из державных властителей искусства, — все в этом старце выходило за пределы человеческой природы. В этом сверхъестественном существе пылкому воображению Никола Пуссена ясно, ощутительно представилось только одно: то, что это был совершенный образ прирожденного художника, одна из тех безумных душ, которым дано столько власти и которые ею слишком часто злоупотребляют, уводя за собой холодный разум простых людей и даже любителей искусства по тысяче каменистых дорог, где те не найдут ничего, между тем как этой душе с белыми крыльями, безумной в своих причудах, видятся там целые эпопеи, дворцы, создания искусства. Существо по природе насмешливое и доброе, богатое и бедное! Таким образом, для энтузиаста Пуссена этот старик преобразился внезапно в само Искусство, искусство со всеми своими тайнами, порывами и мечтаниями.

— Да, милый Порбус, — опять заговорил Френхофер, — мне до сих пор не пришлось встретить безукоризненную красавицу, тело, контуры которого были бы совершенной красоты, а цвет кожи... Но где же найти ее живой, — сказал он, прерывая сам себя, — эту необретаемую Венеру древних? Мы так жадно ищем ее, но едва находим лишь разрозненные частицы ее красоты! Ах, чтобы увидать на одно мгновение, только один

Франс Поурбус-младший. Гравюра из книги по истории живописи (Париж, 1864)

раз, божественно-прекрасную натуру, совершенство красоты — одним словом, идеал, я отдал бы все свое состояние. Я отправился бы за тобой в загробный мир, о небесная красота! Как Орфей, я сошел бы в ад искусства [18], чтобы привести оттуда жизнь.

— Мы можем уйти, — сказал Порбус Пуссену, — он нас уже не слышит и не видит.

— Пойдемте в его мастерскую, — ответил восхищенный юноша.

— О, старый рейтар сумел закрыть туда вход. Его сокровища очень хорошо оберегаются, и нам туда не проникнуть. Не у вас первого возникла такая мысль и желание, я уже пытался раскрыть тайну.

— Тут, значит, есть тайна?

— Да, — ответил Порбус. — Старый Френхофер — единственный, кого Мабузе захотел взять себе в ученики. Френхофер стал его другом, спасителем, отцом, потратил на удовлетворение его страстей бо́льшую часть своих богатств, а Мабузе взамен передал ему секрет рельефа, свое умение придавать фигурам ту необычайную жизненность, ту натуральность, над которой мы так безнадежно бьемся, — меж тем как Мабузе владел этим мастерством столь совершенно, что, когда ему случилось пропить шелковую узорчатую ткань, в которую ему предстояло облечься для присутствия при торжественном выходе Карла Пятого, Мабузе сопровождал туда своего покровителя в одеждах из бумаги, разрисованной под шелк. Необычайное великолепие костюма Мабузе привлекло внимание самого императора, который, выразив благодетелю старого пьяницы восхищение по этому поводу, тем самым способствовал раскрытию обмана. Френхофер — человек, относящийся со страстью к нашему искусству, воззрения его шире и выше, чем у других художников. Он глубоко размышлял по поводу красок, по поводу абсолютной правдивости линий, но дошел до того, что стал сомневаться даже в предмете своих размышлений. В минуту отчаяния он утверждал, что рисунка не существует, что линиями можно передать только геометрические фигуры. Это совершенно неверно уже потому, что можно создать изображение при помощи одних только линий и черных пятен, у которых ведь нет цвета. Это доказывает, что наше искусство составлено, как и сама природа, из множества элементов: в рисунке дается остов, колорит есть жизнь, но жизнь без остова — нечто более несовершенное, чем остов без жизни. И, наконец, самое важное: практика и наблюдательность для художника — все, и когда рассудок и поэзия не ладят с кистью, то человек доходит до сомнения, как наш старик, художник искусный, но в такой же мере и сумасшедший. Великолепный живописец, он имел несчастье родиться богатым, что позволяло ему предаваться размышлениям. Не подражайте ему! Работайте! Художники должны рассуждать только с кистью в руках.

— Мы проникнем в эту комнату! — воскликнул Пуссен, не слушая более Порбуса и более ни в чем не сомневаясь.

Порбус улыбнулся, видя восторженность юного незнакомца, и расстался с ним, пригласив заходить к нему.

Никола Пуссен медленным шагом вернулся на улицу де-ля-Арп и, сам того не замечая, прошел мимо скромной гостиницы, в которой жил. Торопливо взобравшись по жалкой лестнице, он вошел в комнату, расположенную на самом верху, под кровлей, с выступающими деревянными стропилами — простое и легкое прикрытие старых парижских домов. У тусклого и единственного окна этой комнаты Пуссен увидел девушку, которая при скрипе двери вскочила в любовном порыве, — она узнала художника по тому, как он взялся за ручку двери.

— Что с тобой? — сказала девушка.

— Со мной, со мной, — закричал он, задыхаясь от радости, — случилось то, что я почувствовал себя художником! До сих пор я сомневался в себе, но нынче утром я в себя поверил. Я могу стать великим! Да, Жиллетта, мы будем богатыми, счастливыми! Эти кисти принесут нам золото!

Но внезапно он смолк. Серьезное и энергичное лицо его утратило выражение радости, когда он сравнил свои огромные упования с жалкими своими средствами. Стены были оклеены гладкими обоями, испещренными карандашными эскизами. У него нельзя было найти четырех чистых полотен. Краски в то время стоили очень дорого, и палитра у бедняги была почти пуста. Живя в такой нищете, он был и сознавал себя обладателем невероятных духовных богатств, всепожирающей гениальности, бьющей через край. Привлеченный в Париж одним знакомым дворянином, а вернее сказать, собственным своим талантом, Пуссен случайно познакомился здесь со своей возлюбленной, благородной и великодушной, как все те женщины, которые идут на страдания, связывая свою судьбу с великими людьми, делят с ними нищету, стараются понять их причуды, остаются стойкими в испытаниях бедности и в любви, — как другие бестрепетно бросаются в погоню за роскошью и щеголяют своей бесчувственностью. Улыбка, блуждавшая на губах Жиллетты, позлащала эту чердачную каморку и соперничала с блеском солнца. Ведь солнце не всегда светило, она же всегда была здесь, отдав страсти все свои душевные силы, привязавшись к своему счастью и к своему страданию, утешая гениального человека, который, прежде чем овладеть искусством, предавался любви.

— Поди ко мне, Жиллетта, послушай.

Покорно и радостно девушка вскочила на колени к художнику. В ней все было очарование и прелесть, она была прекрасна, как весна, и наделена всеми сокровищами женской красоты, озаренными светом ее чистой души.

— О боже, — воскликнул он, — я никогда не посмею сказать ей...

— Какой-то секрет? — спросила она. — Ну, говори же!

Пуссен оставался в раздумье.

— Что ж ты молчишь?

— Жиллетта, милочка!

— Ах, тебе что-нибудь нужно от меня?

— Да...

— Если ты желаешь, чтобы я опять позировала тебе, как в тот раз, — сказала она, надув губки, — то я никогда не соглашусь, потому что в эти мгновения твои глаза мне больше ничего не говорят. Ты совсем обо мне не думаешь, хотя и смотришь на меня...

— Тебе было бы приятнее, чтобы мне позировала другая женщина?

— Может быть, но только самая некрасивая.

— Ну, а что, если ради моей будущей славы, — продолжал Пуссен серьезно, — ради того, чтобы помочь мне стать великим художником, тебе пришлось бы позировать перед другим?

— Ты хочешь испытать меня, — сказала она. — Ты хорошо знаешь, что не стану.

Пуссен уронил голову на грудь, как человек, сраженный слишком большой радостью или невыносимой скорбью.

— Послушай, — сказала Жиллетта, теребя Пуссена за рукав поношенной куртки, — я тебе говорила, Ник, что готова ради тебя пожертвовать жизнью, но я никогда не обещала тебе, пока я жива, отказаться от своей любви...

— Отказаться от любви? — воскликнул Пуссен.

— Ведь, если я покажусь в таком виде другому, ты меня разлюбишь. Да я и сама сочту себя недостойной тебя. Повиноваться твоим прихотям — вполне естественно и просто, не правда ли? Несмотря ни на что, я с радостью и даже с гордостью исполняю твою волю. Но для другого! Какая гадость...

— Прости, милая Жиллетта! — сказал художник, бросившись на колени. — Да лучше мне быть любимым, чем прославиться. Ты мне дороже богатства и славы! Так выброс мои кисти, сожги все эскизы. Я ошибся! Мое призвание — любить тебя. Я не художник, я любовник. Да погибнет искусство и все его секреты!

Она любовалась своим возлюбленным, радостная, восхищенная. Она властвовала, она инстинктивно сознавала, что искусство забыто ради нее и брошено к ее ногам.

— Все же художник этот — совсем старик, — сказал Пуссен, — он будет видеть в тебе только прекрасную форму. Красота твоя так совершенна!

— Чего не сделаешь ради любви! — воскликнула она, уже готовая поступиться своей щепетильностью, чтобы вознаградить возлюбленного за все жертвы, какие он ей приносит. — Но тогда я погибну, — продолжала она. — Ах, погибнуть ради тебя! Да, это прекрасно! Но ты меня забудешь... О, как ты это нехорошо придумал!

— Я это придумал, а ведь я люблю тебя, — сказал он с некоторым раскаянием в голосе. — Но, значит, я негодяй.

— Давай посоветуемся с отцом Ардуэном! — сказала она.

— Ах, нет! Пусть это останется тайной между нами.

— Ну, хорошо, я пойду, но ты не входи со мною, — сказала она. — Оставайся за дверью, с кинжалом наготове. Если я закричу, войди и убей художника.

Пуссен прижал Жиллетту к груди, весь поглощенный мыслью об искусстве.

«Он больше не любит меня», — подумала Жиллетта, оставшись одна.

Она уже сожалела о своем согласии. Но вскоре ее охватил ужас, более жестокий, чем это сожаление. Она пыталась отогнать страшную мысль, зародившуюся в ее уме. Ей казалось, что она уже сама меньше любит художника, заподозрив, что он меньше достоин уважения.

II

Катрин Леско

Через три месяца после встречи с Пуссеном Порбус пришел проведать мэтра Френхофера. Старик находился во власти того глубокого и внезапного отчаяния, причиной которого, если верить математикам от медицины, является плохое пищеварение, ветер, жара или отек в надчревной области, а согласно спиритуалистам — несовершенство нашей духовной природы. Старик просто-напросто утомился, заканчивая свою таинственную картину. Он устало сидел в просторном кресле резного дуба, обитом черной кожей, и, не изменяя своей меланхолической позы, посмотрел на Порбуса так, как смотрит человек, уже свыкшийся с тоской.

— Ну, как, учитель, — сказал ему Порбус, — ультрамарин, за которым вы ездили в Брюгге, оказался плохим? Или вам не удалось растереть наши новые белила? Или масло попалось дурное? Или кисти неподатливы?

— Увы! — воскликнул старик. — Мне казалось одно время, что труд мой закончен, но я, вероятно, ошибся в каких-нибудь частностях, и я не успокоюсь, пока всего не выясню. Я решил предпринять путешествие, собираюсь ехать в Турцию, Грецию, в Азию, чтобы там найти модель и сравнить свою картину с различными типами женской красоты. Может быть, у меня там, наверху, — сказал он с улыбкой удовлетворения, — сама живая красота. Иногда я даже боюсь, чтобы какое-нибудь дуновение не пробудило эту женщину и она не исчезла...

Затем он внезапно встал, как бы уже готовясь в путь.

— Ого, — воскликнул Порбус, — я пришел вовремя, чтобы избавить вас от дорожных расходов и тягот!

— Как так? — спросил удивленно Френхофер.

— Молодого Пуссена любит женщина несравненной, безупречной красоты. Но только, дорогой учитель, если уж он согласится отпустить ее к вам, то вам, во всяком случае, придется показать нам свое полотно.

Старик стоял как вкопанный, застыв от изумления.

— Как! — горестно воскликнул он, наконец. — Показать мое творение, мою супругу? Разорвать завесу, которой я целомудренно прикрывал свое счастье? Но это было бы отвратительным непотребством! Вот уже десять лет, как я живу с этой женщиной, она моя и только моя, она любит меня. Не улыбалась ли она мне при каждом новом блике, положенном мною? У нее есть душа, я одарил ее этой душою. Эта женщина покраснела бы, если бы кто-нибудь, кроме меня, взглянул на нее. Показать ее! Но какой муж или любовник настолько низок, чтобы выставлять свою жену на бесчестье? Когда ты пишешь картину для двора, ты не вкладываешь в нее всю душу, ты продаешь придворным вельможам только раскрашенные манекены. Моя живопись — не живопись, это само чувство, сама страсть! Рожденная в моей мастерской, она должна там оставаться, храня целомудрие, и может оттуда выйти только одетой. Поэзия и женщина предстают нагими лишь перед своим возлюбленным. Разве знаем мы модель Рафаэля или Анджелику [19], воссозданную Ариосто, Беатриче [20], воссозданную Данте? Нет! До нас дошло лишь изображение этих женщин. Ну, а мой труд, хранимый мною наверху за крепкими запорами, — исключение в нашем искусстве. Это не картина, это женщина — женщина, с которой вместе я плачу, смеюсь, беседую и размышляю. Ты хочешь, чтобы я сразу расстался с десятилетним моим счастьем так просто, как сбрасывают с себя плащ? Чтобы я вдруг перестал быть отцом, любовником и богом! Эта женщина не просто творение, она — творчество. Пусть приходит твой юноша, я отдам ему свои сокровища, картины самого Корреджо, Микеланджело, Тициана, я буду целовать в пыли следы его ног; но сделать его своим соперником — какой позор! Ха-ха, я в большей мере любовник, чем художник. Да, у меня хватит сил сжечь мою прекрасную Нуазезу при последнем моем издыхании; но чтобы я позволил смотреть на нее чужому мужчине, юноше, художнику? — нет! нет! Я убью на следующий же день того, кто осквернит ее взглядом! Я убил бы тебя в тот же миг, тебя, моего друга, если бы ты не преклонил перед ней колени. Так неужели ты хочешь, чтобы я предоставил мой кумир холодным взорам и безрассудной критике глупцов? Ах! Любовь — тайна, любовь жива только глубоко в сердце, и все погибло, когда мужчина говорит хотя бы своему другу: вот та, которую я люблю...

Старик словно помолодел: глаза его засветились и оживились, бледн-

ные щеки покрылись ярким румянцем, руки дрожали. Порбус, удивленный страстной силой, с какой были сказаны эти слова, не знал, как отнестись к столь необычным и глубоким чувствам. В своем ли уме Френхофер, или он безумен? Владела ли им фантазия художника, или высказанные им мысли были следствием непомерного фанатизма, возникающего, когда человек вынашивает в себе большое произведение? Есть ли хоть какая-нибудь надежда обуздать такую дикую страсть?

Обуянный всеми этими мыслями, Порбус сказал старику:

— Но ведь тут женщина за женщину! Разве Пуссен не предоставляет свою любовницу вашим взорам?

— Какую любовницу? — возразил Френхофер. — Рано или поздно она ему изменит. Моя же будет мне всегда верна.

— Что ж, — сказал Порбус, — не будем больше говорить об этом. Но раньше, чем вам удастся встретить, будь то даже в Азии, женщину, столь же безупречно красивую, как та, про которую я говорю, вы ведь можете умереть, не закончив своей картины.

— О, она окончена, — сказал Френхофер. — Тот, кто посмотрел бы на нее, увидел бы женщину, лежащую под пологом на бархатном ложе. Близ женщины — золотой треножник, разливающий благовония. У тебя явилось бы желание взяться за кисть шнура, подхватывающего занавес, тебе казалось бы, что ты видишь, как дышит грудь прекрасной куртизанки Катрин Леско, по прозванию «Прекрасная Нуазеза». А все-таки я хотел бы увериться...

— Так поезжайте в Азию, — ответил Порбус, заметив во взоре Френхофера какое-то колебание.

И Порбус направился к дверям.

В это мгновение Жиллетта и Никола Пуссен подошли к дому Френхофера. Уже готовясь войти, девушка высвободила руку из руки художника и отступила, как бы охваченная внезапным предчувствием.

— Но зачем я иду сюда? — с тревогой в голосе спросила она своего возлюбленного, устремив на него глаза.

— Жиллетта, я предоставил тебе решать самой и хочу тебе во всем повиноваться. Ты моя совесть и моя слава. Возвращайся домой, я, быть может, почувствую себя счастливее, чем если ты...

— Разве я могу что-нибудь решать, когда ты со мною так говоришь? Нет, я становлюсь просто ребенком. Идем же, — продолжала она, видимо, делая огромное усилие над собою, — если наша любовь погибнет и я жестоко буду каяться в своем поступке, не будет ли твоя слава вознаграждением за то, что я подчинилась твоим желаниям? Войдем! Я все же буду жить, раз обо мне останется воспоминание на твоей палитре.

Открыв дверь, влюбленные встретились с Порбусом, и тот, пораженный красотою Жиллетты, у которой глаза были полны слез, схватил ее за руку, подвел ее, всю трепещущую, к старику и сказал:

— Вот она! Разве она не стоит всех шедевров мира?

Френхофер вздрогнул. Перед ним в бесхитростно простой позе стояла Жиллетта, как юная грузинка, пугливая и невинная, похищенная разбойниками и отведенная ими к работорговцу. Стыдливый румянец заливал ее лицо, она опустила глаза, руки ее повисли, казалось, она теряет силы, и слезы ее были немым укором насилию над ее стыдливостью. В эту минуту Пуссен в отчаянии проклинал сам себя за то, что извлек это сокровище из своей каморки. Любовник взял верх над художником, и тысячи мучительных сомнений вкрались в сердце Пуссена, когда он увидел, как помолодели глаза старика, как он, по привычке художников, так сказать, раздевал девушку взглядом, угадывая в ее телосложении все, вплоть до самого сокровенного. Молодой художник познал тогда жестокую ревность истинной любви.

— Жиллетта, уйдем отсюда! — воскликнул он.

При этом восклицании, при этом крике возлюбленная его радостно подняла глаза, увидела его лицо и бросилась в его объятия.

— А, значит, ты меня любишь! — отвечала она, заливаясь слезами.

Проявив столько мужества, когда надо было утаить свои страдания, она теперь не нашла в себе сил, чтобы скрыть свою радость.

— О, оставьте мне ее на одно мгновение, — сказал старый художник, — и вы сравните ее с моей Катрин. Да, я согласен.

В возгласе Френхофера все еще чувствовалась любовь к созданному им подобию женщины. Можно было подумать, что он гордится красотой своей Нуазезы и заранее торжествует победу, которую его творение одержит над живой девушкой.

— Ловите его на слове! — сказал Порбус, хлопая Пуссена по плечу. — Цветы любви недолговечны, плоды искусства бессмертны.

— Неужели я для него только женщина? — ответила Жиллетта, внимательно глядя на Пуссена и Порбуса. Она гордо подняла голову и бросила сверкающий взгляд на Френхофера, но вдруг заметила, что ее возлюбленный любуется картиной, которую при первом посещении он принял за произведение Джорджоне.

— Ах, идемте наверх, — решила Жиллетта. — На меня он никогда так не смотрел.

— Старик, — сказал Пуссен, выведенный ее голосом из задумчивости, — видишь ли ты этот кинжал? Он пронзит твое сердце при первой жалобе этой девушки, я подожгу твой дом, так что никто из него не выйдет. Понимаешь ли ты меня?

Никола Пуссен был мрачен, речь его звучала грозно. Слова молодого художника и в особенности жест, которым они сопровождались, успокоили Жиллетту, и она почти простила ему то, что он принес ее в жертву искусству и своему славному будущему.

Пуссен и Жиллетта у Френхофера. Гравюра из «Иллюстрированных сочинений Бальзака» (Париж, 1851)

Порбус и Пуссен стояли у двери мастерской и молча глядели друг на друга. Вначале автор Марии Египетской позволял себе делать некоторые замечания: «Ах, она раздевается... Он велит ей повернуться к свету!.. Он сравнивает ее!» — но вскоре он замолчал, увидев на лице у Пуссена глубокую грусть; хотя в старости художники уже чужды таких предрассудков, ничтожных в сравнении с искусством, тем не менее Порбус любовался Пуссеном, так он был мил и наивен. Сжимая рукоятку кинжала, юноша почти вплотную приложил ухо к двери. Стоя здесь в тени, оба они походили на заговорщиков, выжидающих, когда настанет час, чтобы убить тирана.

— Входите, входите! — сказал им старик, сияя счастьем. — Мое произведение совершенно, и теперь я могу с гордостью его показать. Художник, краски, кисти, полотно и свет никогда не создадут соперницы для моей Катрин Леско, прекрасной куртизанки.

Охваченные нетерпеливым любопытством, Порбус и Пуссен выбежали на середину просторной мастерской, где все было в беспорядке и покрыто пылью, где тут и там висели на стенах картины. Оба они остановились сначала перед изображением полунагой женщины в человеческий рост, которое привело их в восторг.

— О, на эту вещь не обращайте внимания, — сказал Френхофер, — я делал наброски, чтобы изучить позу, картина ничего не стоит. — А тут мои заблуждения, — продолжал он, показывая художникам чудесные композиции, развешанные всюду по стенам.

При этих словах Порбус и Пуссен, изумленные презрением Френхофера к таким картинам, стали искать портрет, о котором шла речь, но не могли его найти.

— Вот, смотрите! — сказал им старик, у которого растрепались волосы, лицо горело каким-то сверхъестественным оживлением, глаза искрились, а грудь судорожно вздымалась, как у юноши, опьяненного любовью. — Ага! — воскликнул он. — Вы не ожидали такого совершенства? Перед вами женщина, а вы ищете картину. Так много глубины в этом полотне, воздух так верно передан, что вы не можете его отличить от воздуха, которым вы дышите. Где искусство? Оно пропало, исчезло. Вот тело девушки. Разве не верно схвачены колорит, живые очертания тела? Не представляют ли предметы такого же явления в атмосфере, как рыбы в воде? [21] Оцените, как контуры отделяются от фона. Не кажется ли вам, что вы можете охватить рукой этот стан? Да, недаром я семь лет изучал впечатление от сочетания световых лучей с предметами. А эти волосы — как они насыщены светом! Но она вздохнула, кажется!.. Эта грудь! Смотрите! Ах, кто перед ней не опустится на колени? Тело трепещет. Она сейчас встанет, подождите.

— Видите вы что-нибудь? — спросил Пуссен Порбуса.

— Нет. А вы?

— Ничего.

Предоставляя старику восторгаться, оба художника стали проверять, не уничтожает ли все эффекты свет, падая прямо на полотно, которое Френхофер им показывал. Они рассматривали картину, отходя направо, налево, то становясь напротив, то нагибаясь, то выпрямляясь.

— Да, да, это ведь картина, — говорил им Френхофер, ошибаясь относительно цели такого тщательного осмотра. — Глядите, вот здесь рама, мольберт, а вот, наконец, мои краски и кисти...

И, схватив одну из кистей, он простодушно показал ее художникам.

— Старый ландскнехт смеется над нами, — сказал Пуссен, подходя снова к мнимой картине. — Я вижу здесь только беспорядочное сочетание мазков, очерченное множеством странных линий, образующих как бы ограду из красок.

— Мы ошибаемся, посмотрите!.. — возразил Порбус.

Подойдя ближе, они заметили в углу картины кончик обнаженной ноги, выделявшийся из хаоса красок, тонов, неопределенных оттенков, образующих некую бесформенную туманность, — кончик прелестной, живой ноги. Они остолбенели от изумления перед этим обломком, уцелевшим от невероятного, медленного, постепенного разрушения. Нога выделялась здесь, как торс какой-нибудь Венеры из паросского мрамора среди руин сожженного города.

— Под этим скрыта женщина! — воскликнул Порбус, указывая Пуссену на слои красок, которые старый художник наложил один на другой, думая усовершенствовать картину.

Оба художника невольно повернулись в сторону Френхофера, начиная постигать, хотя еще смутно, тот экстаз, в котором он жил.

— Он верит тому, что говорит, — сказал Порбус.

— Да, друг мой, — ответил старик, приходя в себя, — верить необходимо. В искусство надо верить, и надо сжиться со своей работой, чтобы создать подобное произведение. Некоторые из этих теней отняли у меня немало сил. Смотрите, вот здесь, на щеке, под глазом, лежит легкая полутень, которая в природе, если вы обратите на нее внимание, покажется вам почти непередаваемой. И как вы думаете, разве этот эффект не стоил мне неслыханных трудов? А затем, мой дорогой Порбус, рассмотри внимательней мою работу, и ты лучше поймешь то, что я говорил тебе относительно округлостей и контуров. Вглядись в освещение на груди и заметь, как при помощи ряда бликов и выпуклых, густо наложенных мазков мне удалось сосредоточить здесь настоящий свет, сочетая его с блестящей белизной освещенного тела; и как, наоборот, удаляя выпуклости и шероховатость краски, постоянно сглаживая контуры моей фигуры там, где она погружена в полумрак, я добился того, что бесследно уничтожил рисунок и всякую искусственность и придал линиям тела закругленность, существующую в природе. Подойдите поближе, вам

виднее будет фактура. Издали ее не разглядишь. Вот здесь она, полагаю, весьма достойна внимания.

И кончиком кисти он указал художникам на густой слой светлой краски.

Порбус хлопнул старика по плечу и, повернувшись к Пуссену, сказал:

— Знаете ли вы, что мы считаем его подлинно великим художником?

— Он более поэт, чем художник, — сказал серьезно Пуссен.

— Тут вот, — продолжал Порбус, дотронувшись до картины, — кончается наше искусство на земле...

— И, исходя отсюда, теряется в небесах, — сказал Пуссен.

— Сколько пережитых наслаждений на этом полотне! — воскликнул Порбус.

Поглощенный своими мыслями, старик не слушал художников, он улыбался воображаемой женщине.

— Но рано или поздно он заметит, что на его полотне ничего нет! — воскликнул Пуссен.

— Ничего нет на моем полотне? — спросил Френхофер, глядя попеременно то на художника, то на мнимую картину.

— Что вы наделали! — обратился Порбус к Пуссену.

Старик с силой схватил юношу за руку и сказал ему:

— Ты ничего не видишь, деревенщина, разбойник, ничтожество, дрянь! Зачем же ты пришел сюда? Мой добрый Порбус, — продолжал он, поворачиваясь к художнику, — а вы, вы тоже насмехаетесь надо мной? Отвечайте! Я ваш друг, скажите, я, может быть, испортил свою картину?

Порбус, колеблясь, не решался ответить, но на бледном лице старика запечатлено было столь жестокое беспокойство, что Порбус показал на полотно и сказал:

— Смотрите сами!

Френхофер некоторое время рассматривал свою картину и вдруг зашатался.

— Ничего! Ровно ничего! А я проработал десять лет!

Он сел и заплакал.

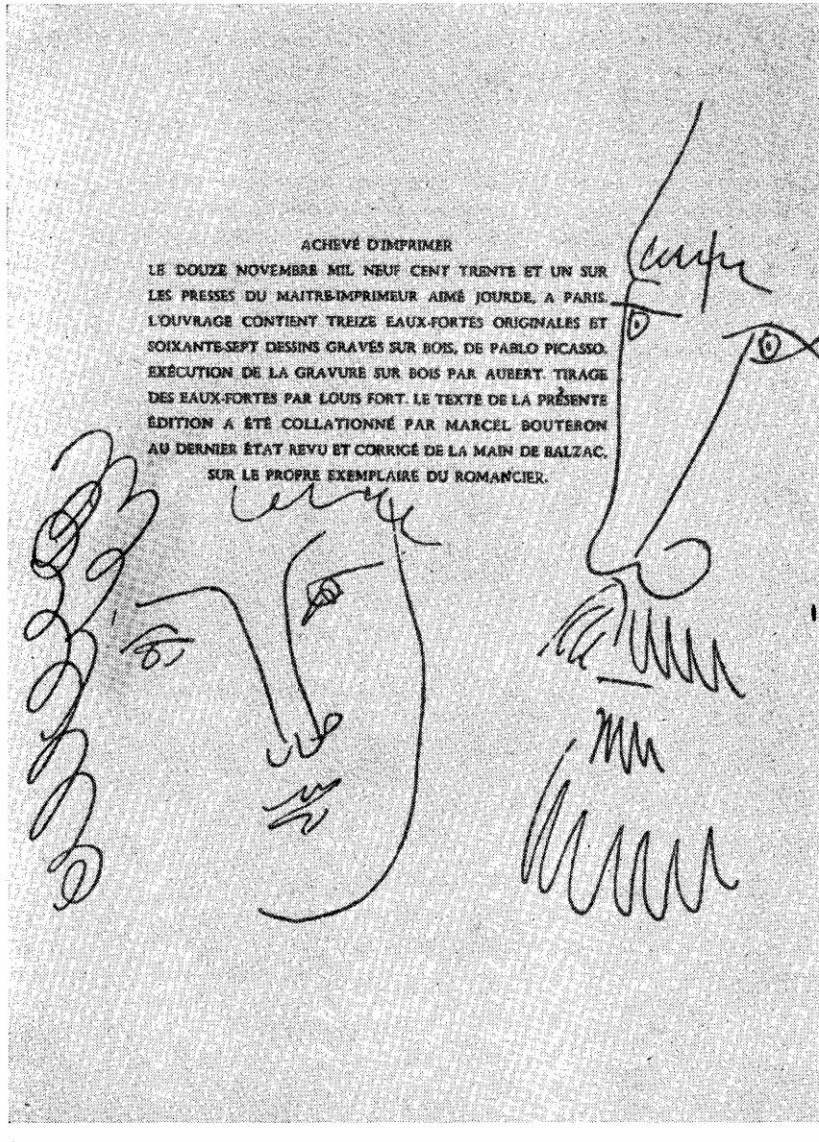
— Значит, я глупец, безумец! У меня нет ни таланта, ни способностей, я только богатый человек, который бесполезно живет на свете. И мною, стало быть, ничего не создано!

Он смотрел на свою картину сквозь слезы. Вдруг он гордо выпрямился и окинул обоих художников сверкающим взором.

— Клянусь плотью и кровью Христа, вы просто завистники. Вы хотите внушить мне, что картина испорчена, чтобы украсть ее у меня! Но я, я ее вижу, — кричал он, — она дивной красоты!

В эту минуту Пуссен услышал плач Жиллетты, забытой в углу.

— Что с тобой, мой ангел? — спросил ее художник, снова ставший любовником.



Последняя страница издания «Неведомого шедевра», иллюстрированного Пабло Пикассо (Париж, 1931)

— Убей меня! — сказала она. — Любить тебя по-прежнему было бы позорно, потому что я презираю тебя. Я любуюсь тобой, и ты мне отвратителен. Я тебя люблю, и мне кажется, уже ненавижу тебя.

Пока Пуссен слушал Жиллетту, Френхофер задергивал свою Катрин зеленой саржей так же спокойно и серьезно, как ювелир задвигает свои ящики, полагая, что имеет дело с ловкими ворами. Он окинул обоих художников угрюмым взором, полным презрения и недоверчивости, затем молча, с какой-то судорожной торопливостью проводил их за дверь мастерской и сказал им на пороге своего дома: — Прощайте, голубчики.

Такое прощание навело тоску на обоих художников.

На следующий день Порбус, тревожась о Френхофере, пошел снова его навестить и узнал, что старик умер в ночь, сжегши все свои картины.

Париж, февраль 1832 г.

ПОИСКИ АБСОЛЮТА

ГОСПОЖЕ ЖОЗЕФИНЕ ДЕЛАННУА[1],
УРОЖДЕННОЙ ДУМЕРК.

Дай бог этому произведению жить долее, чем мне самому. Тогда и признательность моя к вам, которая, надеюсь, сравняется с вашим добрым, почти материнским отношением ко мне, просуществует сверх срока, определенного нашим чувством. Эта высшая привилегия — продлевать жизнь сердца в наших произведениях — могла бы (если только быть уверенным, что ею обладаешь) вполне утешить в муках, которых она стоит всякому, кто ревностно ее добивается. Еще раз повторяю: дай бог!

Де Бальзак

I

В городе Дуэ, на Парижской улице, существует дом, внешний вид которого, внутреннее расположение и детали больше, чем в каком бы то ни было жилище, сохранили характер старых фламандских построек, столь наивно приспособленных к патриархальным нравам этой страны; но прежде чем его описывать, быть может, следует, в интересах писателей, обосновать необходимость подобных дидактических вступлений, вызывающих протест иных людей, несведущих и жадных, которым подавай чувства без основ, их породивших, цветок — без посеянного зерна, ребенка — без беременности матери. Неужели же искусству быть сильнее природы?

События человеческой жизни, и общественной и частной, так тесно связаны с архитектурой, что большинство наблюдателей могут восстановить жизнь нации или отдельных людей во всем ее подлинном укладе по остаткам общественных зданий или изучая домашние реликвии. Археология для природы социальной — то же, что сравнительная анатомия для природы органической. В какой-нибудь мозаике обнаруживается все общество так же, как в скелете ихтиозавра дано все творение. С какого бы конца ни начинать, все связано, все сплетено одно с другим. Причина позволяет угадывать следствие, и всякое следствие позволяет восходить к причине. Ученый воскрешает таким образом облик старины, вплоть до какой-нибудь бородавки. Отсюда и приобретают, конечно, удивительный интерес описания архитектуры, если только фантазия писателя нисколько не искажает ее основ; разве не может всякий при помощи строгих выводов связать картину настоящего с прошлым; а для человека прошлое до странности похоже на будущее; рассказать ему, что было, не значит ли это почти всегда сказать, что будет? Наконец, картина тех мест, где протекает жизнь, редко кому не напомнит о его неисполненных обетах или

юных надеждах. Сравнение настоящего, обманывающего тайные желания, и будущего, которое может их осуществить, — это неистощимый источник меланхолии или сладостного удовлетворения. Так, почти невозможно не растрогаться перед картинами фламандской жизни, когда хорошо переданы ее подробности. Почему? Быть может, потому, что среди различных типов существования она прочнее всего полагает предел человеческой неустойчивости. Она не обходится без всех этих семейных праздников, без домашнего уюта и жирного довольства, свидетельствующего о постоянном благополучии, и отдыха, близкого к блаженству; но особенно в ней выражается покой и монотонность наивно-чувственного счастья, не знающего пылких желаний, потому что они уже заранее удовлетворяются. Какую бы цену ни придавал страстный человек смятению чувств, он все же никогда не может равнодушно видеть образы той социальной природы, где биение сердца так равномерно, что люди поверхностные обвиняют ее в холодности. Толпа обычно предпочитает силу кипучую, переливающуюся через край, силе ровной и постоянной. Толпе не хватает ни времени, ни терпения удостовериться в том, какая огромная мощь скрыта под внешней обыденностью. Таким образом, чтобы поразить толпу, увлекаемую потоком жизни, у страсти, как и у великого художника, есть одно лишь средство — перешагнуть за предел, что и делали Микеланджело, Бьянка Капелло, г-жа де Лавальер, Бетховен и Паганини[2]. Однако великие приверженцы строго рассчитанного искусства думают, что никогда не нужно хватать через край, и почитают только способность достигать совершенства в выполнении и этим сообщать всякому произведению глубокое спокойствие, которое очаровывает людей незаурядных. Образ жизни фламандцев, бережливых по всему существу своему, вполне отвечает понятиям о том блаженстве, о котором мечтают массы, применительно к жизни гражданской и домашней.

Весь фламандский быт несет отпечаток самой изысканной материальности. Для английского комфорта характерны сухие оттенки, жесткие тона, тогда как во Фландрии старинное внутреннее убранство домов радует мягкими красками, подлинным уютом; оно говорит о труде без усталости; трубки курильщиков свидетельствуют об удачном применении неаполитанского far niente*; в убранстве обнаруживается мирное художественное чутье, его необходимая предпосылка — терпение и необходимое условие его долговечности — добросовестность. Весь характер фламандский — в двух словах: терпение и добросовестность, которые, может показаться, исключают собою богатые оттенки поэзии и делают нравы страны столь же скучными, как ее широкие равнины, столь же холодными, как ее пасмурное небо. Ничего подобного на самом деле нет. Цивилизация воспользовалась своим могуществом, видоизменив здесь все, даже следствия

* Ничегонеделания (*итал.*).

климата. Если внимательно рассматривать произведения рук человеческих, созданные в различных местах земного шара, то прежде всего бываешь поражен тем, что в полосе умеренного климата им свойственны серые и бурые краски, тогда как в жарких странах они отличаются самыми яркими красками. Нравы, несомненно, должны сообразоваться с таким законом природы. Обе Фландрии, где в старину господствовали темные тона и проявлялся вкус к однообразной окраске, позаботились о том, чтобы оживить мрачную, как сажа, атмосферу страны бурными политическими треволнениями, которые подчиняли их то бургундцам, то испанцам, то французам, побратались с немцами и голландцами. От Испании они заимствовали роскошь багреца, блестящий атлас, многоцветные ковры, перья, мандолины и придворные манеры. От Венеции взамен своего полотна и кружев они получили фантастические стеклянные изделия, в которых вино светится и как бы становится приятнее на вкус. От Австрии у них осталась тяжеловесная дипломатия, придерживающаяся правила: семь раз отмерь, один отрежь. Благодаря сношениям с Индией проникли сюда причудливые выдумки Китая и японские диковинки. Однако, несмотря на терпеливую готовность фламандцев все собирать, ни от чего не отказываться, все переносить, на обе Фландрии нельзя было иначе смотреть, как на какой-то общеевропейский склад, вплоть до тех пор, пока открытие табака не связало дымом разрозненные черты их национального облика. С этих пор, как ни была раздроблена его территория, весь народ фламандский объединился в пристрастии к трубке и пиву.

Когда эта страна, по природе своей тусклая и лишенная поэзии, ввела у себя в обиход, благодаря своей неизменной домовитости, роскошь и идеи своих господ и соседей, в ней сложились своеобразная жизнь и характерные нравы, нисколько не запятнанные рабским подражанием. Искусство ее, воспроизводя исключительно внешние формы, лишилось всякой идеальности. Так что от этой родины пластической поэзии не требуйте ни комедийного огонька, ни драматической напряженности действия, ни смелых взлетов эпопеи или оды, ни гения музыкального; но она щедра на открытия и ученые рассуждения, требующие времени и света лампы. На всем здесь печать наслаждения земными радостями. Человек видит здесь исключительно то, что есть, мысль его так заботливо приспосабливается к нуждам жизни, что ни в одном своем произведении она не улетает за пределы реального мира. Единственная политическая идея, устремленная в будущее, порождена была в этом народе тоже по существу экономическими соображениями; революционная сила возникла у него от хозяйственного желания сесть с локтями за стол и самому распоряжаться под навесами своих стойл. Чувство благополучия и внушенный богатством дух независимости породили здесь раньше, чем где бы то ни было, ту потребность в свободе, которая позже стала мучить Европу. Таким образом, постоянство идей и упорство, какое фламандцам дает воспитание, некогда

превратили их в грозных защитников своих прав. У этого народа ничто не делается кое-как — ни дома, ни мебель, ни плотины, ни обработка земли, ни восстание. Поэтому он сохраняет за собою монополию на все, за что бы ни брался. Производство кружев, требующее терпения от сельского хозяина, а еще больше от мастера, и производство полотна передаются по наследству, как родовые богатства. Если бы нужно было показать человеческое постоянство в самой чистой его форме, то, может быть, всего правильнее было бы взять для этого портрет доброго нидерландского бургомистра, способного, как это часто случалось, честно и скромно умереть ради выгод Ганзейского союза[3]. Но тихая поэтичность такой жизни обнаружится сама собою в описании дома, одного из последних в Дуэ домов, еще сохранявших свой патриархальный характер в те времена, когда начинается наша повесть.

Из всех городов Северного департамента — увы! — Дуэ больше всех изменяется на современный лад, дух новшества произвел здесь самые быстрые завоевания, и любовь к общественному прогрессу здесь наиболее распространена. С каждым днем в Дуэ исчезают старинные постройки и стираются былые нравы. Парижские моды, тон, манеры здесь преобладают, и вскоре от старой фламандской жизни у обитателей Дуэ только и останется, что сердечность и гостеприимство, испанская вежливость, голландская пышность и опрятность. Кирпичные дома уступят место особнякам из белого камня. Неуклюжесть батавских форм исчезнет, побежденная изменчивым изяществом французских новинок.

Дом, где произошли события, описанные в нашей повести, находится почти на середине Парижской улицы и уже более двухсот лет известен в Дуэ под именем «дома Клаасов»[4]. Ван-Клаасы принадлежали некогда к тем знаменитейшим семьям ремесленников, которым Нидерланды обязаны коммерческим первенством, сохранившимся за ними в ряде производств. Долгое время в городе Генте за Клаасами оставалось, передаваясь от отца к сыну, руководительство богатым братством ткачей. Во время восстания этого большого города против Карла V, пожелавшего отменить его привилегии, самый богатый из Клаасов был так скомпрометирован, что, предвидя катастрофу и будучи принужден разделить участь своих товарищей, он тайно послал свою жену, детей и богатства под защиту Франции, прежде чем войска императора осадили город. Предвидения синдика ткачей вполне оправдались. Его, так же как и нескольких других горожан, вопреки условиям капитуляции, повесили за участие в бунте, хотя на самом деле он был защитником гентской независимости. Смерть Клааса и его товарищей принесла плоды. Впоследствии за эти бесцельные казни король поплатился утратой большей части своих нидерландских владений. Из всех вверяемых земле посевов пролитая мучениками кровь дает самую скорую жатву. Хотя Филипп II, наказывавший участников восстания вплоть до второго поколения, простер свой железный ски-

петр и над Дуэ, Клаасы сохранили свои богатства, породнившись с весьма знатным родом де Молина, старшая ветвь которого, тогда еще бедная, разбогатела настолько, что выкупила графство Ноуро, принадлежавшее ей в королевстве Леон только по титулу.

В начале XIX века, после многих превратностей, описание которых не представляет интереса, представителем рода Клаасов, в той его ветви, что поселилась в Дуэ, был Валтасар Клаас-Молина, граф де Ноуро, предпочитавший именоваться попросту Валтасар Клаас. От огромного состояния, скопленного его предками, приводившими в движение тысячи ткацких станков, Валтасару осталось до пятнадцати тысяч ливров дохода с земель в окрестностях Дуэ и дом на Парижской улице, обстановка которого, в свою очередь, стоила целого состояния. Что же касается владений в королевстве Леон, то они были предметом тяжб между Молина фламандскими и той ветвью этого рода, что осталась в Испании. Выиграв процесс, Молина леонские приняли титул графов де Ноуро, хотя только Клаасы имели право его носить; однако тщеславие бельгийских горожан превышало кастильскую спесь. И вот, когда заведены были записи гражданского состояния, Валтасар Клаас пренебрег лохмотьями своей испанской знатности ради гентской своей славы. Патриотическое чувство так сильно в семьях, подвергшихся изгнанию, что до последних дней XVIII века Клаасы оставались верны своим традициям, нравам и обычаям. Они роднились только со старинной буржуазией: требовалось наличие известного числа старшин и бургомистров в роду невесты, чтобы Клаасы приняли ее к себе в семью. Они брали себе жен в Брюгге или Генте, в Льеже или в Голландии, чтобы увековечить обычаи своего домашнего очага. К концу прошлого века круг близких им людей, все более и более сужавшийся, ограничивался семью-восемью семействами, принадлежащими к судейской знати, нравы которой, тога с широкими складками и официальная полуиспанская важность гармонировали с их привычками. Обитатели города питали к роду Клаасов благоговейное почтение, перешедшее в своеобразный предрассудок. Непоколебимая честность, безупречная порядочность Клаасов, неизменная чинность в быту — все это делало их таким же предметом исстари укоренившегося суеверия, как и традиционный праздник Гейана[5], суеверия, прекрасно выражающегося в словах: «дом Клаасов». Исконным духом Фландрии веяло от этого жилища, представлявшего для любителей старины типичный образец скромных домов, какие строили себе в средние века богатые горожане.

Главным украшением фасада была двустворчатая дубовая дверь с крупными шляпками гвоздей, вбитых в шахматном порядке, в центре которой Клаасы горделиво вырезали два скрещенных ткацких челнока. Дверной свод, сложенный из песчаника, завершался заостренной аркой, на которой, в особой башенке, увенчанной крестом, водружена была статуэтка св. Женевьевы за прялкой. Время, конечно, наложило свой отпечаток на тонкие

украшения двери и башенки, но прислуга так заботливо за ними присматривала, что еще и теперь прохожие могли рассмотреть их во всех подробностях. Также и наличник, состоявший из нескольких сдвинутых вместе колонок, сохранил свой темно-серый цвет и блестел, точно его покрыли лаком. С обеих сторон двери в нижнем этаже было по два окна, таких же, как и все остальные окна в доме. Их обрамление из белого камня заканчивалось под подоконником пышной раковиной, а наверху — двумя аркадами, в которые вдавалась вертикальная линия креста, делившего окно на четыре неравные части, потому что поперечная перекладина помещалась на такой высоте, чтобы получался крест, — что придавало нижним частям окна размеры, вдвое большие против закругленных верхних. Двойная аркада была окаймлена бордюром из трех нависающих друг над другом рядов кирпичей, которые то выступали вперед, то вдавались в стену почти на дюйм, образуя греческий орнамент. Маленькие ромбовидные стекла были вставлены в чрезвычайно тонкий, окрашенный в красный цвет железный переплет. Стены из кирпичей, скрепленных белой известью, поддерживались каменной связью на углах и по фасаду. Во втором этаже было пять окон, в третьем только три, а на чердак свет проникал через большое круглое отверстие, состоящее из пяти частей, окаймленное песчаником и помещенное, подобно розетке над входом соборного портала, в середине треугольного фронтона, образующего щипец. На кровле поднимался флюгер в виде веретена с пряжей. Обе боковые стороны этого большого треугольника, образуемого стеной со щипцом, были сложены в виде прямоугольных уступов, вплоть до верхней линии второго этажа, где справа и слева дом был украшен по углам фантастической звериной пастью для стока дождевой воды. По низу дома шел ряд песчаниковых плит в виде ступени. Наконец еще один след старинных нравов: с обеих сторон двери, между окнами, выходил на улицу деревянный трап, окованный широкими железными полосами, через который спускались в подвалы. Еще со времени постройки дома фасад тщательно чистили два раза в год. Если выпадал кусочек извести, его сейчас же опять вмазывали. С окон, с подоконников, со столбов сметали пыль заботливей, чем с самого драгоценного мрамора в Париже. Во внешнем облике дома не было, таким образом, ни следа упадка. Правда, кирпичные стены потемнели от времени, но дом берегли, как старую картину, как старую книгу, которые дороги любителю и вечно оставались бы новыми, если бы не подвергались в нашем климате действию вредоносных газов, угрожающих и нам самим. Облачное небо, влажный фламандский воздух и тень на узкой улице очень часто лишали это строение блеска, присущего изысканной опрятности, которая, впрочем, придавала ему унылый и холодный вид. Поэт предпочел бы, чтобы какая-нибудь травка пробилась в окнах башенки или мох — в выемке песчаника; он пожелал бы, чтобы растрескалась кирпичная кладка, чтобы ласточка свила себе гнездо под аркадами

окна, меж красных кирпичей их тройного орнамента. Таким образом, законченный и опрятный вид фасада, потертого от постоянной чистки, придавал ему суховатую порядочность и почтенность, из-за которых, вероятно, романтик стал бы искать себе другую квартиру, если бы ему пришлось поселиться напротив этого дома. Когда посетитель тянул за сплетенный из проволоки шнурок звонка, висевший вдоль дверного косяка, и явившаяся на звонок служанка открывала ему дверь с решетчатым оконцем посередине, дверь тотчас же от собственной тяжести вырывалась из рук и хлопала, точно была сделана из бронзы, — так громко и тяжко отдавался звук под сводами просторной галереи, мощенной плитками, и в глубине дома. Галерея эта, расписанная под мрамор, всегда прохладная и посыпанная мелким песком, вела в большой квадратный внутренний двор, выложенный широкими муравленными плитами зеленоватого цвета. Налево находились бельевая, кухня, людская, направо — дровяной сарай, склад каменного угля и службы, у которых двери, окна и стены покрыты были росписью и поддерживались в исключительной чистоте. Свет, проникая во двор, окруженный четырьмя красными стенами с белыми полосами, отражался и принимал розовые оттенки, сообщавшие фигурам и мельчайшим деталям этой росписи таинственную грацию и фантастичность.

Другой дом, совершенно схожий со зданием, выходившим на улицу, и именуемый во Фландрии *задней квартирой*, возвышался в глубине двора и служил исключительно для жизни семьи. В нижнем этаже первой комнатой была приемная, освещаемая двумя окнами со стороны двора и двумя другими, выходившими в сад, который был такой же ширины, как дом. Две стеклянные двери, расположенные друг против друга, вели одна в сад, другая — во двор, а так как находились они на одной линии с дверью, ведущей на улицу, чужой человек уже при входе мог охватить глазом и весь внутренний вид жилища и даже увитую зеленью стену в глубине сада. Передний дом, предназначавшийся для приемов и имевший в третьем этаже покои для приезжих, заключал в себе, разумеется, художественные произведения и великие накопленные богатства; но ни в глазах Клаасов, ни с точки зрения знатока ничто не могло сравниться с сокровищами, украшавшими комнату, где в течение двух веков протекала жизнь семейства. Клаасу, умершему ради свобод Гента, ремесленнику, о котором получилось бы слишком слабое представление, если б историк упустил сказать, что его состояние достигало сорока тысяч серебряных марок, заработанных на изготовлении парусов для нужд всемогущего венецианского флота, — этому Клаасу другом был знаменитый резчик по дереву Ван-Гейсум из Брюгге[6]. Не раз скульптору случалось обращаться к кошельку ремесленника. Незадолго до гентского восстания разбогатевший к тому времени Ван-Гейсум приготовил своему другу неожиданный подарок: вырезал для него из цельного черного дерева главные сцены из жизни Артевелде[7], пивовара, некоторое время бывшего

королем обеих Фландрий. Эта деревянная обшивка, состоявшая из шестидесяти панно, изображала до тысячи четырехсот персонажей и считалась важнейшим произведением Ван-Гейсума. Капитан, сторживший граждан, которых Карл V приказал повесить в день своего въезда в родной город, предложил, говорят, Ван-Клаасу возможность бежать, если тот подарит ему произведение Ван-Гейсума; но ткач уже отослал панно во Францию. Зала, вся целиком украшенная этими панно, которые в память казненного мученика сам Ван-Гейсум вставил в деревянные рамы, окрашенные ультрамарином с золотыми жилками, является, конечно, наиболее совершенным произведением мастера, и самые маленькие кусочки этих панно теперь ценятся на вес золота. С простенка над камином смотрел Ван-Клаас, написанный Тицианом в костюме председателя суда по делам о разделах имущества, и, казалось, руководил еще семейством, которое чтило в нем великого предка. Высокий камин, сложенный из простого камня, в прошлом веке был облицован белым мрамором; на нем стояли старинные часы и два пятисвечника с витыми отрогами дурного вкуса, но из массивного серебра. Четыре окна были декорированы широкими занавесками из красной с черными цветами камки на белой шелковой подкладке; той же тканью была обита и мебель, которою зала была заново обставлена при Людовике XIV. Явно современный паркет состоял из белых, большого размера деревянных плиток, окаймленных дубом. Потолок, разделенный на несколько картушей, в центре которых был резной маскарон работы Ван-Гейсума, оставили неприкосновенным, и он сохранил темные тона голландского дуба. В четырех углах залы возвышались колонки с подсвечниками, такими же, как на камине; середину залы занимал круглый стол. Вдоль стен были симметрично расставлены карточные столы. В те годы, к которым относится наше повествование, на двух золоченых консолях с досками белого мрамора стояло по стеклянному шару, наполненному водой, где над песком и раковинами плавали красные, золотистые и серебристые рыбки. Комната была блистательной и в то же время мрачной. Потолок неизбежно поглощал лучи, не давая никакого отражения. Если со стороны сада лился обильный свет, играя на резьбе черного дерева, то окна, выходившие во двор, давали его так мало, что на противоположной стене лишь чуть-чуть сверкали золотые жилки. Поэтому в зале, столь великолепной в ясный день, чаще всего господствовали тусклые краски, блеклые, меланхолические тона, какие осеннее солнце разбрасывает по макушкам леса. Излишне описывать здесь подробно дом Клаасов, в других покоях которого будут происходить разные сцены нашего повествования; пока достаточно общего знакомства.

В конце августа 1812 года, после воскресной вечерни, возле окна, обращенного к саду, в глубоком кресле сидела женщина. Косые лучи солнца освещали дом, охватывали его, пронизывали залу, умирали причудливыми отблесками на деревянной резьбе, украшавшей стены со стороны двора,

и, отражаясь от камковой занавески на окне, окутывали женщину пурпуром. Если бы даже посредственный художник написал ее так, он, наверное, создал бы поразительное произведение, изобразив ее лицо, полное скорби и меланхолии. Положением тела и вытянутых ног изобличалось подавленное состояние человека, который столь сосредоточенно отдался одной упорной мысли, что даже утратил ощущение своего физического существа; мысль ее озаряла своим светом будущее, — так на берегу моря часто можно видеть луч солнца, который пронзает облака и прочерчивает на горизонте полосу света. Руки женщины свешивались с подлокотников, голова, точно она была слишком тяжела, откинулась на спинку кресла. Белое, очень широкое перкалевое платье не давало возможности судить о пропорциях тела, а стан скрывали складки шарфа, небрежно завязанного на груди. Даже если бы свет и не обозначил рельефно ее лица, как бы нарочито его выделяя, и тогда всякий сосредоточил бы свое внимание исключительно на нем; в его оцепенении, длительном и, несмотря на жгучие слезы, холодном, выражалась такая подавленность, которая поразила бы и самого беззаботного ребенка. Ужасающее зрелище представляла эта беспросветная скорбь, которая могла переливаться через край лишь в редкие минуты и снова застывала на лице, точно лава вокруг вулкана. Можно было подумать: то умирающая мать принуждена покинуть своих детей в пропасти нищеты и никому не может поручить их. В чертах этой дамы, уже лет сорока, но теперь более красивой, чем когда-либо в юности, не было ничего характерного для фламандской женщины. Густые черные волосы буклями падали на плечи, окаймляя щеки. Лоб ее, очень выпуклый и узкий в висках, был желтоват, но под ним блестели черные пламенные глаза. Ее лицо, чисто испанское, смуглое, без ярких красок, попорченное оспой, останавливало на себе взгляд совершенством своей овальной формы, контуры его, несмотря на искаженные черты, сохранили в себе тонкость и величественное изящество, порой ясно проступавшее, если какое-нибудь движение души возвращало ему первоначальную чистоту. Больше всего благородства придавал ее мужественному лицу орлиный нос, и хотя высокая горбинка указывала на недостатки его строения, все же преобладало изящество, недоступное описанию; носовая перегородка была так тонка, что просвечивала розовым. Широкие, в морщинках губы хотя и обнаруживали гордость, внушенную знатным происхождением, но запечатлены были природной добротой и дышали приветливостью. Можно было оспаривать красоту этого лица, одновременно полного силы и мягкости, но оно приковывало к себе внимание. Женщина эта, невысокая, горбатая и хромая, долго просидела в девицах еще и потому, что ей упорно отказывали в уме; однако некоторых мужчин сильно привлекало ее лицо выражением горячей страстности и неистощимой нежности; они так и оставались под ее очарованием, удивительным при стольких недостатках. Она очень походила на своего деда, герцога Каса Реаль, испанского гранда.

Исходившее от ее лица очарование, которое в былые годы столь деспотически овладевало душами, влюбленными в поэзию, в эту пору было еще сильнее, чем в любой момент ее прошлой жизни, но направлено, так сказать, в пустоту, выражая колдовскую волю, всемогущую по отношению к людям, однако бессильную перед судьбой. Когда ее взор отрывался от стеклянного шара, от рыбок, на которых она смотрела, не видя их, она поднимала глаза, как бы в отчаянии взывая к небесам. Ее мучения, казалось, были такого рода, что в них можно было признаться только богу. Молчание нарушалось лишь сверчками, да кузнечиками, трещавшими в садике, откуда шел жар, как из печи, да глухим позвякиванием серебра, тарелок и стуком стульев, так как в соседней комнате слуга накрывал к обеду. В это мгновение опечаленная дама прислушалась и, казалось, пришла в себя; она взяла платок, вытерла слезы, попробовала улыбнуться и прогнала выражение скорби, запечатлевшееся во всех ее чертах, напустив на себя такое равнодушие, как будто жизнь ее была избавлена от всяких тревог. Оттого ли, что, постоянно сидя дома из-за своей немощи, она привыкла подмечать некоторые явления, не приметные для других, но драгоценные для тех, кто одержим необычайными чувствами, оттого ли, что природа вознаградила ее за телесные недостатки, дав ей ощущения более тонкие, чем у существ, по внешнему виду более совершенных, — так или иначе, но она услыхала мужские шаги в галерее, построенной над кухнями и комнатами для прислуги и соединявшей передний дом с задним. Шум шагов становился все более внятным. Вскоре и чужой человек, лишенный способности преодолевать душою пространство, соединяясь со вторым своим «я», что часто присуще страстным натурам вроде этой женщины, легко услыхал бы мужские шаги на лестнице, ведущей из галереи в залу. При звуке этих шагов существо самое невнимательное было бы охвачено множеством мыслей, ибо невозможно было слышать его хладнокровно. Походка торопливая или прерывистая пугает. Когда человек вскакивает и бежит с криком: «Пожар!» — его шаги говорят так же красноречиво, как и голос. Если так, то и походка, противоположная по своему характеру, должна производить не менее сильное впечатление. Важная медлительность и спокойная поступь этого человека, вероятно, раздражали бы людей, непривычных к размышлениям; зато натуры нервные или наблюдательные испытали бы чувство, близкое к ужасу, при размеренном звуке шагов, казалось, лишенных жизни, но заставлявших трещать половицы, точно о них кто-то ударял поочередно двумя железными гирями. Вы признали бы в этих шагах нерешительную и тяжелую походку старика или величественную поступь мыслителя, влекущего с собою целые миры. Сойдя с последней ступеньки и рассеянно шагая по плиткам, он на минутку остановился у широкой площадки, где кончался коридор, ведущий в людскую, и откуда равным образом можно было проникнуть как в залу, так и в столовую через двери, спрятанные за искусной резьбой. В это

мгновение легкая дрожь, вроде той, какую вызывает электрическая искра, пробежала по женщине, сидевшей в кресле; но одновременно нежнейшая улыбка оживила ее губы, а лицо, взволнованное предвкушением радости, засияло, как у прекрасной итальянской мадонны; и сразу же она обрела в себе силу затаить свои мучительные страхи в глубине души; потом повернула голову к шевельнувшейся резной панели, за которой скрывалась дверь в углу залы, и действительно кто-то открыл эту дверь, и притом столь порывисто, что бедная женщина вздрогнула.

Валтасар Клаас появился, сделал несколько шагов, не взглянув на нее, а может быть, и взглянув, да не заметив, и остановился посередине залы, поддерживая правой рукой слегка наклоненную голову. Ужасное страдание, с которым эта женщина не могла свыкнуться, хотя испытывала его многократно каждый день, сжало ей сердце, прогнало с лица улыбку и провело на смуглом лбу между бровями ту борозду, которая, возникая вновь и вновь, с течением времени запечатлевается навсегда, как след сильных страстей; глаза наполнились слезами, но она быстро их вытерла, взглянув на Валтасара. Невозможно было не испытать глубокого волнения при виде главы дома Клаасов. В молодости он, должно быть, походил на того прекрасного мученика, который грозил Карлу V вновь начать дело Артевелде; но сейчас ему можно было дать лет шестьдесят, хотя ему было лишь около пятидесяти, и преждевременная старость уничтожила это благородное сходство. Его высокий стан слегка горбился — то ли занятия принуждали Клааса сутулиться, то ли спинной хребет его искривился под тяжестью головы. У него были широкая грудь, мощный торс, но нижняя часть тела, хотя и мускулистая, была слабо развита, и это несоответствие в телосложении, прежде, по-видимому, совершенном, занимало наблюдателя, желавшего объяснить причины такой фантастической внешности какой-нибудь особенностью в образе жизни. Густые белокурые волосы, остававшиеся в небрежении, падали по плечам на немецкий манер, но в беспорядке, гармонировавшем с его странным обликом. На широком лбу выступали шишки, где Галль помещал миры поэзии[8]. Ясная и глубокая синева его глаз вдруг загоралась так ярко, как то бывает у восторженных исследователей оккультных явлений. Его нос, прежде, вероятно, безупречной формы, теперь удлинился, а ноздри как будто все больше и больше расширялись с годами из-за непроизвольного напряжения обонятельных мускулов. Сильно выдавались волосатые скулы, отчего еще более, казалось, западали щеки, уже поблекшие; красиво очерченный рот был сжат между носом и коротким, резко приподнятым подбородком. Лицо его было скорее длинным, чем овальным: так что научная система, приписывающая всякому человеческому лицу сходство с головой животного[9], нашла бы себе лишнее подтверждение в Валтасаре Клаасе, у которого в лице было что-то лошадиное. Кожа плотно обтягивала кости, точно ее непрестанно сушил тайный огонь; а по временам, когда он смот-

рел куда-то в пространство, как бы ища там осуществления своих надежд, так и казалось, что он ноздрями извергает пламя, пожиравшее его душу. Глубокие чувства, присущие великим людям, дышали в этом бледном, сильно изборожденном морщинами лице, на этом лбу, собранном в складки, как у старого короля, исполненного забот, и, в особенности, в этих пылающих глазах, в которых огонь как бы разгорался от целомудрия тиранической идеи и от внутреннего накала огромного ума. Темные круги у впалых глаз, казалось, были вызваны только бессонными ночами и ужасным воздействием вечно обманываемой и вечно возрождавшейся надежды. Всепоглощающий фанатизм художника или ученого, кроме того, обнаруживался в постоянной и странной его рассеянности, о которой свидетельствовали его одежда и манера держать себя, соответствовавшие его великолепной и чудовищной внешности. Широкие волосатые руки его были грязны, за длинными ногтями виднелись черные полоски. Башмаки его были не чищены или без шнурков. Во всем доме только хозяин мог позволить себе эту странную вольность — быть неопрятным. Панталоны из черного сукна, все в пятнах, расстегнутый жилет, криво повязанный шейный платок, вечно разорванный зеленоватый фрак дополняли то причудливое сочетание жалкого и значительного, которое у всякого другого свидетельствовало бы о нищете, порожденной пороками, но у Валтасара Клааса было небрежностью гения. Как часто пророк и гений порождают одни и те же результаты, вводящие в заблуждение толпу! Не является ли гениальность тем излишеством, которое пожирает время, деньги, тело и еще скорее приводит в госпиталь, чем дурные страсти? Кажется, люди питают даже больше уважения к порокам, чем к гению, ибо последнему они отказывают в кредите. По-видимому, тайные труды ученого столь нескоро приносят выгоду, что общество боится рассчитываться с ним при жизни; оно предпочитает ограничить свою расплату тем, что не прощает ему ни его бедности, ни несчастий. Хотя Валтасар Клаас никогда не помнил о настоящем, все же, если он отрывался от таинственных своих созерцаний, если нежность и общительность оживляли его задумчивое лицо, если его пристальный взор, выражая сердечное чувство, терял свой суровый блеск, если он оглядывался вокруг себя, возвращаясь к жизни реальной и обыденной, трудно было тогда не воздать чести пленительной красоте его лица и отпечатлевшемуся на нем изяществу ума. Увидев его тогда, все пожалели бы, что он не принадлежит более свету, и всякий сказал бы: «Должно быть, он очень красив был в молодости». Обычная ошибка! Никогда Валтасар Клаас не был более поэтичен, чем теперь. Несомненно, Лафатеру захотелось бы изучить его лицо [10], говорящее о терпении, о фламандской порядочности, о непорочной душевной жизни, где все было широко и величественно, где страсть казалась спокойной потому, что она была сильна. Нравы этого человека, вероятно, были чисты, слово свято, дружба постоянна, преданность совер-

шенна; но воля, которая направляет эти качества ко благу родины, общества или семьи, роковым образом дала им иное назначение. Этот гражданин, которому надлежало блюсти счастье семьи, умножать благосостояние, направлять своих детей к прекрасному будущему, жил вне круга своих обязанностей и привязанностей, в общении с каким-то родственным ему гением. Священнику он показался бы исполненным благодати, художник поклонился бы ему как великому мастеру, энтузиаст принял бы его за ясновидящего Сведенборговой церкви[11]. Разорванный, нелепый, изношенный костюм его странно контрастировал в описываемую минуту с чарующей изысканностью женщины, которая так скорбно им восхищалась. Люди, страдающие физическими недостатками, но умные или наделенные прекрасной душой, проявляют в своем костюме изощренный вкус. Они либо одеваются совсем просто, понимая, что их очарование всецело в области духовной, либо умеют отвлечь чужие глаза от неправильности своего телосложения какими-нибудь изящными чертами своего облика, привлекающими взгляд и дающими пищу уму. Эта женщина не только отличалась душевным благородством, она любила Валтасара Клааса тем женским инстинктом, который является прообразом разума ангельского. Воспитанная в среде знаменитейших бельгийских семей, она могла бы развить свой вкус, даже если бы не обладала им от природы; а когда ее наставником сделалось желание постоянно нравиться любимому человеку, то она стала одеваться восхитительно, причем, несмотря на два недостатка в сложении, элегантность ее не казалась неуместной. Ее стан портили, впрочем, только плечи, одно из которых было заметно выше другого. Взглянув через окно на двор, потом в сад, словно желая убедиться, что никого здесь нет, кроме Валтасара, она бросила на него взгляд, полный покорности, отличающей фламандских женщин, ибо уже давно у нее любовью вытеснена была гордость испанской знати, и сказала нежно:

— Валтасар, ты очень занят?.. Вот уже тридцать третье воскресенье ты не ходишь ни к обедне, ни к вечерне.

Клаас ничего не ответил; его жена опустила голову, сложила руки и ждала; она знала, что молчание означает не презрение, не пренебрежение к ней, а тиранически овладевшую им озабоченность. Валтасар был из тех, кто долго хранит в душе юношескую деликатность, он счел бы себя преступником, если бы выразил мысль хоть сколько-нибудь обидную для женщины, подавленной сознанием физического своего недостатка. Среди всех мужчин только он, вероятно, знал, что одно слово, один взгляд могут омрачить годы счастья и что обида становится еще горше от резкого контраста с обычной мягкостью, ибо, по самой природе нашей, мы сильнее огорчаемся диссонансом в счастье, чем наслаждаемся неожиданной радостью среди горя. Несколько мгновений спустя Валтасар, казалось, пробудился, быстро огляделся и сказал:

— Вечерня? Ах, дети у вечерни...

Он сделал несколько шагов, чтобы посмотреть на сад, где повсюду росли великолепные тюльпаны; затем вдруг остановился, будто натолкнулся на стену, и воскликнул:

— Почему не образуется соединение в положенное время?

«Неужели он сходит с ума?» — ужаснулась жена.

Чтобы почувствовать весь интерес сцены, вызванной таким положением, непременно нужно бросить взгляд на прежнюю жизнь Валтасара Клааса и внучки испанского герцога Каса-Реаль [12].

В 1783 году Валтасар Клаас-Молина де Ноуро, которому минуло тогда двадцать два года, был, что мы называем во Франции, красавцем. Чтобы закончить свое образование, он приехал в Париж, где усвоил прекрасные манеры в обществе г-жи д'Эгмонт, графа де Горна, князя д'Аренберга, испанского посланника, Гельвеция, французов бельгийского происхождения или особ, приехавших из Бельгии, которых по древности их рода или богатству причисляли к знати, задававшей тон в те времена. Молодой Клаас нашел среди них родственников и друзей, и они ввели его в высший свет, когда тот был накануне своего падения; но первоначально Валтасара, как и большую часть юношества, сильнее соблазняли слава и науки, чем суета. Он охотно посещал ученых, в особенности Лавуазье, тогда привлекавшего общественное внимание скорее несметными богатствами генерального откупщика, чем открытиями в химии, меж тем как впоследствии великий химик заслонил в нем ничтожного генерального откупщика. Валтасар страстно увлекся той наукой, развитию которой способствовал Лавуазье, и стал самым пылким его учеником; но он был молод, красив, как Гельвеций, и парижанки вскоре научили его дистиллировать только острословие и любовь. С жаром принявшись было за занятия и тем заслужив от Лавуазье похвалы, он покинул своего учителя, чтобы послушать наставниц в области тонкого вкуса, у которых молодые люди проходили последний курс жизненной науки и приобщались к обычаям высшего общества, составляющего в Европе единое семейство. Опьяняющие мечты о светских успехах были недолговечны; вдохнув парижского воздуха, Валтасар уехал, утомленный пустым существованием, не соответствовавшим ни его пылкой душе, ни любящему сердцу. Домашняя жизнь, столь тихая, столь спокойная, о которой он вспоминал при одном имени Фландрии, показалась ему более подходящей к его характеру и стремлениям его сердца. Никакая позолота парижских салонов не изгладила очарования потемневшего зала и садика, где столь счастливо протекало его детство. Нужно не иметь ни домашнего очага, ни отечества, чтобы остаться в Париже. Париж — это город космополитов или людей, слившихся с целым миром и непрестанно охватывающих его наукой, искусством и властью.

Сын Фландрии вернулся в Дуэ, как голубь у Лафонтена возвращается к себе в гнездо; он плакал от радости, въезжая туда в тот самый день,

когда в Дуэ устраивают процессию Гейана. Этот праздник, предмет веселого суеверия для всего города, триумф фламандских воспоминаний, вошел в обычай ко времени переезда семейства Клаасов в Дуэ. После смерти отца и матери дом Клаасов опустел, и Валтасару пришлось некоторое время заниматься делами. Когда первое горе прошло, он почувствовал, что ему надо жениться, чтобы придать законченность тому блаженному образу жизни, под обаяние которого он снова подпал; желая следовать семейным обычаям, он, по примеру своих предков, отправился, в поисках жены, в Гент, в Брюгге и в Антверпен; но ни одна из встретившихся Валтасару девиц не пришлась ему по вкусу. Без сомнения, у него были какие-то особенные взгляды на брак, ибо с юности его обвиняли в том, что он не ходит проторенными путями. Однажды у своего родственника в Генте он услыхал разговор о какой-то девице из Брюсселя, ставшей предметом весьма оживленных споров. Одни находили, что красоту Жозефины Темнинк заслоняли ее телесные недостатки, другие, несмотря на это, считали Жозефину совершенством. Старый родственник Валтасара Клааса сказал гостям, что красива она или нет, зато душа у нее такая, что, будь он помоложе, он сам женился бы на ней; он сообщил, как она отказалась недавно от наследства, оставленного ей отцом и матерью, чтобы устроить своему младшему брату достойный его имени брак, поступившись ради счастья брата своим собственным счастьем и принеся ему в жертву всю свою жизнь. Трудно было предполагать, чтобы она вышла замуж теперь, будучи не первой молодости и без средств, раз она не нашла себе партии, когда была молодой наследницей большого состояния. Через несколько дней Валтасар Клаас искал руки двадцатипятилетней Жозефины Темнинк, которою он сразу увлекся. Она сочла это случайной прихотью и отказалась выслушать речи г-на Клааса; но страсть так заразительна, и бедной девушке, неправильно сложенной и хромой, любовь, внушенная ею красивому молодому человеку, несет столько обольщений, что она позволила ухаживать за собою.

Понадобилась бы целая книга, чтобы как следует изобразить любовь молодой девушки, которая смиренно подчинилась мнению, провозгласившему ее некрасивой, тогда как она чувствует в себе силу непреодолимого очарования, порождаемого глубокими чувствами. Недостаточно было бы перечислить дикие приступы ревности при виде чужого счастья, мучительное желание отомстить сопернице, похищающей хоть бы единый взгляд, — словом, неизвестные большинству женщин волнения и страхи, о которых здесь следовало бы, пожалуй, не только упомянуть. Сомнение, столь драматичное в любви, составляло бы ключ чрезвычайно тщательного анализа, где кое-кто узнал бы утерянную, но не забытую поэзию своих юношеских чувств; высокие восторги, сокрытые в глубине сердца и никогда не выдаваемые выражением лица; боязнь не быть понятым и безграничную радость оттого, что тебя поняли; неуверенность души,

углубленной в себя, и магнетическое сияние, придающее глазам бесконечные оттенки; мысли о самоубийстве, вызываемые одним словом и рассыпающиеся от интонации в голосе, столь же разнообразной, как и чувство, о постоянстве которого она свидетельствует вопреки всем подозрениям; робкие взгляды, за которыми скрыта твердая решимость; внезапное желание высказаться и действовать, подавляемое своей же собственной силой; внутреннюю красноречивость фраз, не имеющих особого значения, но произносимых взволнованным голосом; таинственные проявления той первоначальной стыдливости души, той божественной скромности, которая заставляет человека великодушно оставаться в тени и придает изысканную сладость невысказанным признаниям, — словом, всю красоту юной любви и все слабости ее могущества.

Жозефина де Темнинк была кокеткою лишь из-за душевного величия. Ощущение своего явного несовершенства сделало ее такой же недоступной, какой бывает красавица. Боязнь когда-нибудь не понравиться пробудила ее гордость, уничтожила доверчивость и дала ей мужество прятать в глубине сердца радость первого успеха, который любят подчеркивать всеми своими манерами другие женщины, создающие себе из него горделивый убор. Чем сильнее влекла ее к Валтасару любовь, тем трудней было Жозефине решиться выразить ему свои чувства. Не становились ли у нее жалкими уловками те жесты, взгляды, ответы или вопросы, которые были бы лестны мужчине, исходи они от хорошенькой женщины? Красивой женщине свет не отказывает в доверии, прощает какую-нибудь глупость или неловкость, и она сколько ей угодно может быть сама собою, — тогда как одного взгляда достаточно, чтобы согнать прелестную улыбку с уст некрасивой женщины, придать робость ее глазам, подчеркнуть неловкость ее жестов, сковать ее смущением. Разве она не знает, что только ей запрещено делать ошибки, так как окружающие не верят, что она может загладить их, и не дадут ей к тому случая? Разве необходимость в любую минуту держаться безупречно не должна угашать ее способности, сковывать холодом их развитие? Такая женщина может жить только в атмосфере ангельской снисходительности. Но где вы найдете сердца, проявляющие снисходительность без примеси горькой и обидной жалости? Подобные мысли, усвоенные ею, когда она узнала цену ужасной светской вежливости и знаков внимания, более жестоких, чем оскорбления, ибо своей нарочитостью они только лишний раз напоминают человеку о его несчастье, — подавляющим образом действовали на Жозефину Темнинк, постоянно вызывали в ней ту стесненность, от которой в глубь души уходили самые прелестные чувства и холодными становились манеры, речь и взгляд. Украдкой она была влюблена, осмеливалась становиться красноречивой или красивой только в уединении. Несчастная при ярком свете дня, она была бы восхитительна, если бы ей позволили жить только ночью. Часто, чтобы подвергнуть испытанию любовь Клааса,

даже с риском ее потерять, она пренебрегала уборами, которые отчасти могли бы скрыть ее недостатки. Ее испанские глаза становились обворожительными, когда она замечала, что Валтасар находит ее прекрасной в небрежном костюме. И все же недоверие портило ей редкие мгновения, когда она дерзала отдаваться счастью. Вскоре она стала спрашивать себя, не хочет ли Клаас жениться на ней, чтобы иметь при себе рабу, нет ли у него каких-либо скрытых недостатков, вынуждающих его удовольствоваться бедной девушкой, которая обижена природой. Порою эти постоянные тревоги придавали неслыханную цену тем часам, когда она верила в длительность, в искренность любви, которая должна была стать ее мщением свету. Преувеличивая свою некрасивость в беседах с возлюбленным, она вызывала его на споры, чтобы проникнуть в глубь его души, и в таких случаях у Валтасара вырывались истины, мало для нее лестные; но ей нравилось его смущение, когда она заставляла его признаться, что прежде всего в женщине любят прекрасную душу и преданность, сулящую постоянное спокойное счастье, что после нескольких лет брака для мужа совершенно безразлично, будет ли его жена самой восхитительной женщиной на земле или самой безобразной. Собрав все, что только есть правдивого в парадоксах, имеющих целью сбавить цену красоте, Валтасар вдруг замечал нелюбезность подобных суждений, и вся доброта его сердца обнаруживалась в тех деликатных оговорках, которыми он умел доказать Жозефине Темнинк, что для него она совершенство. В преданности, являющейся, может быть, вершиною женской любви, у нее не было недостатка, ибо бедняжка всегда отчаивалась в том, что ее полюбят; она прельстилась возможностью борьбы, в которой чувство должно одержать верх над красотою; затем нашла величие в том, чтобы отдать свое сердце, не веря в любовь; наконец, счастье, пускай даже и недолгое, слишком дорого стоило бы ей, чтобы она отказалась его вкусить. Неуверенность и борьба чувств сообщили этому возвышенному существу очарование и неожиданную страстность, которые внушили Валтасару любовь почти рыцарскую.

Они поженились в начале 1795 года. Супруги поехали в Дуэ, желая провести первые дни своей совместной жизни в патриархальном доме Клаасов, к сокровищам которого Жозефина Темнинк присоединила несколько прекрасных картин Мурильо и Веласкеса, бриллианты своей матери и великолепные подарки, присланные ей братом, получившим титул герцога Каса-Реаль. Не многие женщины были счастливее г-жи Клаас. Ее счастье оставалось безоблачным пятнадцать лет и, подобно солнечному свету, пронизывало все ее существование вплоть до мелочей. У большинства мужчин обнаруживаются неровности характера, от которых происходят постоянные несогласия; мужья лишают, таким образом, домашнюю жизнь гармонии, то есть идеального семейного счастья; ведь большинству мужчин свойственны мелкие недостатки, а от них рождаются

дрязги. Один будет честен и деятелен, но черств и жесток, другой будет добр, но упрям; этот станет любить свою жену, но будет отличаться бесхарактерностью; тот, поглощенный честолюбием, будет любить так, точно он отбывает повинность, и, доставляя жене тщеславные утехи богатства, лишит ее простых радостей жизни; словом, мужчины в нашем обществе по существу своему несовершенны, и их нельзя за это очень упрекать. Люди, живущие умом, изменчивы, как барометр; истинно добр бывает только гений. Таким образом, настоящее счастье обретается на двух концах духовной лестницы. Дурак или человек гениальный — только они сохраняют — один из-за своей слабости, другой благодаря своей силе — то ровное расположение духа, ту постоянную мягкость, которыми сглаживаются шероховатости жизни. У одного — безразличие и вялость, у другого — кротость и постоянство высокого мышления, верного себе и в повседневной жизни. Тот и другой равно просты и наивны; только у одного это — пустота, у другого — глубина. Поэтому ловкие женщины бывают склонны за неимением великого человека избрать дурака, как наименьшее из зол. И вот Валтасар сразу проявил величие своей души в самых мелких жизненных обстоятельствах. Ему хотелось создать из супружеской любви нечто подобное творению искусства и, как свойственно высоко достойным людям, не терпящим ничего несовершенного, дать ей развиться во всей ее красоте. Его ум постоянно вносил разнообразие в спокойное счастье, его благородный характер проявлялся в уступчивости. Поэтому, хотя он и разделял философские убеждения XVIII века, но еще в 1801 году, пренебрегая опасностью со стороны революционных законов, дал у себя приют католическому священнику, считаясь с той чисто испанской, фанатической приверженностью к римско-католической вере, которую его жена всосала с молоком матери; а затем, когда культ во Франции был восстановлен, каждое воскресенье сопровождал он жену свою к обедне. Его привязанность никогда не теряла страстности. Никогда он не позволял себе в домашнем быту покровительственного тона, обычно нравящегося женам: по отношению к его жене это было бы похоже на жалость. Словом, искуснейшим образом теша ее самолюбие, он обращался с нею, как с равною себе, и порою мило на нее дулся, — как мужчина позволяет себе дуться на красавицу-жену, показывая, что он не боится ее превосходства. Улыбка счастья всегда украшала его губы, и речь его неизменно дышала нежностью. Он любил свою Жозефину ради нее и ради себя, с тем пылом, который служит непрестанной хвалой достоинствам и прелести женщины. Верность, часто подсказываемая мужьям общественными отношениями, религией или расчетом, у него производила впечатление чего-то непроизвольного и не чуждалась тех шаловливых ласк, которые свойственны бывают весне любви. Выполнение долга — вот единственное брачное обязательство, в котором не было надобности для обоих этих равно любящих существ, ибо Валтасар Клаас нашел в Жо-

зефине Темнинк постоянное и полное осуществление своих надежд. Сердце его утолялось, не зная пресыщения; как мужчина он был счастлив. Испанская кровь семейства Каса-Реаль давала себя знать в Жозефине, наделила ее инстинктивной способностью бесконечно разнообразить наслаждения, но Жозефина оказалась способна и на ту безграничную преданность, в которой проявляется гений женщины, как в грации проявляется ее красота. Она любила со слепым фанатизмом и во имя своей любви, по первому его знаку, радостно пошла бы на смерть. Деликатность Валтасара обострила в ней все самые великодушные чувства женщины и внушила ей властную потребность дарить больше, чем получать. Взаимный обмен счастьем, которое расточали они друг другу, заметно поколебал ее замкнутость, так что и в словах ее, и во взорах, и в малейшем движении стала обнаруживаться ее возраставшая любовь. Благодарность друг к другу оплодотворяла и разнообразила жизнь сердца у обоих супругов, а уверенность в том, что для любимого человека ты составляешь все, изгоняла мелочность и делала знаменательной каждую подробность их жизни. А кроме того, разве горбатая женщина, которую муж считает стройной, хромая женщина, которую мужчина не хотел бы видеть иною, женщина пожилая, которая кажется ему молодою, — не вправе почитать себя счастливейшим созданием среди всех женщин? Страсти человеческой некуда идти дальше. Не является ли славою для женщины сделать предметом поклонения то, что в ней кажется недостатком? Забыть, что хромая не может ступать правильно, — это минутный самообман; но любить ее потому, что она хромая, — это обожествление ее уродства. Может быть, в евангелии женщин следовало бы выгравировать такое изречение: блаженны некрасивые, ибо царство любви принадлежит им. По правде говоря, красота должна считаться несчастьем для женщины, ибо это преходящее цветение чрезмерно воздействует на внушаемое ею чувство: не похожа ли такая любовь на брак по расчету? Зато любовь, которую внушит или сама испытает женщина, лишенная крупных преимуществ, столь привлекательных для сынов Адама, есть любовь истинная, страсть подлинно таинственная, пылкие объятия душ, чувство, для которого никогда не приходит день разочарования. Такая женщина обладает прелестью, неведомой свету, ускользающей от его контроля, она прекрасна тогда, когда это нужно, и минуты, заставляющие забывать о ее несовершенствах, рождают в ней столь гордое чувство, что она будет всегда добиваться победы. Поэтому почти все привязанности, наиболее знаменитые в истории, были внушены женщинами, у которых толпа нашла бы недостатки. Клеопатра, Джованна Неаполитанская, Диана де Пуатье, мадемуазель де Лавальер, мадам де Помпадур — словом, большинство женщин, прославившихся в области любви, не были лишены несовершенств и телесных недостатков, — тогда как большинство женщин, красота которых слывет совершенной, были несчастны в любви. Это

странное на первый взгляд явление объясняется, вероятно, особыми причинами. Быть может, для мужчины больше значат чувства, чем наслаждения? Быть может, обаяние красавицы, всецело телесное, имеет границы, тогда как духовное в своей основе обаяние женщины, посредственно красивой, бесконечно? Не таков ли смысл повествования, лежащего в основе «Тысячи и одной ночи»? Будь женой Генриха III дурнушка, она не испугалась бы топора и победила бы непостоянство своего господина.

По странности, легко, впрочем, объяснимой, раз речь идет о девушке испанского происхождения, г-жа Клаас не была образованна. Она умела читать и писать, но вплоть до двадцатилетнего возраста, когда родные взяли ее из монастыря, знакома была только с аскетическими сочинениями. Вступив в свет, она сначала возжаждала светских развлечений и усвоила только пустые познания в искусстве одеваться; а так как она, глубоко сознавая свое невежество, не смела вмешиваться в разговор, то ее считали неумной. Однако мистическое воспитание привело к тому, что чувства у нее сохранились во всей своей силе и нисколько не испортился ее природный ум. Глупенькая и некрасивая богатая невеста во мнении света, она стала умной и красивой для своего мужа. Хотя в первые годы их брака Валтасар старался дать жене познания, которых ей не хватало для того, чтобы хорошо чувствовать себя в обществе, но, вероятно, было слишком поздно, — у нее сохранилась только память сердца. Жозефина ничего не забывала из того, что говорил ей Клаас касательно их обоих; она помнила мельчайшие обстоятельства своей счастливой жизни, а вчерашний урок не могла удержать в памяти. Подобное невежество стало бы причиной серьезных разногласий между другими супругами; но у г-жи Клаас было такое наивное понимание страсти, так благоговейно, так свято она любила, и желание сберечь свое счастье делало ее столь догадливой, что она, казалось, всегда понимала своего мужа, и редко ее невежество обнаруживалось слишком явственно. К тому же, когда двое любят друг друга настолько, что ежедневно для них возрождается первый день их страсти, это плодотворное счастье обладает поразительными особенностями, воздействующими на весь уклад жизни. Разве тогда не возвращается детство, которому нет ни до чего дела, кроме смеха, радости, удовольствия? А затем, когда жизнь очень деятельна, когда огонь ее горит, человек предоставляет ему пылать и не задумывается, не спорит, не соразмеряет средства и цели. Впрочем, ни одна дщерь Евы не понимала лучше г-жи Клаас своего женского призвания. У нее была присущая фламандкам покорность, которая придает столько привлекательности домашнему очагу, а оттененная гордостью, свойственной испанкам, она становилась еще милее. Жозефина умела заставить уважать себя, внушала к себе почтение одним взглядом, в котором сияло сознание своего достоинства и знатности, но пред Клаасом она склонялась; и в конце концов вознесла его так высоко, так близко к богу, давая ему отчет во всех делах

своих и помышлениях, что любовь ее приобрела уже оттенок благоговения и от этого еще возросла. Она горделиво переняла все навыки фламандской буржуазии и почитала вопросом самолюбия добиться того, чтобы дом был полная чаша, поддерживать все его убранство в безупречной чистоте, иметь вещи только безусловно добротные, подавать на стол только самые тонкие блюда и все устраивать в согласии с жизнью сердца. У них было четверо детей — два мальчика и две девочки. Старшая, названная Маргаритой, родилась в 1796 году, младшему, мальчику, минуло три года, звали его Жан-Валтасар. Материнское чувство г-жи Клаас почти равнялось ее любви к супругу. Поэтому, особенно за последние дни, в душе ее происходила ужасная борьба между двумя чувствами, одинаково сильными, из которых одно как бы враждовало с другим. Слезы и ужас, запечатлевшиеся на ее лице в тот момент, с которого мы начали рассказ о домашней драме, таившейся в этом мирном доме, вызваны были опасением Жозефины, что дети принесены ею в жертву мужу.

В 1805 году брат г-жи Клаас умер, не оставив детей. Испанский закон не признавал за сестрой права наследовать земельные владения брата, связанные с передачей родового титула; но герцог отказал ей до шестидесяти тысяч дукатов особым завещательным распоряжением, которого не оспаривали наследники по боковой линии. Хотя никакие соображения расчетливости не пятнали чувства, соединявшего ее с Валтасаром Клаасом, все же Жозефина почувствовала некоторую удовлетворенность, получив состояние, равное состоянию мужа, и была счастлива, имея возможность отплатить кое-чем тому, кто с таким благородством дал ей все. Итак, брак, в котором люди расчетливые видели безумие, оказался превосходным и с точки зрения расчета. Какое употребление дать этой сумме, было довольно трудно решить. Дом Клаасов так богато был убран мебелью, картинами, предметами художественными и ценными, что, казалось, невозможно было добавить что-нибудь достойное такого убранства. Благодаря присущему этой семье чувству изящного в нем скопились целые сокровища. Одно поколение Клаасов увлеклось собиранием прекрасных картин; а затем, раз уже возникла необходимость пополнять начатое собрание, вкус к живописи сделался наследственным. Сто картин, украшавших галерею, которая соединяла задний дом с приемными апартаментами, расположенными во втором этаже переднего дома, так же, как полсотни других полотен, размещенных в парадных залах, потребовали трехвековых терпеливых поисков. То были знаменитые произведения Рубенса, Рейсдаля, Ван-Дейка [13], Терборха, Герарда Доу, Тенирса, Мириса, Пауля Поттера, Вувермана, Рембрандта, Гоббемы, Кранаха и Гольбейна. Картины итальянские и французские были в меньшем числе, но все подлинные и значительные. У другого поколения появилась фантазия собирать сервизы японского и китайского фарфора. Такой-то Клаас был страстным любителем мебели, такой-то — серебра, словом, у каждого была

своя мания, своя страсть, одна из самых поразительных черт фламандского характера. Отец Валтасара, последний обломок славного голландского общества, составил одну из самых богатых коллекций знаменитых тюльпанов. Помимо этих наследственных богатств, которые представляли собою огромный капитал и великолепно украшали старый дом — простой, как раковина, извне и, как раковина, игравший перламутровыми переливами богатейших красок внутри, — Валтасар Клаас владел еще деревенским домом на Оршийской равнине. Далекий от того, чтобы, подобно французам, расходовать все доходы, он следовал старинному голландскому обычаю тратить только их четверть; двенадцать сотен дукатов в год позволяли ему быть в своих расходах на одном уровне с богатейшими людьми города. С опубликованием Гражданского кодекса подобное благоразумие оказалось вполне оправданным. Предписывая равный раздел имущества, глава о наследовании оставила бы детей почти бедняками и со временем рассеяла бы сокровища старинного музея Клаасов. Валтасар, с согласия г-жи Клаас, распорядился ее состоянием так, чтобы каждому из детей обеспечить имущественное положение, занимаемое отцом. В доме Клаасов упорно сохранялся скромный обиход, что давало возможность приобретать лесные угодья, которые несколько пострадали от минувших войн, однако при хорошем уходе должны были через десять лет приобрести огромную ценность.

Высшее общество Дуэ, в котором вращался Клаас, так оценило прекрасный характер и достоинства его жены, что, по своего рода молчаливому соглашению, она была освобождена от светских обязанностей, которым в провинции придают такое значение. Во время зимнего сезона, проводимого ею в городе, она редко посещала общество, и общество стало собираться у нее. Она принимала по средам и давала в месяц три парадных обеда. Все поняли, что она чувствует себя свободнее дома, где, кроме того, ее удерживали страстная любовь к мужу и заботы, которых требовало воспитание детей. Так вплоть до 1809 года шла жизнь семейства, столь мало сообразовавшегося с общепринятыми мнениями. Существование этих двух людей, внутренне богатое любовью и радостью, внешне походило на всякое другое. В страстной любви Валтасара Клааса к жене, которую она умела всегда поддерживать, казалось, как он сам это говорил, нашло себе применение его врожденное постоянство, и взрастить свое счастье, уж, во всяком случае, было не менее важно, чем выращивать тюльпаны, к чему с детства имел он склонность, так что это избавило его от необходимости предаться, по примеру своих предков, какой-нибудь мании.

В конце этого года ум и образ жизни Валтасара подверглись зловещим переменам, начавшимся так естественно, что г-жа Клаас первоначально не сочла нужным его расспрашивать. Как-то вечером ее муж отошел ко сну в задумчивости, уважать которую она считала своим долгом. Женская деликатность и привычка к подчинению заставляли ее молча дожидаться

признаний Валтасара; любовь мужа, столь надежная, не давала ей никакого повода к ревности и позволяла рассчитывать на его откровенность. Она знала, что если решится из любопытства задать ему вопрос, то он, конечно, ответит, а все-таки от первых жизненных впечатлений в ней навсегда осталась какая-то неуверенность. Кроме того, душевный недуг мужа прошел через несколько фаз и лишь постепенно проступал все явственней и явственней, достигая невыносимой силы, разрушившей счастье семьи. Как ни был занят Валтасар, он, однако, в течение нескольких месяцев оставался все таким же разговорчивым и внимательным, а перемена характера сказывалась пока только в частых проявлениях рассеянности. Г-жа Клаас долгое время не теряла надежды узнать от самого мужа тайну его занятий; быть может, думала она, он не хотел о них рассказывать, пока не добьется благоприятных результатов, — ведь многие мужчины из гордости умалчивают о борьбе, которую они ведут, и предпочитают показываться только в качестве победителя. Тем ярче должно было просиять домашнее счастье в день триумфа, что Валтасар замечал пробел в своей любовной жизни, с которым, конечно, не могло примириться его сердце. Ведь Жозефина достаточно знала своего мужа и понимала, как он, должно быть, упрекал себя за то, что уже несколько месяцев его Пепита чувствовала себя менее счастливой. И вот она хранила молчание, испытывая своеобразную радость от мук, претерпеваемых из-за него и ради него, ибо в ее страсти был оттенок испанского благочестия, которое никогда не отделяет веры от любви и не понимает чувства без страданий. Она ожидала, что привязанность мужа к ней вернется, и говорила себе каждый вечер: «Это будет завтра!» — думая о своем счастье, как думают о человеке, находящемся в отлучке. Среди тайных тревог зачала она свое последнее дитя. С ужасающей ясностью увидела она тогда, какую скорбь сулит ей будущее. Жизнь ее с мужем складывалась теперь так, что любовь была для него только развлечением, разве лишь бóльшим, чем какое-либо другое. Женская гордость, оскорбленная впервые, помогла ей измерить всю глубину неведомой пропасти, навсегда отделившей ее от прежнего Клааса. С этих пор состояние Валтасара еще ухудшилось. Тот, кто прежде всей душой отдавался семейным радостям, кто, бывало, целыми часами играл с детьми, возился с ними на ковре в зале и в песке на садовых дорожках, кому, казалось, и жизни не было вдалеке от черных глаз его Пепиты, — тот даже не заметил беременности жены, забыл о своей семье, забыл о себе самом. Чем больше г-жа Клаас медлила с расспросами о предмете его занятий, тем меньше чувствовала она в себе смелости. При одной мысли о занятиях мужа кровь у нее вскипала и голос замирал. Наконец, она подумала, что перестала нравиться мужу, и серьезно тогда встревожилась. Опасение это заняло ее мысли, привело ее в отчаяние, в возбуждение, повлекло за собою немало меланхолических часов и горьких размышлений. Она оправдывала Валтасара, обвиняя во

всем себя, считая себя некрасивой и старой; потом ей пришло в голову, что он, из великодушия, унизительного для нее, хочет хотя бы формально остаться ей верным, а потому ищет забвения в работе, и она решила возвратить ему независимость при помощи тайного развода, заключающего в себе разгадку того с виду счастливого существования, какое ведут многие супружеские пары. Все же, прежде чем сказать «прости» супружеской жизни, она попыталась заглянуть в глубину его сердца, но оно оказалось закрытым. Она видела, как мало-помалу Валтасар стал безразличен ко всему, что он прежде любил: позабыл о цветущих тюльпанах и не обращал никакого внимания на детей. Вероятно, он предавался какой-то страсти, не имеющей отношения к жизни сердца, но, по мнению женщин, не менее иссушающей. Любовь никем не была похищена — она просто уснула. От такого утешения горе не уменьшалось. Длительность этого кризиса объясняется одним словом — *надежда*; в ней и заключена тайна подобных семейных отношений. Когда бедная женщина доходила уже до отчаяния, придававшего ей решимость расспросить мужа, вдруг именно тогда выпадали ей сладостные минуты, доказывавшие, что, если Валтасар и находится во власти дьявольских мыслей, все же они время от времени не мешают ему вновь становиться самим собою. В эти минуты, когда небо вновь для нее прояснялось, она слишком спешила насладиться своим счастьем и не хотела нарушать его, докучая своему мужу, а когда она, все же чувствуя в себе смелость расспросить Валтасара, уже готова была заговорить с ним, он тотчас от нее ускользал — внезапно уходил или погружался в пучину размышлений, от которых ничто не могло его оторвать. Вскоре душевная жизнь стала оказывать разрушительное воздействие и на тело — воздействие, сперва неприметное, но тем не менее ощутимое для любящей женщины, ибо она старалась угадать тайную мысль мужа по малейшим признакам. Часто ей трудно было удержаться от слез, видя, как он после обеда усаживался в кресло возле камина, мрачный, задумчивый, остановив взгляд на темном панно, не замечая царящего вокруг молчания. Со страхом наблюдала она за еле уловимыми переменами, портившими его лицо, в котором она своим любящим взглядом находила столько высокой красоты; с каждым днем все больше теряло оно свою одушевленность, и застывшие черты становились невыразительными. Порою глаза как бы стекленели, — казалось, что взгляд его обращен куда-то внутрь. Если бедная Пепита, уложив детей, проведя столько часов в молчании, терзаясь своими ужасными мыслями, отваживалась спросить: «Друг мой, ты болен?» — то Валтасар нередко ничего не отвечал; а если и отвечал, то вздрагивал, как будто его внезапно разбудили, и сухо, глухим голосом произносил «нет», тяжело отзывавшееся в измученном сердце жены.

Как ей ни хотелось скрыть от друзей нелепое положение, в котором она очутилась, все же пришлось об этом говорить. Как всегда бывает

в небольших городах, странности Валтасара стали предметом обсуждения почти во всех гостиных, а в некоторых кружках знали и такие подробности, которые были неизвестны г-же Клаас. И вот, решив нарушить молчание, предписываемое чувством приличия, иные из друзей выразили такое сильное беспокойство, что она поспешила оправдать странности своего мужа. Господин Клаас принялся, объясняла она, за большую работу, целиком его поглотившую, но зато ее успех послужит славе его семейства и его отечества.

Честолюбию жителей Дуэ, где более чем в каком-либо другом городе царит любовь к родной стране и желание ее прославить, весьма льстило такое таинственное объяснение и воздействовало на умы благоприятным для Клааса образом. Предположения его жены были до некоторой степени обоснованны. Разного рода рабочие долго что-то делали на чердаке переднего дома, куда Валтасар уходил с самого утра. Все дольше и дольше задерживаясь там, к чему мало-помалу привыкли жена его и слуги, Валтасар стал, наконец, проводить там целые дни. Но неслыханное горе! Только из унизительных для самолюбия жены объяснений приятельниц, удивленных ее неведением, г-жа Клаас узнала, что муж ее беспрестанно покупал в Париже физические инструменты, дорого стоившие химические вещества, книги, машины и, как говорили, разорялся ради поисков философского камня. Ей нужно, мол, подумать о детях, добавляли приятельницы, подумать и о своем собственном будущем; преступно было бы с ее стороны не употребить все свое влияние на то, чтобы отвратить мужа от избранного им ложного пути. Хотя г-жа Клаас, обретя в себе высокомерие знатной дамы, прекратила эти нелепые разговоры, однако, при всем своем внешнем спокойствии, она была охвачена ужасом и решила отказаться от политики полной покорности. Однажды она устроила так, что создалась обстановка, когда жена бывает на равной ноге с мужем, и, набравшись храбрости, отважилась спросить у Валтасара, почему он так переменился и зачем постоянно уединяется. Фламандец нахмурился и ответил:

— Милая, тебе ничего не понять.

Как-то раз Жозефина стала настойчиво домогаться, чтобы он открыл ей тайну, нежно жалуясь, что не разделяет всех мыслей того, с кем разделила жизнь.

— Если это тебя так интересует, — ответил Валтасар, продолжая держать ее у себя на коленях и перебирая ее черные локоны, — скажу тебе, что я вернулся к химии и стал счастливейшим человеком в мире.

Через два года после той зимы, когда Клаас стал химиком, все в его доме изменилось. Потому ли, что общество было обижено всегдашней рассеянностью ученого или боялось его стеснить, потому ли, что от тайных своих тревог г-жа Клаас стала менее любезной, но теперь к ней наведывались только близкие друзья. Валтасар нигде не бывал, он запи-

рался в своей лаборатории на целый день, иногда оставался там и всю ночь и в лоне семейства появлялся только к обеду.

В следующем году он не пожелал провести, как прежде, летние месяцы в деревне, где и жене его не хотелось жить одной. Иногда Валтасар уходил из дому побродить и возвращался только на второй день, предоставляя г-же Клаас всю ночь томиться смертельным беспокойством; она рассылала людей разыскивать его по городу, но все было напрасно, а из-за того, что городские ворота вечером закрывались, как во всех крепостях, она не имела возможности посылать на поиски за городскими стенами. У несчастной женщины не было тогда даже тоскливой надежды, какую дает нам ожидание, и она страдала до утра. Клаас, опоздавший по забывчивости вернуться в город раньше, чем запрут ворота, спокойно являлся утром, не подозревая, какие мучения доставляет он семье своей рассеянностью, а счастье вновь его видеть вызывало у жены кризис не менее опасный, чем ее страхи; она молчала, не смея его расспрашивать, так как на ее вопрос после первой такой отлучки он лишь удивленно ответил:

— Что тут такого? Нельзя и прогуляться?..

Страсть не умеет обманывать. Тревогами г-жи Клаас оправдывались, таким образом, те слухи, которые ей хотелось опровергнуть. В молодости она достаточно узнала, что такое вежливое сострадание света; чтобы вторично не испытывать его на себе, она еще больше замкнулась в своем домашнем кругу, покинутом всеми, даже последними друзьями. Беспорядочность в костюме, которая всегда так роняет достоинство человека из высшего общества, дошла у Валтасара до крайности и служила новым, притом немаловажным, поводом к тревоге для его жены, привыкшей к изысканной, фламандской чистоплотности. Первое время Жозефина, сговорившись с Лемюлькинье, лакеем мужа, приводила в порядок платье Валтасара, который ежедневно обращал его в самое плачевное состояние, — но в конце концов пришлось от этого отказаться. Однажды, когда перепачканную, растерзанную и дырявую одежду мужа она, тайком от него, заменила новой, он в тот же день превратил все в лохмотья. После пятнадцатилетнего счастья эта женщина, ни разу не испытавшая ревности, вдруг обнаружила, что она, по-видимому, не занимает никакого места в сердце, где прежде царила. По происхождению она была испанкой, и чувства испанки возроптали в ней, когда она обнаружила соперницу в науке, похитившей у нее мужа, муки ревности стали снедать ее сердце, обновляя ее любовь. Но как состязаться с наукой? Как побороть ее власть, непрестанную, тираническую и все растущую? Как уничтожить невидимую соперницу? Как может женщина, силы которой ограничены природой, бороться с мыслью, которая неистощима в наслаждениях и всегда нова в своей прелести? Что предпринять против заманчивости идей, которые от преодоления трудностей становятся еще свежее и прекраснее, увлекая человека так далеко от мира, что он все забывает,

вплоть до нежнейших своих привязанностей? Наконец, однажды, несмотря на строгие распоряжения, данные Валтасаром, жена его решила по крайней мере не упускать его из виду, оставаться вместе с ним взаперти на чердаке, куда он удаляется, и вплотную схватиться с противницей, помогая мужу в те долгие часы, которые он расточал своей ужасной повелительнице. Она задумала тайно проскользнуть в таинственную, полную соблазна мастерскую и добиться позволения остаться там навсегда. Итак, она попыталась разделить с Лемюлькинье право входить в лабораторию, но, чтобы не делать его свидетелем угрожающей ей ссоры, выжидала, когда муж отпустит лакея. Со злобным раздражением присматривалась она с некоторых пор, в какие часы уходит и приходит слуга; не знал ли он всего, что она желала узнать, что утаивал от нее муж и о чем она не смела спросить! Лемюлькинье пользуется бо́льшим доверием, чем она, супруга!

И вот, трепещущая, почти счастливая, Жозефина пришла к мужу, но тут она первый раз в жизни узнала, что такое гнев Валтасара; едва она приоткрыла дверь, как он бросился на нее, схватил ее и грубо оттолкнул на лестницу, по которой она чуть не скатилась до самого низа.

— Слава богу, ты жива! — воскликнул Валтасар, поднимая ее.

Госпожа Клаас, вся осыпанная осколками какого-то стеклянного колпака, увидала перед собой бледное, без единой кровинки, испуганное лицо мужа.

— Милая, я запретил тебе приходить сюда, — сказал он, без сил опускаясь рядом с ней на ступеньку. — Только святые спасли тебя сейчас от смерти. По какой счастливой случайности я смотрел на дверь? Мы едва не погибли.

— Я была бы так счастлива, — сказала она.

— Мой опыт пропал, — продолжал Валтасар. — Только тебе могу я простить огорчение, которое мне причинила эта жестокая неудача. Быть может, я разложил бы азот!.. Иди, займись своими делами.

Валтасар опять ушел к себе в лабораторию.

— *Быть может, я разложил бы азот!* — повторила бедная женщина, вернувшись в свою комнату, и залилась слезами.

Эта фраза была для нее невразумительна. Мужчины, привыкшие благодаря своему образованию разбираться в чем угодно, не знают, как для женщины ужасно, когда она не в силах бывает понять мысль любимого человека. Эти небесные создания снисходительнее нас, и, если язык их душ оказывается для нас непонятным, они не дают нам это заметить, они боятся показать превосходство своих чувств и скрывают свои горести с такой же радостью, с какой умалчивают о затаенных своих наслаждениях, но, более нас требовательные в любви, они хотят близости не только сердечной, — они требуют себе и все мысли мужчины. То, что г-жа Клаас ничего не понимала в науке, которой занимался муж, порождало в ее

душе досаду более сильную, чем могла бы пробудить красота соперницы. В борьбе женщины с женщиной та, кто истинно любит, всегда сохраняет одно преимущество — способность любить сильнее, чем соперница; но неудача, испытанная г-жой Клаас, подчеркивала ее беспомощность, унижала в ней все чувства, которые помогают нам жить. Жозефина была невежественна! Это разлучало ее с мужем. Но сильнее всего ее мучило сознание, что Валтасар часто бывал между жизнью и смертью и, находясь поблизости, но так от нее отдалившись, подвергался опасностям, которых она не могла ни разделить, ни понять. Все это было подобием ада — душевной тюрьмой, безысходной и ужасной мукой. Г-же Клаас захотелось по крайней мере понять, чем привлекательна эта наука, и она тайно принялась изучать химию по книгам. Дом стал тогда похож на монастырь.

Через такие степени несчастья прошло семейство Клаасов, прежде чем дойти до состояния, так сказать, гражданской смерти, постигшей его к тому моменту, с которого начинается наша повесть.

Это ужасное положение еще осложнилось. Как все женщины страстной души, г-жа Клаас отличалась неслыханным бескорыстием. Кто истинно любит, тот знает, какой пустяк — деньги по сравнению с чувствами, как не вяжется одно с другим. Однако Жозефина не могла подавить жестокое сомнение, узнав, что муж ее занял под залог имущества триста тысяч франков. Этими закладными документально подтверждались тревожные слухи и предположения, ходившие по городу. Понуждаемая вполне естественным беспокойством, г-жа Клаас должна была, несмотря на всю свою гордость, расспросить нотариуса мужа, отчасти посвятив его в тайну своих огорчений, отчасти позволив ему их угадать, а в довершение всего — выслушать такой унизительный вопрос:

— Как это господин Клаас до сих пор ничего вам не сказал?

К счастью, нотариус Валтасара приходился ему почти родственником, и вот каким образом. Дед Клааса женился на некоей Пьеркен из Антверпена, принадлежащей к той же семье, что и Пьеркены из Дуэ. Со времени этого брака последние, хотя и были чужими Клаасам, считали их родней. Пьеркен, молодой человек двадцати шести лет, только что унаследовавший дело своего отца, был единственным гостем, имевшим доступ в дом Клаасов. Уже несколько месяцев г-жа Клаас жила в таком полном уединении, что нотариусу пришлось подтвердить ей известие о крахе, бывшее достоянием всего города. Он сообщил, что ее муж, по-видимому, задолжал значительные суммы фирме, поставлявшей ему химические материалы. Наведя справки о состоятельности Клааса и о доверии, которым он пользовался, торговый дом принимал все его заказы и без опасений отправлял ему посылки, несмотря на значительные размеры долга. Г-жа Клаас поручила Пьеркену затребовать счета на заказы, выполненные для ее мужа. Через два месяца господа Проте и Шифревиль, фабриканты химических продуктов, прислали итоговый счет, достигавший почти ста тысяч

франков. Г-жа Клаас и Пьеркен изучали приложенную опись с возраставшим изумлением. Если им остались непонятными многие ее пункты из-за терминов, научных или коммерческих, все же они с испугом увидели, что в счет включены партии разного рода металлов и бриллианты, хотя и в малых количествах. Величина долга легко объяснялась разнообразием заказов, предосторожностями, которых требовала доставка некоторых веществ или пересылка дорогостоящих аппаратов, непомерной дороговизной некоторых химических продуктов, добываемых с трудом или же чрезвычайно редких, наконец, стоимостью физических и химических приборов, сделанных по указаниям Клааса. В интересах своего родственника нотариус навел справки относительно Проте и Шифревиля, и доброе имя этих негоциантов не позволяло сомневаться в правильности их расчетов с Клаасом, тем более что они часто даже избавляли его от лишних расходов, осведомляя о результатах, достигнутых парижскими химиками. Г-жа Клаас просила нотариуса не рассказывать местному обществу об этих приобретениях мужа, — иначе его сочли бы безумным; однако Пьеркен ответил, что, не желая наносить ущерб доверию, которым пользовался Клаас, он до последнего момента откладывал составление нотариальных обязательств, в настоящее время неизбежных ввиду значительности сумм, данных его клиентами Клаасу под честное слово. Он открыл своей родственнице размеры бедствия, предупреждая, что если она не найдет способа помешать мужу так безумно растрачивать свое состояние, то через шесть месяцев наследственное имущество будет обременено закладными, превышающими его стоимость... Что-де касается его самого, Пьеркена, то он уже предупреждал Клааса, со всей осторожностью, необходимой в отношении к человеку, столь справедливо уважаемому, — но не достиг ни малейшего успеха: раз навсегда Валтасар ответил ему, что трудится для славы и благосостояния своего семейства.

Итак, уже два года г-жу Клаас терзали сердечные муки, накопляясь одна за другой, так что горести новые отягчались всеми прежними горестями, а теперь к ним присоединился еще страх, отвратительный, непрестанный страх перед грозившим ей будущим. У женщин бывают предчувствия столь верные, что это граничит с чудом. Почему в большинстве случаев женщины скорее боятся, чем надеются, когда дело идет о жизненных вопросах? Почему они верят только в великие идеи будущего, обещанного религией? Почему столь искусно угадывают они имущественные катастрофы или кризисы в наших судьбах? Быть может, чувство, соединяющее их с любимым человеком, дает им возможность удивительно хорошо взвесить его силы, оценить его способности, понять его вкусы, страсти, пороки и добродетели; постоянное изучение причин, возможность наблюдать их день за днем, вероятно, дает женщинам роковой дар предугадывать их последствия во всевозможных положениях. То, что они видят в настоящем, позволяет им судить о будущем с прозорливостью,

естественно объяснимой совершенством их нервной системы, которая позволяет им улавливать малейшие симптомы в области мысли и чувств. Все у них вибрирует в унисон с большими душевными потрясениями. Они предчувствуют, они провидят. И вот, хотя г-жа Клаас была разлучена с мужем уже два года, она предугадывала потерю их состояния. Она правильно оценила неистовство мысли, овладевшее Валтасаром, и его неизменное упорство: если он действительно ищет способ делать золото, то преспокойно бросит в тигель и последний свой кусок хлеба; но чего он ищет? До сих пор материнское чувство и супружеская любовь так сливались в сердце этой женщины, что дети, равно любимые ею и мужем, никогда не вставали между ними. Но порою вдруг она становилась матерью более, чем женою, хотя чаще бывала женою более, чем матерью. И, как ни была она готова пожертвовать своим состоянием и даже детьми ради счастья того человека, который ее избрал, полюбил, обоготворил и для которого она еще и теперь была единственной женщиной в мире, — все же угрызения совести, причиняемые сознанием, что ее материнская любовь недостаточно сильна, повергали ее в мучительные колебания. И вот, как женщина — она страдала за свою любовь, как мать — страдала за своих детей, а как христианка — страдала за всех. Она молчала и сдерживала в душе жестокую бурю. Муж, единственный, кто властен решать участь всей семьи, обязанный отчетом только богу, был вправе по своей воле устраивать их жизнь. Да и могла ли она упрекать Валтасара за то, что он пользуется ее состоянием, если в течение десяти лет брачной жизни он дал столько доказательств своего бескорыстия? Ей ли быть судьею в том, что он задумал? Но совесть, в согласии с чувством и законом, говорила ей, что родители только охраняют состояние детей и не имеют права отнимать у них материальное благополучие. Чтобы уклониться от решения этих важных вопросов, она предпочитала закрывать глаза, подобно людям, отводящим взор от пропасти, на дно которой, как знают они сами, придется им упасть. Уже шесть месяцев муж не давал ей денег на домашние расходы. Она распорядилась тайно продать в Париже богатые бриллиантовые уборы, которые брат подарил ей в день свадьбы, и ввела в доме строжайшую экономию. Она отпустила гувернантку детей и даже кормилицу Жана. Такая роскошь, как собственные экипажи, встарь была неизвестна буржуазии, скромной в своих нравах и гордой, в чувствах, и в доме Клаасов ничто не было приспособлено для этого нынешнего нововведения; Валтасар был принужден устроить конюшню и каретный сарай в чужом доме по другую сторону улицы; его занятия не позволяли ему теперь следить за этой частью хозяйства, по характеру своему требующей мужского глаза; г-жа Клаас отказалась от обременительных расходов на экипаж и прислугу, впрочем, ставших и бесполезными при ее уединенном образе жизни; но, несмотря на убедительность последнего соображения, она не пыталась прикрывать выну-

жденные меры благовидным предлогом. До сих пор ее слова опровергались фактами, поэтому лучшим исходом для нее стало молчание. Перемены в образе жизни Клаасов не нуждались в оправдании: у фламандцев, как и у голландцев, почитается безумием расходовать все свои доходы. Но, с другой стороны, старшей дочери Маргарите исполнялось шестнадцать лет, и Жозефине хотелось устроить ей хорошую партию, ввести ее в свет, как то подобало девушке, бывшей в родстве с Молина, Ван-Остром-Темнинками и семейством Каса-Реаль.

Перед тем самым днем, к которому относится начало нашей повести, все деньги, полученные от продажи бриллиантов, были израсходованы. А в три часа, ведя детей к вечерне, г-жа Клаас встретила Пьеркена, который шел было к ней, и он проводил ее до церкви св. Петра, шепотом рассказывая о ее денежных делах.

— Кузина, — сказал он, — мне так дорога дружба, связывающая меня с вашим семейством, что я считаю своим долгом открыть вам всю опасность создавшегося положения и прошу вас переговорить с мужем. Кто, кроме вас, может удержать его на краю пропасти, к которой вы приближаетесь? Доходов с заложенного имущества не хватает даже для выплаты процентов по взятым взаймы суммам, так что вам теперь от этих доходов не остается ничего. Если вы срубите принадлежащие вам леса, то лишитесь единственного шанса на спасение, который оставался бы вам в будущем. Мой кузен Валтасар в настоящий момент является должником парижской фирмы Проте и Шифревиль на сумму в тридцать тысяч франков. Как вы их заплатите? На что вы будете жить? И что станется с вами, если Клаас будет по-прежнему выписывать реактивы, стеклянные сосуды, вольтовы столбы и прочую дребедень? Все ваше имущество, за исключением дома и движимости, разлетелось газом и углями. Когда третьего дня зашла речь о закладе дома, знаете, каков был ответ Клааса? «О черт!» Вот первые признаки разума, которые он проявил за три года.

Госпожа Клаас горестно пожала руку Пьеркена, подняла глаза к небу и сказала:

— Сохраните все это в тайне.

Несмотря на свою набожность, бедная женщина, потрясенная, уничтоженная ясным смыслом того, что она услышала, не могла молиться; она сидела на стуле меж детей, раскрыв молитвенник, но не перевернула ни странички; она впала в созерцание, такое же всепоглощающее, как размышления ее мужа. Испанское чувство чести, фламандская порядочность звучали в ее душе голосом могучим, как орган. Разорение ее детей совершилось! Между ними и честью их отца не приходилось уже выбирать. Ее ужасала неизбежность близкой борьбы с мужем. Он был так велик в ее глазах, внушал к себе такое уважение, что боязнь вызвать его гнев волновала ее не меньше, чем мысль о величии господа бога. Ведь ей предстояло

отказаться от неизменной покорности перед супругом, которую она дотоле свято соблюдала. Интересы детей принудят ее перечить склонностям человека, обожаемого ею. Не следует ли чаще докучать ему деловыми вопросами, заставляя его покидать высокие сферы науки, где он парит; насильно отвлекать от улыбающегося ему будущего, чтобы погрузить в житейские заботы, самые отвратительные для художников и великих людей? Для нее Валтасар Клаас был гигантом науки, человеком, которого ждет слава; только ради грандиозных замыслов мог он забыть о своей Пепите; а затем он так глубоко разумен, не однажды он так талантливо освещал и разбирал при ней самые разнообразные вопросы, что его обещания прославить и обогатить семью в результате своих трудов представлялись вполне искренними. Мало было назвать огромной любовь его к жене и к детям, она не знала границ. Его чувства не могли угаснуть, они, без сомнения, еще возросли, найдя себе иное выражение. И вот она, столь благородная, столь великодушная и робкая, заставит теперь этого великого человека непрестанно слышать слово «деньги» и звон денег; она откроет перед ним язвы нищеты, постарается, чтобы вопли о бедствии заглушили для него мелодический голос славы! Быть может, тогда Валтасар станет меньше любить ее? Не будь у нее детей, бесстрашно и охотно приняла бы она новую участь, приуготовляемую ей мужем. Женщина, выросшая в богатстве, быстро понимает, какая пустота таится под материальными благами; и когда ее сердце, усталое, но не увядшее, подскажет ей, какое счастье заключено в постоянном подлинном единении чувств, — тогда ее не испугает скромность жизненного обихода, раз он соответствует желаниям человека, бесспорно ее любящего. Существование вне своей личности — вот удивительный источник всех мыслей и радостей такой женщины. Лишиться этого существования — вот что ее страшит. Итак, теперь дети отдаляли Пепиту от ее настоящей жизни так же, как Валтасара отдаляла от Пепиты наука; и вот; вернувшись от вечерни и бросившись в кресло, она отослала детей, строго запретив им шуметь; затем она велела сказать мужу, что просит его прийти; но, несмотря на всю настойчивость старого лакея Лемюлькинье, Валтасар оставался в лаборатории. У г-жи Клаас было, таким образом, время поразмыслить. И она тоже не помнила ни дня, ни часа, предавшись своим думам. Мысль о долге в тридцать тысяч франков и о том, что нечем платить, пробудила все прошлые горести, объединив их с горестями настоящими и будущими. Все это множество расчетов, мыслей и чувствований было ей не по силам, она заплакала. Когда вошел Валтасар, лицо которого больше чем когда-либо поразило ее страшным выражением полной самоуглубленности и отрешенности, когда он ей ничего не ответил, — она сначала была зачарована неподвижностью его тусклого и пустого взгляда, разрушительной силой мыслей, кипевших за его облысевшим лбом. Столь тяжко было это впечатление, что ей захотелось умереть. Но таким беспечным голосом заго-

ворил он о своих научных нуждах, — в тот момент, когда сердце у нее сочилось кровью, — что она вновь обрела смелость: она решила бороться против ужасающей силы, похитившей у нее возлюбленного, у детей — отца, у семьи — богатство, у всех — счастье. Однако она не могла подавить охвативший ее трепет, ибо во всей ее жизни еще не было сцены столь торжественной. Разве этот страшный момент не заключал в зачатке все ее будущее, не был итогом всего ее прошлого?

Теперь все, кто слаб, или по природе робок, или живо чувствует, что для него велики самые малые трудности жизни, или невольно трепещет перед властителем своей судьбы, могут понять, что за мысли тысячами кружились в голове у этой женщины, что за чувства тяжким гнетом ложились на ее сердце, когда муж ее медленно направился к двери, ведущей в сад. Большинству женщин знакомы те тревоги [14] и мучительные колебания, с которыми боролась г-жа Клаас. Так вот, даже и те, чьи сердца бывали взволнованы только необходимостью объявить мужу о каком-нибудь чрезмерном расходе или о неоплаченном счете из модной лавки, — и те поймут, как сильно бьется сердце, когда дело идет обо всей жизни. Красивая женщина могла бы позволить себе броситься к ногам мужа, скорбные позы сослужили бы ей службу, тогда как сознание своих физических недостатков еще усиливало страхи г-жи Клаас. И когда она увидела, что Валтасар намеревается уйти, первым ее движением было броситься к нему; но жестокая мысль подавила ее порыв: ей придется встать во весь рост! Не покажется ли она смешной человеку, который уже не ослеплен любовью и может увидеть все в настоящем свете! Жозефина готова была бы пожертвовать всем — и богатством и детьми, только бы не нанести ущерба своей женской власти. В этот торжественный час она не хотела допустить ни малейшей неосторожности и лишь громко позвала:

— Валтасар!

Он машинально обернулся и кашлянул, но, не обращая внимания на жену, пошел сплюнуть в один из четырехугольных ящиков, стоявших вдоль стен на некотором расстоянии друг от друга, как во всех жилищах Голландии и Бельгии. Человек, ни о ком не думавший, никогда не забывал о плевательницах, — так укоренилась в нем привычка. Что касается бедной Жозефины, которой совершенно непонятна была эта странность, то все сердце в ней ныло при виде постоянной заботы мужа о предметах домашней обстановки, а на этот раз страдания были столь невыносимы, что она вышла из себя и, давая волю всем своим оскорбленным чувствам, нетерпеливо крикнула:

— Я к вам обращаюсь, извольте слушать!

— Что это значит? — ответил Валтасар, быстро повернувшись и метнув на жену взгляд, в котором пробудилась жизнь; он поразил ее подобно сверкнувшей молнии.

— Прости, друг мой, — сказала она бледнея.

Она хотела подняться и протянуть ему руку, но бессильно откинулась на спинку стула.

— Я умираю! — сказала она голосом, прерывавшимся от рыданий.

Тут, при виде ее, с Валтасаром произошла резкая перемена, как это бывает со всеми людьми рассеянными, и он как бы угадал тайну того душевного кризиса, который испытывала жена; он тотчас взял ее на руки, открыл дверь, выходившую в маленькую прихожую, и так быстро взбежал по старой деревянной лестнице, что целое полотнище с треском оторвалось от платья жены, зацепившегося за пасть одного из тех чудовищных зверей, которые служили столбиками перил. Он ударил ногой в дверь из передней в их покои, чтобы отворить ее; но оказалось, что спальня жены заперта.

Тихо положил он Жозефину на кресло, говоря про себя:

— Боже мой, где же ключ?

— Спасибо, друг мой, — ответила г-жа Клаас, открывая глаза, — впервые за долгое время я почувствовала себя возле твоего сердца.

— Господи, — крикнул Клаас, — да где же ключ? Люди идут...

Жозефина знаком указала на ключ, привязанный на ленте у ее пояса. Открыв дверь, Валтасар быстро опустил жену на диван, вышел навстречу перепуганным слугам, поднимавшимся по лестнице, и отослал их, велев скорее накрывать к обеду, а сам поспешно вернулся к жене.

— Что с тобой, жизнь моя? — сказал он, садясь возле нее и целуя ее руку.

— Теперь ничего, — отвечала она, — теперь все прошло. Мне только хотелось бы обладать всемогуществом божьим, чтобы бросить к твоим ногам золото всей земли.

— К чему золото? — спросил он, привлекая жену к себе, и, обняв ее, снова поцеловал в лоб. — Разве не одаряешь ты меня величайшими богатствами, любя меня, как ты любишь, милое, драгоценное создание? — продолжал он.

— Ах, Валтасар, почему ты не рассеешь тревог, постигших всю нашу семью, как ты прогнал своим голосом печаль из моего сердца? Но что бы там ни было, ты все тот же, я это вижу!

— О каких тревогах ты говоришь, милая?

— Мы же разорены, друг мой!

— Разорены? — повторил он.

Он засмеялся, стал ласкать руку жены, держа ее в обеих ладонях, и сказал таким нежным голосом, какого давно уже она не слыхала:

— Но ведь, может быть, уже завтра, ангел мой, в наших руках окажется несметное богатство. Вчера, ища разгадки гораздо более важной тайны, я, кажется, нашел средство кристаллизовать углерод — вещество, из которого состоит алмаз... Дорогая жена, через несколько дней ты простишь мое невнимание к тебе! Кажется, я бываю иногда невнимателен.

Ведь сегодня я обошелся грубо с тобой? Будь снисходительна к человеку, который никогда не переставал думать о тебе, работал только для тебя, для всех нас...

— Полно, полно! — сказала она. — Обо всем этом поговорим нынче вечером, друг мой. Я страдала от безмерного горя, теперь мне больно от безмерной радости.

Она не ожидала, что его лицо опять может быть так оживлено любовью, такой же нежной, как прежде, что голос его зазвучит так же мягко, как бывало, что она вновь обретет все, казавшееся потерянным.

— Нынче вечером. Да, да, мы поговорим. Если я задумаюсь и забуду, напомни мне. Нынче вечером брошу мои исчисления, мои работы, отдамся семейным радостям, наслаждениям сердца, — ведь мне так нужно это, Пепита, я так жажду этого!

— Ты скажешь мне, что ты ищешь, Валтасар?

— Бедное дитя, ведь ты ничего не поймешь.

— Ты думаешь?.. Ах, друг мой, вот уже почти четыре месяца я изучаю химию, в надежде, что буду способна говорить с тобою о ней. Я прочла Фуркруа, Лавуазье, Шапталя, Нолле, Руэлля, Бертоле, Гей-Люссака, Спаланцани, Левенгука, Гальвани, Вольта [15] — словом, все книги, относящиеся к науке, которой ты поклоняешься. Теперь можешь открыть мне свои тайны.

— О, ты ангел! — воскликнул Валтасар, падая к ногам жены и проливая слезы умиления, так что она вся задрожала. — Теперь мы будем во всем понимать друг друга.

— Ах, — воскликнула она, — я бросилась бы в адский огонь, пылающий в твоих печах, чтобы услыхать такие слова из твоих уст, чтобы видеть тебя таким!

Услыхав в передней шаги старшей дочери, она бросилась туда.

— Что ты, Маргарита? — спросила она.

— Маменька, пришел Пьеркен. Если он останется обедать, нужно будет столовое белье, а вы забыли выдать его нынче утром.

Госпожа Клаас вытащила из кармана связку ключей, отдала их дочери и, указывая на шкафы антильского дерева, которые шли вдоль стены передней, сказала ей:

— Возьми из скатертей «Грендорж», направо.

Затем она возвратилась к мужу и с нежной и лукавой улыбкой попросила его:

— Раз дорогой мой Валтасар опять со мною, отдай мне его целиком! Друг мой, пойди к себе и, будь добр, приоденься. За обедом у нас будет Пьеркен. Сними же истрепанное платье. А посмотри, что это за пятна! Ведь это серная кислота или хлоралгидрат, — видишь, как пожелтели дыры по краям? Тебе надо помолодеть. Я переоденусь и тогда пошлю к тебе Лемюлькинье.

Валтасар хотел пройти от жены прямо к себе в комнату, но забыл, что с этой стороны она заперта. Он пошел через переднюю.

— Маргарита, положи белье на кресло и помоги мне одеться, я не хочу звать Марту, — сказала г-жа Клаас дочери.

Валтасар схватил Маргариту, весело повернул ее к себе и сказал:

— Здравствуй, дитя мое, ты прехорошенькая в этом муслиновом платье и с розовым поясом!

Потом он поцеловал ее в лоб и пожал ей ручку.

— Маменька, папа сейчас поцеловал меня, — сказала Маргарита, входя к матери, — он смотрит таким веселым, таким счастливым!

— Дитя мое, твой отец великий человек. Скоро три года, как он работает ради славы и преуспеяния семьи и теперь полагает, что достиг цели своих изысканий. Этот день должен быть для всех нас настоящим праздником...

— Маменька, — ответила Маргарита, — вся прислуга так огорчалась, видя его нахмуренным, что мы не будем одиноки в своей радости... Ах, наденьте другой пояс, посвежее.

— Хорошо, только скорей, мне надо еще поговорить с Пьеркеном. Где он?

— В зале, играет с Жаном.

— А где Габриэль и Фелиси?

— Они в саду, я слышу их голоса.

— Так скорее иди туда и последи, чтобы они не рвали тюльпанов! Твой отец еще не видел тюльпанов в этом году и, может быть, захочет посмотреть на них нынче, когда встанет из-за стола. Скажи Лемюлькинье, пусть отнесет отцу все необходимое, чтобы привести себя в порядок.

Когда Маргарита вышла, г-жа Клаас взглянула на детей через окна, выходящие в сад, и увидала, что они рассматривают насекомое с блестящими зелеными, в золотых пятнышках, крыльями, которое в народе называют «швец».

— Ведите себя хорошо, милые мои, — сказала она, поднимая двигавшуюся в пазах раму, чтоб проветрить комнату.

Потом она тихонько постучалась в дверь к мужу, желая убедиться, что он опять не отвлекся чем-нибудь. Он открыл, и она весело сказала, увидев, что он переодевается:

— Ведь ты ненадолго оставишь меня одну с Пьеркеном? Приходи скорей.

Она спустилась так проворно, что, услыхав ее шаги, посторонний человек и не догадался бы о ее хромоте.

— Когда барин нёс барыню, — сказал лакей, встретившийся ей на лестнице, — платье зацепилось, и добро бы только дрянной лоскут оторвался, — да вот сломали челюсти у этой фигуры, кто ее теперь поправит? Лестницу попортили, перила были такие красивые!

— Ничего, славный мой Мюлькинье, и не думай ее поправлять, это не беда!

«Что такое случилось? — размышлял Лемюлькинье. — Почему это не беда? Уж не отыскал ли барин свой Абсолют?»

— Здравствуйте, Пьеркен, — сказала г-жа Клаас, открывая дверь в залу.

Нотариус подбежал, чтобы подать своей родственнице руку, но Жозефина любила опираться только на руку своего мужа, поэтому она с улыбкой поблагодарила Пьеркена и сказала:

— Вы, вероятно, пришли по поводу тридцати тысяч франков?

— Да, вернувшись домой, я получил уведомление от торгового дома Проте и Шифревиль о том, что они предъявили господину Клаасу к оплате шесть векселей по пяти тысяч франков каждый.

— Но нынче об этом Валтасару не говорите, — предупредила она. — Оставайтесь у нас обедать. Если он случайно спросит вас, зачем вы пришли, — пожалуйста, сошлитесь на какой-нибудь благовидный предлог. Дайте мне письмо, я сама поговорю с ним. Все обстоит прекрасно, — продолжала она, видя, как изумился нотариус. — Через несколько месяцев мой муж, вероятно, расплатится со всеми своими долгами.

Услыхав эту фразу, произнесенную шепотом, нотариус посмотрел на Маргариту, входившую через садовую дверь вместе с Габриэлем и Фелиси, и сказал:

— Ваша дочь никогда еще не была так хороша, как сейчас.

Госпожа Клаас, усевшаяся в кресле с маленьким Жаном на коленях, подняла голову и взглянула на дочь и нотариуса с притворным безразличием.

Пьеркен был среднего роста, ни толст, ни худ, его красивое, но заурядное лицо выражало печаль, — свидетельствовавшую, впрочем, скорее об огорчениях, чем о меланхолии, — и мечтательность, скорее неопределенную, чем насыщенную мыслями; он слыл мизантропом, но был слишком корыстен, слишком жаден, чтобы всерьез ссориться со светом. Взгляд, обычно уходящий куда-то в пространство, безразличное выражение лица, подчеркнутая молчаливость, казалось, свидетельствовали о глубине души, на самом же деле скрывали под собой пустоту и ничтожество нотариуса, занятого исключительно только соблюдением материальных интересов, впрочем, не настолько еще старого, чтобы не испытывать зависти. Его стремление сблизиться с домом Клаасов можно было бы объяснить безграничной преданностью, если бы здесь не служила подоплекой жадность. Он казался щедрым, но прекрасно все рассчитывал. Сам того не сознавая, он в зависимости от обстоятельств держался с Клаасами поразному: бывал, как то свойственно обычно всем дельцам, резок, груб и ворчлив, когда думал, что Клаас разорился; а потом в его манерах начинали сквозить любезность, сговорчивость, почти раболепие, как только

являлось предположение, что работы родственника сулят удачу. То он видел в Маргарите Клаас инфанту, к которой и приблизиться нельзя простому нотариусу, то считал ее бедной девушкой, которая была бы чрезвычайно счастлива его предложением. Он был простодушным провинциалом, истым фламандцем, даже не лишенным чувства преданности и доброты; но его наивный эгоизм не давал этим достоинствам развиться в полную меру, а некоторые смешные черты портили его. Г-жа Клаас вдруг вспомнила, каким сухим тоном разговаривал с ней нотариус на паперти св. Петра, и заметила, как от одной ее фразы изменилось все его обращение; она догадалась о его замыслах и внимательно взглядывала на дочь, желая прочесть в ее душе, что та думает о кузене, — однако, кроме полнейшего безразличия, ничего в ней не приметила. Некоторое время разговор вращался около городских новостей, потом хозяин дома спустился из своей спальни, откуда, к невыразимому удовольствию жены, уже несколько минут как доносился скрип сапог по паркету. В этом скрипе угадывалась походка, какая бывает у человека молодого и подвижного, она возвещала о полном преображении, и г-жа Клаас так нетерпеливо ожидала прихода мужа, что едва уняла дрожь, когда он стал спускаться с лестницы. Валтасар вскоре появился в модном тогда костюме. На нем были до блеска начищенные сапоги, с отворотами, позволявшими видеть верхнюю часть белых шелковых чулок, панталоны из синего казимира с золотыми пуговицами, белый, в цветочках, жилет и синий фрак. Он побрился, причесал волосы, надушил голову, обстриг ногти и вымыл руки с такой тщательностью, что для тех, кто недавно его видел, показался неузнаваемым. Дети его, жена и нотариус вместо полубезумного старика увидали сорокалетнего мужчину, на лице у которого была написана обаятельная приветливость и любезность. Худоба и впалые щеки, изобличавшие усталость и страдания, придавали ему, казалось, даже особую приятность.

— Здравствуйте, Пьеркен, — сказал Валтасар Клаас.

Вновь став отцом и мужем, химик взял младшего своего сына с колен жены и стал его подкидывать в воздух.

— Посмотрите на этого малыша, — сказал он нотариусу. — При виде этого прелестного существа не возникает ли у вас желание жениться? Поверьте, мой милый, семейные радости могут во всем утешить. Гоп-ля! Гоп-ля! — приговаривал он, высоко поднимая Жана и опуская его на землю. — Гоп-ля!

Ребенок заливался смехом, то взлетая к потолку, то опускаясь до пола. Мать отвернулась, чтобы не выдать душевного волнения, вызванного в ней этой игрою, казалось бы, такой простой, но представлявшей для нее целый домашний переворот.

— Посмотрим, каков ты, — сказал Валтасар, ставя сына на паркет и

бросаясь в кресло. Ребенок подбежал к отцу, его привлекал блеск золотых пуговиц, украшавших панталоны над отворотами сапог.

— Ах ты, малыш! — сказал отец, обнимая его. — Настоящий Клаас, ты крепко стоишь на ногах! Ну, Габриэль, как поживает дядюшка Морильон? — сказал он старшему сыну, трепля его за ухо. — Доблестно одолеваешь переводы с латинского и на латинский? Собаку съел в математике?

Потом Валтасар поднялся, подошел к Пьеркену и сказал с присущей ему приветливой вежливостью:

— Дорогой мой, у вас, вероятно, есть ко мне дела? — Затем взял его под руку и увлек в сад, добавив: — Взгляните на мои тюльпаны...

Госпожа Клаас проводила мужа глазами и не могла сдержать радости, видя, что он опять молод и приветлив, что он опять стал самим собою; она поднялась с кресла, обняла дочь за талию и, целуя ее, сказала:

— Милая Маргарита, дитя мое дорогое, сегодня я люблю тебя еще больше, чем всегда.

— Давно я не видала, чтобы отец был так мил, — заметила дочь.

Лемюлькинье доложил, что обед подан. Чтобы не идти под руку с Пьеркеном, г-жа Клаас взяла сама руку Валтасара, и все семейство перешло в столовую.

Эта комната, где на потолке выступали обнаженные балки, правда, украшенные росписью, каждый год промывавшиеся и прочищавшиеся, была украшена высокими дубовыми поставцами, где виднелись любопытнейшие экземпляры посуды, переходившей по наследству. Стены были обиты лиловой кожей, по которой золотом были вытиснены охотничьи сцены. Над поставцами там и сям блестели искусно расположенные перья необыкновенных птиц и редкие раковины. От начала XVI века сохранились здесь кресла прямоугольной формы, с витыми столбиками и небольшой спинкой, обитые гобеленовой тканью и отделанные бахромою, кресла, столь распространенные в старину, что Рафаэль изобразил одно из них на картине, именуемой «Мадонна в кресле». Дерево почернело, но золоченые гвоздики сияли точно новые, заботливо подновляемая обивка радовала глаз своим красным цветом. Вся Фландрия оживала здесь вместе с нововведениями, пришедшими некогда из Испании. На столе графины и бутылки отличались тем почтенным видом, какой придает им старинная пузатая форма. Бокалы были именно те бокалы давних времен, высокие, на ножках, какие можно видеть на всех картинах голландской или фламандской школы. Фаянсовая посуда, украшенная цветными фигурами в манере Бернара де Палисси [16], вышла из английского завода Веджвуда. Массивные серебряные приборы, граненые и с выпуклым орнаментом, настоящее фамильное серебро, состоящее из предметов разнообразных на вид, разной формы и чекана, напоминали о начале благосостояния Клаасов и о постепенном росте их богат-

ства. Салфетки были бахромчатые, на испанский манер. Что касается столового белья, то всякий поймет — его великолепие было для Клаасов вопросом чести. Это убранство стола, это серебро предназначались для повседневного употребления. В переднем доме, где давались праздники, была особо роскошная утварь, и то, что все ее чудеса предназначались лишь для торжественных дней, сообщало ей печать величия, исчезающую при ежедневном употреблении, когда вещи, так сказать, роняют свое достоинство. В заднем доме все носило отпечаток патриархального простодушия. Наконец, прелестная подробность: в саду по стене дома, под самыми окнами, тянулась виноградная лоза, своими отростками окаймлявшая окна со всех сторон.

— Вы остаетесь верны традициям, — сказал Пьеркен, получая тарелку тимьянового супа, в который фламандские и голландские поварихи кладут шарики, скатанные из мяса, и ломтики поджаренного хлеба, — вот воскресный суп, какой бывал в обычае у наших отцов. Только в вашем доме да у моего дяди Дэраке и подается этот традиционный нидерландский суп... Ах, виноват, старик Саварон де Саварюс [17] с гордостью угощает им у себя в Турнэ, но в остальных местах старая Фландрия исчезает. Теперь мебель делается в античном стиле, только и видишь, что каски, щиты, копья и ликторские фасции. Всякий перестраивает свой дом, продает старую мебель, переплавляет серебро или выменивает на севрский фарфор, который не стоит ни старого саксонского, ни китайского. О, что до меня, то я фламандец душою. Сердце обливается кровью, когда вижу, что медники покупают по цене дерева или железного лома нашу прекрасную мебель, инкрустированную медью или оловом. Мне кажется, происходят резкие перемены в быте. Все, вплоть до искусства, решительно ухудшается. Раз приходится торопиться, ничто не получает добросовестной отделки. Во время моей последней поездки в Париж меня сводили посмотреть картины, выставленные в Лувре. Честное слово, только для ширм годятся все эти холсты, без воздуха, без глубины. Художники боятся колорита. И они-то хотят, я слыхал, низвергнуть нашу старую школу... Ай-ай!..

— Старые наши художники, — ответил Валтасар, — изучали различные сочетания и устойчивость красок, подвергая их действию солнца и дождя. Но вы правы, материальные средства искусства теперь культивируются меньше, чем когда бы то ни было.

Госпожа Клаас не слушала разговора. Как только нотариус сказал, что фарфоровые сервизы в моде, у нее появилась блестящая мысль продать массивное серебро, полученное в наследство после брата, — она надеялась таким образом расквитаться с тридцатитысячным долгом мужа.

— Ага! — говорил Валтасар нотариусу, когда г-жа Клаас опять стала прислушиваться к разговору. — О моих работах поговаривают в Дуэ?

— Да, — ответил Пьеркен, — все недоумевают, на что вы тратите

столько денег. Вчера я слыхал, как господин старший председатель высказывал сожаление, что такой человек, как вы, ищет философский камень. Тогда я позволил себе заметить, что вы слишком образованны, чтобы упрямо добиваться неосуществимой цели, что вы слишком христианин, чтобы вступать в борьбу с самим богом, и, как все Клаасы, слишком расчетливы, чтобы бросать деньги на какую-то ерунду. Однако, признаться, я разделял общее сожаление по поводу того, что вы удаляетесь от общества. И в самом деле, вас точно нет в городе. Право, сударыня, вам было бы приятно, если бы вы услыхали похвалы, которые каждый спешил воздать вам и господину Клаасу.

— Вы показали себя добрым родственником, опровергая обвинения, скверные уже тем, что делают меня смешным, — ответил Валтасар. — А, так в Дуэ считают, что я разорен! Ну, так вот, дорогой Пьеркен, через два месяца у нас с госпожою Клаас годовщина свадьбы, и я задам такой праздник, что своим великолепием он вернет мне почтение, какое дорогие мои соотечественники питают к талерам.

Госпожу Клаас бросило в краску. Уже два года как не вспоминалось о годовщине свадьбы. Подобно тому, как у сумасшедшего бывают минуты просветления, когда их способности приобретают необыкновенный блеск, Валтасар никогда еще не проявлял такой чуткой нежности. Он был полон внимания к детям, и речи его пленяли любезностью, умом, тонкостью замечаний. Проявление отеческих чувств, так долго не обнаруживавших себя, было лучшим праздником для жены, к которой он обращал слова и взгляд, вновь выражавшие неизменную глубокую привязанность, что идет от сердца к сердцу и доказывает чудесную общность душевной жизни.

Старый Лемюлькинье, казалось, помолодел, он входил и уходил с необычной живостью, вызванной осуществлением его тайных надежд. Столь внезапная перемена в обращении хозяина была для него еще более знаменательна, чем для г-жи Клаас. Там, где семейство видело счастье, слуга видел богатство. Помогая Валтасару в его работах, он заразился его безумием. Потому ли, что он уловил смысл его исканий из слов, вырывавшихся у химика, когда цель ускользала из рук, потому ли, что врожденная склонность человека к подражанию помогла ему усвоить идеи того, с кем он дышал одним и тем же воздухом, — Лемюлькинье проникся к своему господину суеверным чувством, в котором к страху и восхищению примешивался и эгоизм. Лаборатория стала для него тем же, чем бывает для простого народа лотерейное бюро, — организованною надеждой. Каждый вечер он ложился с одной и той же мыслью: «Завтра, быть может, мы будем купаться в золоте». И наутро он просыпался с верою, такой же живой, как накануне. Его имя указывало на вполне фламандское происхождение. Когда-то простолюдины именовались просто по кличкам, произошедшим от их профессии или места рождения,

от их физических особенностей или душевных качеств. Прозвище становилось фамилией семьи, которой они обзаводились, выйдя на волю. Во Фландрии торговца льняными нитками называли «лемюлькинье»; такой, вероятно, и была профессия того предка, который, выйдя из крепостного состояния, стал горожанином, что впоследствии не помешало внуку торговца нитками из-за каких-то неудач вернуться к крепостному состоянию, с той только разницей, что он получал жалованье. История Фландрии, ее пряжи и ее торговли вкратце заключалась, таким образом, в этом старом слуге, которого ради благозвучия часто звали просто «Мюлькинье». Его характер и внешность были не лишены оригинальности. Широкое и длинное лицо, имевшее форму треугольника, испещряли следы оспы, которая, оставив на нем множество белых и блестящих рубцов, придала ему фантастический вид. Худой и высокий, он выступал с важным и таинственным видом. Глазки желтоватого цвета, как и его гладкий парик, никогда прямо не смотрели. Таким образом, и внешность его вполне соответствовала вызываемому им чувству любопытства. Выполняемые им обязанности препаратора, посвященного в тайны своего господина, о работах которого он упорно молчал, придавали ему отпечаток чего-то колдовского. Когда он проходил по Парижской улице, обыватели провожали его любопытным и боязливым взглядом, ибо ответы, которыми он иногда удостаивал их, были похожи на изречения Сивиллы и таили в себе намеки на сокровища. Гордый сознанием, что хозяин без него не может обойтись, он командовал другими слугами, был довольно придирчив и, пользуясь своей властью, добивался разного рода льгот, делавших его почти что хозяином в доме. В противоположность всем фламандским слугам, которые чрезвычайно привязаны к семье своих хозяев, он любил только Валтасара. Какая бы печаль ни удручала г-жу Клаас, какое бы приятное событие ни происходило в доме, Лемюлькинье ел хлеб с маслом и пил пиво, сохраняя обычную свою флегму.

После обеда г-жа Клаас предложила пить кофе перед клумбой тюльпанов, расположенной посредине сада. Глиняные горшки с тюльпанами, названия которых были выбиты на шиферных дощечках, врыты были в землю таким образом, что составляли пирамиду; на вершине ее росла разновидность тюльпана «драконова пасть», которая имелась только у Валтасара. Этот цветок, носивший название tulipa Claesiana *, соединял в себе семь цветов, и его длинные вырезные лепестки казались позолоченными по краям. Отец Валтасара, не раз отказывавшийся продать тюльпан даже за десять тысяч флоринов, принимал такие меры предосторожности против похищения хотя бы одного из его семян, что держал цветок в зале, любуясь им нередко целыми днями. Стебель у тюльпана был высокий, совершенно прямой, крепкий, восхитительного зеленого

* Тюльпан Клааса (*лат.*).

цвета; пропорции растения соответствовали чашечке, отличавшейся той яркой чистотой красок, которая придавала когда-то такую большую ценность этим пышным цветам.

— Да здесь тюльпанов на целых тридцать — сорок тысяч франков, — сказал нотариус, поглядывая то на кузину, то на клумбу, отливавшую тысячей красок.

Цветы, похожие в лучах заходящего солнца на драгоценные каменья, так восхищали г-жу Клаас, что она не уловила смысл этого замечания, отзывавшего нотариальной конторой.

— К чему все это? — продолжал нотариус, обращаясь к Валтасару. — Вам бы их продать.

— Ба! Разве я нуждаюсь в деньгах! — ответил Клаас с пренебрежением, как человек, для которого сорок тысяч франков сущий пустяк.

На минуту все умолкли, только дети кричали:

— Посмотри же, мама, на этот тюльпан!

— О! Вот красивый!

— А тот как называется?

— Что за бездна, в которой теряется ум человеческий! — воскликнул Валтасар, в отчаянии заламывая руки. — Соединение кислорода и водорода в различных соотношениях порождает в той же самой среде и из того же самого начала эти краски, каждая из которых свидетельствует об особом результате соединения.

Жена вполне понимала термины, употребляемые Клаасом, но он говорил так быстро, что она не успела уразуметь вполне; Валтасар вспомнил, что она изучала его любимую науку, и сказал, делая ей таинственный знак:

— Если бы ты и понимала мои слова, ты не могла бы схватить их смысл!

И он, казалось, снова погрузился в свои обычные размышления.

— Да, вероятно, — сказал Пьеркен, беря чашку кофе из рук Маргариты. — Гони природу прочь, она прискачет снова! — добавил он шепотом, обращаясь к г-же Клаас. — Будьте добры, переговорите с ним вы, сам дьявол не вытащит его теперь из этой созерцательности. Тут уж до завтра ничего не поделаешь.

Он простился к Клаасом, притворившимся, что он ничего не слышит, поцеловал маленького Жана, которого держала на руках мать, и, сделав глубокий поклон, удалился. Когда входная дверь за ним захлопнулась, Валтасар взял жену за талию и, чтобы рассеять в ней тревогу по поводу его напускной задумчивости, сказал ей на ухо:

— Я знал, как его спровадить.

Госпожа Клаас повернула голову к мужу, не стыдясь слез, выступивших у нее на глазах: так сладостны были эти слезы! Потом она прильнула лбом к плечу Валтасара и спустила Жана с колен.

— Вернемся в залу, — сказала она, помолчав.

Весь вечер Валтасар был безумно весел; он придумывал всяческие игры для детей и сам так разыгрался, что не заметил, как два-три раза отлучалась жена. В половине десятого, когда Жана уже уложили, Маргарита помогла своей сестре Фелиси раздеться и вернулась в залу, но увидела, что отец и мать заняты беседой; мать сидела в большом кресле, отец держал ее за руку. Боясь помешать родителям, она собиралась уже уйти, ничего им не сказав, но г-жа Клаас заметила ее и позвала:

— Поди сюда, Маргарита, поди, милое мое дитя. — Потом она привлекла ее к себе и, с глубокой нежностью поцеловав в лоб, добавила: — Книгу возьми с собою в комнату и ложись пораньше.

— Спокойной ночи, дорогая, — сказал Валтасар.

Маргарита поцеловала отца и ушла. Клаас с женою остались одни, они некоторое время смотрели, как угасают в саду последние отблески заката на темном, уже неясном узоре листвы. Когда почти совсем стемнело, Валтасар взволнованно сказал жене:

— Пойдем наверх.

Еще задолго до того, как в английских нравах укрепилось отношение к спальне жены, как к месту священному, у фламандцев эта комната была недоступна посторонним. Хранительницы семейного уюта не чванились в этой стране своей добродетелью, но усвоенная с детства привычка и домашние суеверия превращали спальню в прелестное святилище, где воздух был напоен чувствами нежными, где простота соединялась со всем, что есть приятного и священного в совместной жизни. При тех особых условиях, в которых очутилась г-жа Клаас, всякая женщина пожелала бы окружить себя самыми изящными вещами; но она это сделала с особенно изысканным вкусом, зная, как вся обстановка влияет на чувства. Что для хорошенькой женщины было бы роскошью, то для нее становилось необходимостью. Она поняла важность слов: «Красивой женщиной можно себя сделать», — того изречения, которым руководилась во всем своем обиходе первая жена Наполеона, часто впадая при этом в фальшь, тогда как г-жа Клаас всегда была естественна и искренна. Валтасар хорошо знал спальню своей жены, но до такой степени забыл о бытовой стороне жизни, что, входя, он ощутил сладостную дрожь, точно видел все в первый раз. Праздничная радость торжествующей женщины сияла роскошными красками тюльпанов, подымавшихся из длинных горлышек больших и искусно расставленных ваз китайского фарфора, изливаясь потоками света, эффекты которого можно было сравнить только с самыми радостными звуками фанфар. Свечи сообщали гармонический блеск шелковым, жемчужного цвета, тканям, однотонность которых оживлялась отблесками золота, скромно украшавшего некоторые предметы, и различными оттенками цветов, похожих на драгоценные каменья. Все это убранство внушено было тайною мыслью о нем, только о нем! .. Более

красноречиво Жозефина не могла бы сказать Валтасару, что он был источником всех ее радостей и горестей. Вид этой комнаты погружал душу в чудесное состояние и изгонял все печальные мысли, оставляя в ней только чувство ровного и чистого счастья. От ткани обоев, купленной в Китае, шел сладкий запах, который пронизывал все тело, но не был навязчив. Наконец, тщательно задернутые занавески выдавали желание уединиться, ревнивое намерение сберечь здесь малейшие звуки голоса и держать здесь в плену взоры вновь завоеванного супруга. Гладко-гладко причесав свои прекрасные черные волосы, падавшие по сторонам лба, как иссиня-черные крылья, закутавшись до самой шеи в пеньюар, украшенный длинной пелериной с нежной пеной кружев, г-жа Клаас пошла задернуть ковровую портьеру, которая не пропускала извне ни звука. Дойдя до двери, она послала мужу, сидевшему у камина, веселую улыбку, которой умеет передать неотразимую прелесть надежды умная женщина, полная такой душевной красоты, что и лицо у нее порою становится прекрасным. Наибольшее очарование женщины состоит в постоянном призыве к великодушию мужчины, в таком милом признании своей слабости, чем она вызывает в нем гордость и пробуждает великодушнейшие чувства. Разве признание в слабости не несет в себе магических обольщений? Когда кольца портьеры с глухим шумом скользнули по деревянному пруту, г-жа Клаас обернулась к мужу и, точно желая скрыть в эту минуту свои физические недостатки, оперлась рукой на стул, чтобы подойти грациозно. То была просьба о помощи. Погруженный тогда в созерцание ее лица, оливковая смуглость которого выступала на сером фоне, привлекая и радуя взгляд, Валтасар встал, взял жену на руки и отнес ее на диван. Этого она и хотела.

— Ты обещал посвятить меня в тайну своих исканий, — сказала она, взяв его руку и удерживая ее в электризующих своих руках. — Согласись, друг мой, я достойна знать все это, так как имела мужество изучить науку, осужденную церковью, чтобы быть в состоянии понять тебя. Я любопытна, ничего не скрывай от меня. Расскажи мне, что произошло с тобой в то утро, когда ты встал озабоченный, хотя накануне я оставила тебя таким счастливым.

— Оказывается, ты так кокетливо оделась, чтобы беседовать о химии?

— Друг мой, выслушать твою исповедь, чтобы еще глубже заглянуть тебе в душу, — разве это для меня не высшее наслаждение? Разве это не такое согласие душевное, которое заключает в себе и порождает все блаженство жизни? Твоя любовь возвращена мне теперь целиком, во всей своей чистоте. Я хочу знать, какая идея была настолько могуча, чтобы лишить меня твоей любви на такой долгий срок. Да, больше, чем ко всем женщинам мира, я ревную тебя к мысли. Любовь огромна, но не беспредельна, тогда как наука ведет в безграничные глубины, и я не

увижу твоих одиноких странствований по ним. Мне ненавистно все, что встает между нами. Если бы ты добился славы, к которой стремишься, я была бы несчастна: ведь она принесла бы тебе столько радости! Только я, сударь, должна быть источником ваших наслаждений.

— Нет, ангел мой, не идея направила меня на этот прекрасный путь, а человек.

— Человек?! — воскликнула она в ужасе.

— Помнишь, Пепита, польского офицера, которому мы дали у себя приют в тысяча восемьсот девятом году?

— Помню ли! — сказала она. — Как часто досадовала я на то, что память снова и снова вызывает передо мной эти глаза, пылавшие, как языки пламени, впадины над бровями, черными, как адские угли, этот большой, совсем голый череп, торчащие кверху усы, угловатое худое лицо! .. А его походка, пугающая своим спокойствием! .. Если бы нашлось место в гостиницах, конечно, он здесь не ночевал бы...

— Польского дворянина звали Адам Вежховня [18], — продолжал Валтасар. — Когда вечером ты оставила нас одних в зале, мы случайно заговорили о химии. Нищета оторвала его от занятий этой наукой, он стал солдатом. Мы признали друг в друге посвященных, кажется, по поводу стакана сахарной воды. Когда я приказал Мюлькинье принести колотого сахару, капитан изумленно посмотрел на меня.

«Вы изучали химию?» — спросил он меня. «У Лавуазье», — ответил я. И из груди его вырвался вздох, такой вздох, какой обнаруживает в человеке целый ад, таящийся в мыслях или заключенный в сердце, — словом, это было нечто пылкое, сосредоточенное, невыразимое словом. Он не договорил, он передал свою мысль взглядом, оледенившим меня. Наступило молчание, а затем он рассказал, что после того, как Польша была обречена на гибель, он нашел себе убежище в Швеции. Там он старался утешиться, занимаясь химией, к которой всегда чувствовал непреодолимое влечение.

«Ну вот, я вижу, — добавил он, — вы узнали, как и я, что аравийская камедь, сахар и крахмал дают в порошке абсолютно тождественную субстанцию и качественно один и тот же результат при анализе».

Опять наступила пауза, а затем, в упор поглядев на меня, он доверительно стал нашептывать мне торжественные слова, от которых теперь в памяти у меня остался только общий смысл, но так властно звучал его голос, такой пыл чувствовался в интонациях, такая сила в жестах, что все у меня внутри перевернулось и каждое слово было для моего рассудка, как удар кузнечного молота. Вот вкратце его рассуждения, в которых мне чудился тот пылающий уголь, что бог вложил в уста Исайи, ибо благодаря работе у Лавуазье я мог оценить все их значение.

«Однородность этих трех субстанций, по видимости столь различных, — сказал он, — привела меня к мысли, что все вещества в природе

должны иметь одно и то же начало. Труды современной химии доказали истинность этого закона в наиболее важной части явлений природы. Химия делит все существующее на две различные области: на природу органическую и природу неорганическую. Охватывая все растительные и животные существа, в которых обнаруживается более или менее совершенная организация, или, точнее, большая или меньшая подвижность, определяющая большую или меньшую чувствительность, — органическая природа есть, конечно, важнейшая часть нашего мира. И вот, анализ свел все продукты этой природы к четырем простым веществам, из которых три — газы: азот, водород и кислород, — четвертое же — тело твердое, но не металл, а углерод. Напротив, неорганическая природа, столь мало разнообразная, лишенная движения и чувства, которой можно отказать и в способности к росту, так легкомысленно приписанной ей Линнеем, насчитывает пятьдесят три простых вещества, различные комбинации которых образуют все ее создания. Правдоподобно ли, что средства более многочисленны там, где результаты меньше? И вот, мнение моего старого учителя таково, что эти пятьдесят три вещества имеют общее начало, некогда видоизменявшееся благодаря какой-то ныне угасшей силе, которую гений человеческий должен оживить. Итак, предположите на мгновение, что деятельность этой силы вновь пробуждена, — тогда у нас возникла бы единая химия [19]. Природа органическая и неорганическая покоилась бы, вероятно, на четырех началах, а если нам удалось бы разложить азот, который мы должны рассматривать как начало отрицательное, то их будет только три. И вот мы уже близки к великой «троичности» [20] древних мудрецов и средневековых алхимиков, над которыми напрасно смеемся. Современная химия здесь остановилась. Это много и мало. Много — потому, что химия привыкла не отступать ни перед какой трудностью. Мало — в сравнении с тем, что остается сделать. Этой прекрасной науке хорошую услугу оказал случай. Не представлялся ли алмаз, эта слеза кристаллизовавшегося чистого углерода, последней из субстанций, какие возможно создать? Старые алхимики, считавшие золото разложимым, а следовательно, воссоздаваемым, отступали перед мыслью делать алмазы; однако мы открыли природу алмаза и закон, лежащий в основе его состава. Я же, — сказал он, — пошел дальше! Опыт мне показал, что таинственную троичность, которой интересуются с незапамятных времен, нельзя найти при нынешних анализах, не подчиненных единой цели. Прежде всего обратимся к одному из опытов. Посейте семена кресс-салата (ведь следует взять одну из субстанций органической природы), — посейте их в серный цвет (надо, равным образом, взять простое тело). Поливайте семена дистиллированной водой, чтобы не дать проникнуть в продукты произрастания ни одному неизвестному элементу! Семена прорастают, ростки появляются в среде известной, питаясь только элементами, известными из анализа. Срежьте в разных местах стебли растения в количе-

стве, достаточном для получения нескольких драхм золы, чтобы производить опыт над известной массой; и что же? — когда вы сожжете стебли, то при анализе золы обнаружите кремневую кислоту, алюминий, фосфорнокислый и углекислый кальций, углекислый магний, сернокислый и углекислый калий и окись железа, как если бы кресс рос на обычной почве, где-нибудь на берегу реки. А ведь эти субстанции не существуют ни в сере, которая является простым телом и служила почвой для растения, ни в воде, употреблявшейся для орошения и по составу своему известной; но так как в семени их тоже нет[21], то мы не можем объяснить присутствие их в растении иначе, как допуская существование элемента, общего веществам, содержащимся в кресс-салате, и веществам, служившим ему средой. Таким образом, воздух, дистиллированная вода, сера и субстанции, обнаруженные анализом в крессе, то есть поташ, известь, магнезия, алюминий и т. д., вероятно, содержали в себе общее начало, переходящее из одного вещества в другое в условиях атмосферы, насыщенной солнечными лучами[22]. Из этого безупречно убедительного опыта[23], — воскликнул он, — я вывел существование *Абсолюта!* Отчетливое и ясное решение задачи об Абсолюте — в субстанции, общей всем веществам, видоизменяемой единою силой и могущей, на мой взгляд, быть *искомой*. Там вы встретите таинственную троичность, перед которою во все времена человечество склоняло колена: *первичная материя, средство, результат*. Вы найдете это грозное число *три* во всех человеческих делах, оно главенствует в религиях, науках и законах. На этом, — сказал он мне, — труды мои остановились из-за войны и бедности... Вы ученик Лавуазье, вы богаты, распоряжаетесь своим временем, я могу поделиться с вами своими предположениями. Вот какова цель, к которой мои личные опыты уже приблизились. *Первичная материя* должна быть началом, общим трем газам и углероду. *Средство* должно быть началом, общим электричеству отрицательному и электричеству положительному. Старайтесь открыть доказательства, которые обоснуют эти две истины, и вы будете знать высшую причину всех явлений природы. О! для того, кто носит здесь, — сказал он, ударяя себя по лбу, — последнее слово творения, предчувствуя Абсолют, разве может считаться жизнью участие в движении людских скопищ, которые в установленный час бросаются друг на друга, не зная, что они делают? Моя нынешняя жизнь представляет собою нечто совершенно обратное сновидению. Мое тело ходит взад и вперед, действует, находится среди огня, пушек, людей, пересекает всю Европу по воле власти, которой я подчиняюсь, презирая ее. Но моя душа чужда этим действиям, она остается недвижимой, погруженной в идею, бесчувственной ко всему из-за этой идеи, из-за поисков Абсолюта, — того начала, благодаря которому из совершенно подобных зерен, помещенных в одну и ту же среду, одни дают цветы белые, другие — желтые! То же самое применимо к шелковичным червям: они питаются одинаковыми листьями и

в строении своем не имеют явных различий, однако одни из них выделяют шелк желтый, другие — шелк белый; применимо это, наконец, и к самим людям, у которых часто бывают дети, совершенно непохожие ни на мать, ни на отца — притом отца несомненного. Логический вывод из этого факта не содержит ли в себе основу всех явлений природы? Да и нашим представлениям о боге не соответствует ли более всего вера в то, что он все создал средством простейшим? В традиционном преклонении пифагорейцев перед числом *один*, откуда выходят все числа и которое представляет собою единство материи, перед числом *два*, первым соединением и прообразом всех возможных соединений, перед числом *три*, которое во все времена было знаком бога, то есть материи, силы, явления, — не резюмировалось ли смутное постижение Абсолюта? Недаром у Шталя, Бехера, Парацельса, Агриппы[24] — всех великих искателей оккультных причин — был пароль «Трис-мегист», что означает: «великая троичность». Невежды, привыкшие осуждать алхимию, то есть трансцендентную химию, не знают, конечно, что нашими нынешними работами оправдываются страстные поиски, которым предавались эти великие люди! Открыв Абсолют, я принялся бы за движение. Ах! Пока я кормлюсь порохом и посылаю солдат на бессмысленную смерть, мой старый учитель накапливает открытие за открытием, он летит к Абсолюту! А я умру, как собака, где-нибудь возле батареи!..»

Когда этот несчастный великий человек немного успокоился, он так трогательно, по-братски сказал:

«Если у меня возникнет идея нужного опыта, я перед смертью завещаю ее вам».

— Ах, Пепита, — сказал Валтасар, сжимая руку жене, — слезы бешенства текли по его впалым щекам, когда он бросил в мою душу огонь этих мыслей, которые несмело нащупывал уже Лавуазье, не отваживаясь, впрочем, вполне им предаться...

— Как! — воскликнула г-жа Клаас, нетерпеливо прерывая мужа, — этот человек, проведя всего одну ночь под нашей кровлей, мог похитить у нас твою любовь, мог единой фразой, единым словом уничтожить счастье всей семьи? Милый Валтасар! Да осенил ли он себя крестным знамением? Да разглядел ли ты его как следует? Только у искусителя могут быть такие желтые глаза, мечущие Прометеев огонь. Да, только нечистый дух мог оторвать тебя от меня. С того дня ты перестал быть отцом, мужем, главой семейства...

— Вот оно что! — сказал Валтасар, вставая посреди комнаты и бросая на жену пронизывающий взгляд. — Ты порицаешь мужа за то, что он поднялся над другими людьми, чтобы бросить к твоим ногам божественную багряницу славы, как малую жертву сокровищам твоего сердца! Значит, ты не знаешь, что я сделал за последние три года? Я ступал гигантскими шагами, Пепита, — сказал он, одушевляясь.

Жена увидела, что огонь гения сверкал теперь на его лице ярче прежнего огня любви, и она заплакала, слушая Валтасара.

— Я соединил хлор и азот, я разложил некоторые тела, считавшиеся прежде простыми, я открыл новые металлы. Кстати, — продолжал он, увидав, что жена плачет, — я ведь разложил слезы на составные части. Слезы содержат немного известковой фосфорнокислой соли, хлористый натр, слизь и воду.

Он продолжал говорить, не замечая ужасной конвульсии, исказившей лицо Жозефины; он воссел на крылатого коня — Науку, которая уносила его далеко от мира материального.

— Этот анализ, милая моя, одно из лучших доказательств системы Абсолюта. Всякая жизнь предполагает сгорание. От степени активности очага зависит большая или меньшая длительность жизни. Так, разрушение минерала бесконечно замедляется, ибо сгорание в нем потенциально, скрыто и неощутимо. Так, растения, непрерывно обновляясь благодаря некоему сочетанию, следствием которого является влажность, живут неограниченное время, и существуют растения — современники последнего катаклизма. Но когда природа, усовершенствовав систему органов, с неизвестными нам целями вкладывает в нее ощущение, инстинкт или разум, составляющие три явственные ступени органического мира, в подобных случаях каждый из этих трех типов организмов требует сгорания, активность которого прямо пропорциональна достигнутому результату. Человек, представляющий собою высшую точку развития разума и единственную систему органов, которая своей деятельностью порождает способность почти что созидательную — мысль! — является среди всех творений животного мира именно таким, где самой напряженной степени достигает сгорание, оказывающее сильнейшее действие, о чем, так сказать, свидетельствуют соли фосфорнокислая, сернокислая и углекислая, обнаруживаемые в его теле при помощи анализа. Эти субстанции не суть ли следы, оставшиеся от действия электрического тока, служащего началом всяческого оплодотворения? Не обнаруживаются ли в человеке более разнообразные комбинации электричества, чем во всяком ином животном? Быть может, способность поглощать большие количества абсолютного начала в нем сильнее, чем во всякой иной твари, и он их усваивает, чтобы при помощи машины, более совершенной, выработать свою силу, свои идеи! Я полагаю, что это так. Человек — своего рода колба. Таким образом, по-моему, у идиота мозг содержит в себе наименьшее количество фосфора[25] или иного продукта электромагнетизма; мозг сумасшедшего содержит его слишком много, у обыкновенного человека его мало, мозг человека гениального насыщен им в достаточной степени. Если люди заняты только любовью или едой, если они только таскают тяжести или танцуют, значит, они сместили силу, являющуюся результатом работы их электрического аппарата. Таким образом, наши чувства...

— Довольно, Валтасар! Мне становится страшно, ты святотатствуешь! Как! Значит, моя любовь...

— ...это выделяющееся эфирное вещество, — продолжал Клаас, — оно-то и есть самая сущность Абсолюта. Подумай только, что, если я — я первый! — я найду, найду ... найду! ..

Когда он на три различных тона произносил это слово, лицо его постепенно приобретало выражение человека, вдохновленного свыше.

— Тогда я создам металлы, бриллианты, я творю, как сама природа! — воскликнул он.

— А станешь ли ты от этого счастливее? — вскрикнула Жозефина с отчаянием. — Проклятая наука! Проклятый демон! Ты забываешь, Клаас, что предаешься греху гордыни, в котором был виновен сатана. Ты восстаешь против бога.

— Э, бог!

— Он отрицает бога! — воскликнула она, ломая руки. — Клаас, бог располагает той силой, которой у тебя не будет никогда.

Услыхав этот аргумент, сводивший к нулю науку, столь дорогую ему, Клаас взглянул на жену и вздрогнул.

— Какой? — спросил он.

— Единой силой — силой движения. Вот что я уловила из книг, которые ты принудил меня прочесть. Подвергни анализу цветы острова Малаги, и его плоды, и вино, ты обнаружишь, конечно, их составные части, которые, как это происходит с твоим кресс-салатом, возникают в среде, казалось бы, им чуждой; допустим, ты даже найдешь их в природе; но, соединив их, создашь ли ты такие цветы, такие плоды и вино? Будет ли в твоем распоряжении непостижимое воздействие солнца и воздуха Испании? Разложить — не значит создать.

— Если найду воздействующую силу, то создам.

— Ничто его не остановит! — крикнула Пепита с отчаянием в голосе. — О, наша любовь убита, я потеряла ее...

Она заплакала, и, сверкая сквозь слезы, глаза ее, одушевленные печалью и святой любовью, исторгавшейся из них, были прекрасней, чем когда-либо.

— Да, — продолжала она, рыдая, — ты умер для всего. Я вижу, наука в тебе сильнее тебя самого, ты улетел с нею слишком высоко, чтобы когда-нибудь спуститься с высоты и снова стать спутником бедной женщины. Какое счастье могу я дать тебе? Ах! Я хотела бы верить — печальное утешение! — что бог тебя создал для того, чтобы ты показал его творения и воспел ему хвалу, что в грудь твою он вложил непреодолимую силу, властвующую над тобой. Но нет, по благости своей он оставил бы в твоем сердце стремление хоть изредка обращаться мыслями к жене, обожающей тебя, и к детям, которым ты должен служить опорой. Да, только дьявол может быть тебе помощником в твоих одиноких скитаниях по безвыходным

пропастям среди мрака, где тебя ведет не вышний свет веры, а роковая уверенность в своих силах! Иначе разве мог бы ты не заметить, мой друг, что за три года поглотил девятьсот тысяч франков! Отнесись ко мне справедливо, о ты, бог мой на земле, я не упрекаю тебя ни в чем. Будь мы одни, я, стоя на коленях, отдала бы тебе все наши богатства и сказала: «Бери, бросай в свою печь, развей их дымом!» И смеялась бы, смотря, как развевает его ветер. Если бы ты был беден, я без стыда пошла бы просить милостыню, чтобы добыть уголь для твоей печи. Наконец, Клаас, если бы мне самой нужно было броситься в печь, чтобы помочь тебе найти проклятый Абсолют, я с наслаждением бросилась бы туда, раз свою славу и все свое счастье ты видишь в открытии этой тайны. Но дети наши, Клаас! Наши дети! Что станется с ними, если ты не отгадаешь адской тайны в ближайшее время? Знаешь, зачем приходил Пьеркен? Приходил просить об уплате тридцати тысяч франков, которые ты задолжал, не располагая средствами, чтобы погасить долг. Твоя собственность более тебе не принадлежит. Чтобы Пьеркен не привел тебя в смущение своими расспросами, я сказала, что эти тридцать тысяч у тебя есть; но их нужно раздобыть, — и я задумала продать наше старинное серебро.

Она увидала, что глаза мужа вот-вот увлажнятся слезами, и, полная отчаяния, бросилась к его ногам, с мольбою простирая руки.

— Друг мой, — воскликнула она, — приостанови свои поиски, мы накопим нужную сумму, чтобы возобновить их впоследствии, раз ты не можешь отказаться от продолжения своей работы. О! Я не осуждаю ее! Если хочешь, я сама стану раздувать огонь в твоих печах, только не доводи наших детей до нищеты; ты уже не можешь их любить, наука пожрала твое сердце, — так, по крайней мере, не обрекай их на бедность, если уж не дал им счастья, которое ты обязан был им дать. Слишком часто жертвовала я материнским чувством ради тебя. Да, хотелось бы мне не быть матерью, чтобы иметь возможность более тесно приобщиться к твоей душе, к твоей жизни! И вот, ради спокойствия своей совести я должна защищать от тебя счастье твоих детей прежде, чем свое собственное.

Ее волосы распустились и рассыпались по плечам, тысяча чувств, как тысяча стрел, исторгалась из ее глаз, она восторжествовала над соперницей. Валтасар поднял ее, отнес на диван и опустился на пол у ее ног.

— Значит, я доставил тебе горе? — сказал он таким голосом, как будто очнулся от тяжелого сна.

— Бедный Клаас, ты еще немало горя доставишь нам, помимо своей воли, — ответила она, проводя рукой по его волосам. — Сядь рядом со мной, — продолжала она, указывая место на диване. — Ну вот, я все и забыла, раз ты возвращаешься к нам. Друг мой, мы все поправим. Только ты не станешь отдаляться от жены? Правда? Скажи «да». Согласись, великий мой, прекрасный Клаас, подчинить свое сердце женскому влиянию,

столь благодетельному для несчастных художников, для страждущих великих людей! Будь со мною груб, ударь меня, если хочешь, но позволь мне кое в чем не соглашаться с тобой ради твоего же блага. Никогда я не злоупотреблю властью, которую ты мне предоставишь. Будь знаменит, но будь также и счастлив. Не забывай нас ради химии! Послушай, мы будем очень сговорчивы, мы не будем оспаривать прав науки, не попытаемся занять ее место в твоем сердце; но будь справедлив, отдай нам нашу половину! Скажи, разве это не высшее бескорыстие с моей стороны?

Она вызвала улыбку на лице Валтасара. С присущим женщинам чудесным искусством она перевела серьезнейший вопрос в область шутки, где женщины чувствуют себя в своей сфере. Хотя по видимости она смеялась, однако сердце у нее сжималось так сильно, что с трудом восстановилось его обычное ровное и тихое биение; зато в глазах Валтасара опять появилось то выражение, которым она восхищалась и гордилась, — и, угадав, что воскресла ее прежняя власть, уже, казалось, утраченная, г-жа Клаас сказала с улыбкой:

— Поверь мне, Валтасар, природа создала нас для чувств, и хотя тебе угодно, чтобы мы были только электрическими машинами, ни твои газы, ни твои эфирные вещества не объяснят нам дара предвидеть будущее.

— Нет, объяснят, при помощи сродства, — вмешался он. — Сила видения, присущая поэту, и сила умозаключения, присущая ученому, основаны на явном сродстве, неосязаемом, невесомом, которое толпа относит к явлениям духовным, хотя в действительности оно представляет собою явление физическое. Пророки видят и умозаключают. К несчастью, эти виды сродства слишком редки и слишком мало доступны восприятию, чтобы подвергнуться анализу или наблюдению.

— А, значит, вот это, — сказала она, целуя его, чтобы прогнать столь некстати пробужденную химию, — тоже сродство?

— Нет, это сочетание; две субстанции с одним и тем же знаком не вызывают никакой реакции...

— Ну, молчи, — сказала она, — а то я умру от горя. Да, дорогой, я не перенесла бы, увидав, что моя соперница не оставляет тебя и среди восторгов любви.

— Но, жизнь моя, я думаю только о тебе, мои труды — это стремление прославить нашу семью; все мои надежды связаны с мыслью о тебе.

— Взгляни-ка на меня!

В эти минуты бурного волнения она стала красива и молода, и перед Клаасом блистало очарованием ее лицо над облаком муслина и кружев.

— Да, конечно, я был неправ, что покидал тебя ради науки. Ну что ж, Пепита, если теперь заботы вновь будут поглощать меня, отвлекай меня от них, я так хочу.

Она опустила глаза и позволила ему взять ее руку, самое прелестное в ней, руку сильную и вместе с тем нежную.

— Но я хочу большего! — сказала она.

— Красавица моя, милая! Ведь ты всего можешь добиться.

— Я хочу разрушить твою лабораторию и посадить на цепь твою науку, — сказала она, бросая на него пламенный взор.

— Прекрасно, к черту химию!

— Эта минута заставляет меня забыть все горести, — продолжала она. — Теперь я в силах вытерпеть от тебя, если ты захочешь, новые страдания.

При этих словах Валтасар готов был заплакать.

— Ты права, я видел вас сквозь какую-то завесу и не слышал вас...

— Если бы дело шло только обо мне, — ответила она, — я продолжала бы страдать молча, не возвышая голоса перед моим властелином; но надо подумать о детях, Клаас. Уверяю тебя, если ты будешь все так же расточать свои богатства, то к какой бы славной цели ты ни стремился, свет не примет ее во внимание, и его хула падет на твою семью. Не довольно ли и того, что ты, такой значительный человек, не замечал опасности, пока жена не обратила на нее твоего внимания? Не будем больше обо всем этом говорить, — добавила она, бросая ему улыбку и взгляд, полный кокетливости. — Нынче, мой Клаас, нам мало быть счастливыми наполовину.

После вечера, столь важного в жизни этой семьи[26], Валтасар Клаас, вероятно уступивший настояниям Жозефины и что-то обещавший ей относительно прекращения своих работ, совсем не поднимался к себе в лабораторию и все время оставался возле жены. На следующий день семья стала готовиться к отъезду в деревню, где она пробыла почти два месяца, так что в город приезжали только для приготовлений к празднику, которым Клаас хотел ознаменовать, как это бывало прежде, годовщину их брака. Валтасар изо дня в день получал доказательства полного расстройства дел из-за его опытов и беспечности. Жена была далека от того, чтобы растравлять его рану упреками, и, раз беда свершилась, старалась хоть как-нибудь поправить положение. Из семи слуг, которые были у Клааса в день последнего приема, остались только Лемюлькинье, кухарка Жозета и старая горничная по имени Марта, которая не покидала своей хозяйки с тех пор, как та вышла из монастыря; с таким малым количеством слуг невозможно было принять у себя высшее общество города. Г-жа Клаас устранила все трудности, предложив пригласить повара из Парижа, приспособить к услужению сына их садовника и позаимствовать слугу у Пьеркена. Таким образом, никто не заметил бы их стесненного положения. Двадцать дней, пока готовились к торжеству, г-жа Клаас искусно заполняла досуг своего мужа: то она поручала ему выбор редкостных цветов для украшения главной лестницы, галереи и приемных комнат; то она посылала его в Дюнкерк раздобыть несколько штук тех чудовищных рыб, что составляют гордость званых обедов в Северном департа-

менте. Такой праздник, какой собирался устроить Клаас, был делом важным, он требовал множества забот и деятельной переписки, ибо во Фландрии традиции гостеприимства — дело чести для семьи, парадный обед там подобен битве, в которой хозяевам и слугам надо победить гостей. Устрицы привозились из Остенде, тетерева выписывались из Шотландии, фрукты — из Парижа; словом, и в самых незначительных мелочах нельзя было допустить посрамления наследственного пышного обихода. К тому же балы дома Клаасов в некотором роде славились. Так как Дуэ был тогда главным городом департамента, то этим званым вечером открывался зимний сезон и давался тон всем вечерам в округе. В течение пятнадцати лет Валтасар старался отличиться, и это ему настолько удавалось, что каждый раз о празднике рассказывали на двадцать миль кругом, говорили о туалетах, о приглашенных, о мельчайших подробностях, о виденных там новинках, обо всем, что там происходило. Итак, приготовления к празднику помешали Клаасу думать о поисках Абсолюта. Возвращаясь к мыслям о доме и к общению с людьми, ученый вновь обрел все самолюбие главы семьи, фламандца, хозяина, и ему приятно было удивить страну. Он решил сообщить этому вечеру особый характер какой-нибудь новой выдумкой и среди всех фантазий роскоши остановился на самой красивой, богатой и мимолетной, превратив дом в сад, полный редких растений, и приготовив букеты цветов для дам. Праздничное убранство отличалось неслыханной роскошью, которая должна была проявляться во всем. Но в день бала, под вечер, пришел двадцать девятый бюллетень[27], и распространились известия о поражениях, нанесенных великой армии в России, и о катастрофе на Березине. Глубокая и подлинная печаль охватила граждан города Дуэ, которые из чувства патриотизма единодушно отказались танцевать. Среди писем, пришедших в Дуэ из Польши, было одно на имя Валтасара. Г-н Вежховня, умирая в Дрездене, как он писал, от раны, полученной в одном из последних сражений, пожелал передать в наследство тому, кто оказал ему гостеприимство, некоторые свои мысли касательно Абсолюта, скопившиеся у него со времени их встречи. Письмо погрузило Клааса в глубокую задумчивость, которая могла бы сделать честь его патриотизму, но жена его не обманулась. Для нее праздник стал вдвойне трауром. На вечернем приеме, которым напоследок блеснул дом Клаасов, лежал поэтому отпечаток мрачной грусти, несмотря на все великолепие, несмотря на собрание редкостей, скопленное шестью поколениями — причем каждое предавалось своему особому увлечению, — а теперь восхищавшее жителей Дуэ в последний раз.

Царицей дня была Маргарита, ей пошел семнадцатый год, и родители ввели ее в свет. Она привлекла все взгляды совершенной безыскусственностью, девичьей чистотой и особенно тем, что весь облик ее был в полной гармонии с самим домом. То была юная фламандская девушка, какою изображали ее художники-фламандцы: приятно округлое, свежее личико,

каштановые волосы, гладко причесанные и разделенные пробором, глаза серые с зелеными искорками, прекрасные плечи и не вредившая красоте полнота; вид застенчивый, но на высоком и гладком лбу — решимость, скрывавшаяся под внешним спокойствием и мягкостью. Не выказывая печали и меланхолии, она, по-видимому, мало склонна была и к веселости. Рассудительность, любовь к порядку, чувство долга — три главных свойства фламандского характера — одухотворяли лицо, по первому впечатлению холодное, но привлекавшее взор нежностью контуров и спокойным достоинством, несшим в себе залог семейного счастья. По странности, еще не объясненной физиологами, дочь не унаследовала ни одной черты ни от матери, ни от отца, но в ней как будто ожила бабка с материнской стороны, та Конинкс из Брюгге, чей портрет благоговейно хранился и мог свидетельствовать об этом сходстве.

Ужин придал празднику некоторое оживление. Если военные неудачи не позволяли развлекаться танцами, то всякий полагал, что они не должны портить аппетита. После ужина патриоты быстро удалились. Безразличные остались вместе с игроками и несколькими друзьями Клааса; но мало-помалу дом, столь блестяще освещенный, где толпилась вся знать Дуэ, погрузился в молчание; к часу ночи галерея опустела, постепенно в комнатах погасал свет. Наконец, и внутренний двор, некоторое время такой шумный и ярко освещенный, стал вновь темным и мрачным — пророческий образ будущего, ожидавшего семью. Когда Клаасы вернулись в свои комнаты, Валтасар дал жене прочесть письмо поляка, она вернула его печальным жестом: она предвидела будущее.

Действительно, с этого дня Валтасар плохо скрывал томившую его скорбь и скуку. По утрам, после семейного завтрака, он некоторое время играл в зале с сыном Жаном, беседовал с дочерьми, которые занимались шитьем, вышиванием или плетением кружев; но вскоре он утомлялся этими играми и беседами и, казалось, принимал в них участие лишь по обязанности. Когда жена, одевшись, опять сходила вниз, она всегда заставала его сидящим в кресле напротив Маргариты и Фелиси, совершенно безразличным к надоедливому стуку их коклюшек. Когда получалась газета, он медленно ее читал, подобно удалившемуся от дел купцу, который не знает, как убить время. Потом вставал, смотрел в окно на небо, опять садился, задумчиво мешал угли в камине, как человек во власти тиранической мысли, который все делает бессознательно. Горячо сожалела г-жа Клаас, что у нее скудное образование и плохая память. Ей трудно было долго поддерживать интересный разговор; впрочем, едва ли это было возможно между двумя существами, которые все друг другу сказали и принуждены искать себе предметы развлечения вне жизни сердца и вне домашнего быта. У жизни сердца есть свои минуты, и она требует противовеса; мелочи быта ненадолго займут высокий ум, привыкший к быстрым решениям; а светская жизнь невыносима для душ любящих.

Живя уединенно, два существа, всецело постигшие друг друга, должны, таким образом, искать себе наслаждений в сокровеннейших областях мысли, ибо невозможно противопоставлять что-нибудь незначительное тому, что огромно. Затем, раз мужчина привык иметь дело с чем-нибудь великим, его невозможно развлечь, если только в глубине своей натуры он не сохраняет того простодушия, той покладистости, которые делают людей гениальных очаровательно ребячливыми; но часто ли встречается подобная детскость сердца у тех, чье призвание — все видеть, все знать, все понимать?

В течение первых месяцев г-жа Клаас выходила из трудного положения при помощи неслыханных усилий, внушаемых ей любовью и необходимостью. То она решалась научиться играть в триктрак, в который она никогда не умела играть, и — чудо вполне объяснимое — наконец постигла эту игру. То она заинтересовывала Валтасара воспитанием дочерей, прося, чтобы он руководил их чтением. Эти источники истощились. Настал момент, когда Жозефина очутилась перед Валтасаром в таком же положении, как г-жа де Ментенон в присутствии Людовика XIV, но с той разницей, что для развлечения засыпающего мужа ей не хватало величия власти и хитрых придворных, умевших играть комедии — вроде посольств сиамского короля или персидского суфия. У монарха, разорившего всю Францию и принужденного обращаться к уловкам дворянских сынков, чтобы достать денег, уже остались позади и молодость и успехи, и, при всем величии своем, он чувствовал ужасающее бессилие; королевская нянька, умевшая укачивать детей, не всегда умела убаюкать отца, который страдал оттого, что не считался ни с обстоятельствами, ни с людьми, ни с жизнью, ни с богом. Клаас же страдал от излишнего могущества ума. Под гнетом охватившей его мысли он мечтал о празднествах науки, о сокровищах для человечества и о славе для себя. Он страдал, как страдает художник, борющийся с нищетой, или Самсон, привязанный к колоннам храма. Результат оказался один и тот же для обоих властителей, хотя властитель мысли был подавлен своей силою, а Людовик — своей слабостью. Что могла поделать Пепита, одинокая в борьбе с тоской по науке, томившей Клааса? Использовав средства, предоставляемые семейными делами, она призвала себе на помощь свет, приглашая к себе на чашку кофе дважды в неделю. В Дуэ приглашают на кофе, а не на чай. «Кофе» — это вечеринка, на которой целый вечер гости пьют изысканные вина и ликеры, переполняющие погреба в этой благословенной стране, лакомятся сластями, черным кофе или замороженным кофе с молоком, а тем временем дамы поют романсы, обсуждают вопросы о туалетах или пересказывают городские сплетни. Это все те же картины Мириса или Терборха[28], только без красных перьев на остроконечных серых шляпах, без гитар и прекрасных костюмов XVI века. Но несмотря на старания Валтасара как следует играть роль хозяина, несмотря на взятую напрокат приветливость и искус-

ственный огонь остроумия, усталость, одолевавшая его на следующий день, выдавала всю глубину его недуга.

Постоянные праздники давали лишь видимое облегчение болезни и еще подчеркивали ее серьезность. Они были словно ветки, на которые наталкивался Валтасар, скатываясь в пропасть, — они замедлили падение, но сделали его еще более мучительным. Клаас не заговаривал о прежних своих занятиях, не выражал сожалений, чувствуя, что для него нет возможности возобновить опыты, однако движения его стали вялы, голос ослабел, силы упали, точно он перенес тяжелую болезнь. Тоска его порой сказывалась даже в том, как он брал щипцы, чтобы бесцельно построить в камине какую-то фантастическую пирамиду из кусков каменного угля. Когда наступал вечер, он чувствовал заметное удовлетворение: вероятно, сон освобождал его от докучливой мысли; наутро он вставал печальный, видя перед собой день, который надо прожить, и, казалось, измерял, сколько ему нужно убить времени, как усталый спутник мерит взглядом пустыню, которую надо перейти. Если г-жа Клаас и знала причину этого уныния, то старалась не замечать размеров производимых им опустошений. Полная решимости перед страданиями ума, она была бессильна перед великодушием сердца. Она не смела расспрашивать Валтасара, когда тот слушал рассказы дочерей или смех Жана с видом человека, занятого своими мыслями, но, содрогаясь, наблюдала, как он отгоняет от себя меланхолию и, чтобы никого не огорчать, из чувства великодушия старается казаться веселым. Шутки отца с обеими дочерьми, игры с Жаном вызывали слезы на глазах Жозефины, она уходила, чтобы скрыть, как волнует ее героизм, цена которого хорошо известна женщинам и который разбивает им сердце: г-же Клаас хотелось тогда сказать: «Убей меня и делай, что захочешь!» Мало-помалу глаза Валтасара утратили свой живой огонь и приняли тот мутный оттенок, от которого так печальны становятся глаза стариков. Оказывал ли он знаки внимания жене, говорил ли что-нибудь, все в нем отдавало принужденностью. Подобные симптомы, усилившись к концу апреля, испугали г-жу Клаас, это зрелище стало для нее невыносимым, и тысячу раз упрекала она себя, восхищаясь тем, как муж хранит фламандскую верность своему слову. Однажды, когда Валтасар показался ей удрученным больше, чем когда-либо, она, уже не колеблясь, решила всем пожертвовать, чтобы вернуть его к жизни.

— Друг мой, — сказала она ему, — ты свободен от клятвы.

Валтасар посмотрел на нее с изумлением.

— Ты думаешь о своих опытах? — продолжала она.

Он ответил притворно беспечным жестом, и ей стало больно. Нисколько не упрекая его, г-жа Клаас, имевшая достаточно времени, чтобы измерить глубину пропасти, в которую им обоим предстояло скатиться, взяла его руку и с улыбкой пожала ее.

— Спасибо, друг, я уверена в своей власти, — сказала она, — ты принес мне в жертву больше, чем жизнь. Моя очередь жертвовать. Хотя я уже продала кое-какие свои алмазы, все же, если добавить те, что остались от брата, их хватит, чтобы добыть деньги, необходимые для твоих работ. Я предназначала эти уборы нашим дочерям, но ведь больший блеск придаст им твоя слава, а кроме того, ты им все возместишь когда-нибудь алмазами еще более прекрасными!

Радость, внезапно осветившая лицо мужа, довела до крайнего предела отчаяние Жозефины; со скорбью она увидала, что страсть сильнее его самого. Клаас верил в свою идею и бесстрашно пускался в путь, который для его жены был пропастью. Ему — вера, ей — сомнение, ей — тягчайшая ноша: не страдает ли всегда женщина за обоих? В эту минуту ей хотелось верить в успех, чтобы оправдать перед собою свое соучастие в возможной растрате их состояния.

— Всей моей жизни мало, чтобы любовью отблагодарить тебя за твое самоотречение, Пепита, — сказал растроганный Клаас.

Едва произнес он эти слова, как вошли Маргарита и Фелиси и поздоровались с ними. Г-жа Клаас в смятении опустила глаза, не смея взглянуть на детей, у которых только что было отнято состояние ради химеры; а муж взял детей на колени и весело болтал с ними, счастливый, что может излить обуявшую его радость. С тех пор г-жа Клаас разделяла с мужем его напряженную жизнь. Будущее детей, общественное положение их отца были для нее двумя двигателями, столь же могучими, как слава и наука для Клааса. И вот несчастная женщина не знала больше ни минуты покоя, после того как все их алмазы были проданы в Париже хлопотами аббата де Солиса, ее духовника, и фабриканты химических продуктов возобновили свои поставки. Беспрестанно тревожась за мужа, которого терзал демон науки и неистовое стремление к исследованиям, она жила в постоянном страхе перед будущим и проводила целые дни в оцепенении, пригвожденная к креслу самой силой своих желаний, которые, в противоположность желаниям Валтасара, не находили себе пищи в лабораторных работах и мучили ее душу, усиливая сомнения и страхи. Минутами, упрекая себя за снисходительность к страстным, но безнадежным поискам, которые осуждал г-н де Солис, она вставала, подходила к окну, выходящему во внутренний двор, и с трепетом бросала взгляд на трубу лаборатории. Если оттуда выходил дым, она смотрела на него с отчаянием, мысли, самые противоположные, волновали ее сердце и ум. Она видела, как рассеивается дымом состояние ее детей, но она спасала жизнь их отцу: не первый ли ее долг сделать счастливым его? Такая мысль успокаивала ее на минуту. Она получила право входить в лабораторию и оставаться там; но вскоре ей пришлось отказаться от этого печального преимущества. Слишком сильно страдала она, видя, что Валтасар не обращает на нее внимания, что часто ее присутствие даже стесняет

его; она испытывала там ревнивое раздражение, яростное желание взорвать дом; она там умирала от тысячи неслыханных мучений.

Лемюлькинье стал для нее тогда своего рода барометром: когда он сновал по дому, накрывая к завтраку или обеду, она, слыша, как он насвистывает, догадывалась, что опыты мужа были удачны и появилась надежда на близкий успех; если же Лемюлькинье становился мрачен, угрюм, она бросала на него скорбный взгляд: значит, Валтасар неудовлетворен. В конце концов хозяйка и лакей стали понимать друг друга, несмотря на гордость одной и надменную покорность другого. Слабая, беззащитная перед страшным упадком душевных сил, она изнемогала от беспрестанной смены надежды и отчаяния, которая у нее отягощалась тревогами любящей жены и беспокойством матери, дрожавшей за семью. Если прежде у нее холодело сердце от тягостной тишины, царившей в доме, то теперь она молчала сама, не замечая, как стало мрачно вокруг нее, как целые дни в зале не увидишь улыбки, не услышишь ни единого слова. Уступая грустной необходимости, подсказанной материнским предвидением, она приучала обеих дочерей к домашним работам и старалась сделать их искусными в каком-нибудь женском ремесле, чтобы они могли прокормиться, если впадут в нищету. Так под внешним спокойствием этой семьи таились жестокие волнения. К концу лета Валтасар израсходовал все деньги, что были получены за алмазы, проданные в Париже при посредстве старого аббата де Солиса, и сверх того задолжал двадцать тысяч франков фирме Проте и Шифревиль.

В августе 1813 года, почти год спустя после сцены, описанной нами в начале повести, хотя Клаас и сделал к этому времени несколько прекрасных опытов, которыми, к сожалению, пренебрег, но попытки его были безрезультатны в основной области его изысканий. В день, когда он закончил ряд своих работ, его сокрушило чувство бессилия: убедившись в бесплодной растрате значительных сумм, он впал в отчаяние. То была страшная катастрофа. Он покинул свой чердак, медленно сошел в залу, бросился в кресло и сидел среди детей несколько минут, как мертвый, не отвечая на вопросы, которыми засыпала его жена; слезы его душили, он бросился в свою комнату, чтобы предаться горю без свидетелей; Жозефина пошла за ним, увела его к себе в спальню, и здесь, наедине с нею, Валтасар дал волю своему отчаянию. Эти мужские слезы, эти речи впавшего в уныние художника, это раскаяние отца семейства были так страшны, нежны и безумны, что больше причинили боли г-же Клаас, чем все прошедшие горести. Жертва стала утешать палача.

— Я жалкий человек, я играю жизнью своих детей и твоею; чтобы вам сохранить счастье, мне надо убить себя! — вымолвил Валтасар, и эти слова, произнесенные с ужасающей убежденностью, поразили ее в самое сердце, а так как, при характере мужа, можно было опасаться, что он тотчас же осуществит это решение, внушенное отчаянием, то она пережила

такое потрясение, которое поражает самый источник жизни; и тем более было оно губительно, что Пепита скрыла свои жестокие муки под напускным спокойствием.

— Друг мой, — ответила она, — я советовалась не с Пьеркеном, которому дружеские связи с нами не мешают втайне испытывать некоторое удовольствие при виде нашего разорения, а со стариком, который добр ко мне, как отец. Аббат де Солис, мой духовник, дал мне совет, который спасет нас от разорения. Он приходил посмотреть твои картины. Те, что висят в галерее, стоят достаточно, чтобы выплатить все суммы, взятые тобою под закладные, и твои долги Проте и Шифревилю, — ведь, наверное, у тебя имеется еще какой-нибудь неоплаченный счет?

Клаас сделал утвердительный знак, опуская уже поседевшую голову.

— Де Солис знаком с Гаппе и Дункером из Амстердама; они с ума сходят по картинам и, как все выскочки, любят щеголять великолепием, которое пристало только старинным домам; за наши картины они уплатят полную их стоимость. Так мы восстановим наши доходы, а часть этой суммы, составляющей около ста тысяч дукатов, тебе можно будет взять для продолжения опытов. Обе дочери и я удовольствуемся немногим. Со временем, если соблюдать экономию, можно будет вставить в пустые рамы другие картины. Ты опять заживешь счастливо.

Валтасар поднял голову и радостно, а вместе с тем несколько боязливо посмотрел на жену. Роли переменились. Жена стала покровительницей мужа. При всей своей нежности, при всей сердечности своих отношений с Жозефиной, он, обнимая ее, не замечал, как она вздрагивала от ужасной конвульсии, как у нее подергивались нервной дрожью кожа головы и губы:

— Я не смел тебе сказать, что нахожусь только на волосок от Абсолюта. Чтобы превратить в газ металлы, мне остается лишь подвергнуть их действию огромного жара в среде, где нет давления атмосферы, словом, в абсолютной пустоте.

Госпожа Клаас не выдержала, услышав подобный эгоистический ответ. Она ожидала страстной благодарности за свои жертвы, а столкнулась с химической задачей... Она сразу покинула мужа, спустилась в залу, упала в кресло, перепугав своих дочерей, и залилась слезами; Маргарита и Фелиси опустились возле нее по обеим сторонам на колени, припали к ее руке и зарыдали вместе с нею, еще не зная причин ее горя и только спрашивая беспрестанно:

— Что с вами, маменька?

— Бедные дети! Пришла моя смерть, я чувствую это.

От ее слов вздрогнула Маргарита, впервые заметившая на лице матери следы той особенной бледности, какая бывает у людей смуглых.

— Марта! Марта! — закричала Фелиси. — Идите сюда, вы нужны маменьке.

Старая дуэнья прибежала из кухни и, увидав, что на цветущем, смугловато-румяном лице г-жи Клаас проступила зеленоватая бледность, воскликнула по-испански:

— Тело Христово! Барыня умирает!

Она стремительно вышла, велела Жозете согреть воды для ножной ванны и вернулась к хозяйке.

— Не пугайте барина, ничего ему не говорите, Марта! — воскликнула г-жа Клаас. — Бедные дочки! — сказала она, прижимая к сердцу Маргариту и Фелиси движением, полным отчаяния. — Хотелось бы мне пожить подольше, чтобы видеть вас счастливыми и замужем. Марта, — продолжала она, — скажите Лемюлькинье, чтобы он сходил к господину де Сэлису и попросил его от моего имени прийти к нам.

Все это было громовым ударом, который отозвался в доме вплоть до кухни. Жозета и Марта, обе преданные г-же Клаас и ее дочерям, были потрясены, ведь другой привязанности у них не было. При страшных словах: «Барыня умирает, барин ее убил; скорее готовьте горчичную ванну для ног!» — у Жозеты вырвалось немало восклицаний по адресу Лемюлькинье. Холодный и бесчувственный Лемюлькинье закусывал на краешке стола перед окном, в которое шел со двора свет в кухню, чистенькую, как будуар франтихи.

— Так и должно было кончиться, — говорила Жозета, поглядывая на лакея и становясь на табурет, чтобы снять с полки котелок, блестевший, как золото. — Ни одна мать не могла бы хладнокровно смотреть, как отец забавы ради пускает по ветру денежки, да какие еще денежки!

Жозета, у которой лицо, обрамленное круглым чепчиком с рюшем, похоже было на немецкие щипцы для орехов, бросила на Лемюлькинье язвительный взгляд, и ее воспаленные маленькие глазки зеленого цвета, казалось, источали яд. Старик лакей нетерпеливо пожал плечами, как мог бы это сделать по меньшей мере Мирабо[29], потом отправил в свой огромный рот кусок хлеба с маслом.

— Вместо того, чтобы досаждать барину, дала бы барыня ему денег, и все мы вскоре купались бы в золоте! Самой малости недостает нам, чтобы открыть...

— Так за чем же дело стало? У вас есть капиталец в двадцать тысяч франков, почему вы их не предложите барину? Он ваш хозяин. И раз вы так верите в его победу...

— Ничего вы не понимаете, Жозета, кипятите свою воду, — ответил фламандец, прерывая кухарку.

— Уж одно-то я понимаю: было в доме столового серебра на тысячу марок, а вы с барином все расплавили, и только дай вам волю, вы так ловко полуфранковик в грош превратите, что вскоре ровно ничего у вас не останется.

— А барин, — вмешалась Марта, — уморит барыню, чтобы избавиться

от такой жены, которая его сдерживает и не дает все пустить прахом. Видно, бес в нем сидит. Да и вы, Мюлькинье, помогая ему, душу свою погубите, уж этого не миновать, если только есть у вас душа, — ведь вот все горюют, а вы прямо ледышка. Барышни слезами заливаются. Бегите же за аббатом де Солисом.

— Я занят у барина, прибираю в лаборатории, — сказал лакей. — Не близко отсюда до Эскершенского квартала. Идите сами.

— Ну, посмотрите на это чудовище! — сказала Марта, — А кто сделает ножную ванну барыне? Что ж, хотите, чтоб она умерла! Кровь ей бросилась в голову...

— Мюлькинье, — сказала Маргарита, входя в соседнюю комнату, — на обратном пути от господина де Солиса вы зайдете к доктору, господину Пьеркену, попросите прийти как можно скорее.

— Ага, пойдете! — сказала Жозета.

— Барышня, барин приказал мне прибирать в лаборатории, — сказал Лемюлькинье, обернувшись к служанкам и бросив на них деспотический взгляд.

— Папенька, — сказала Маргарита Клаасу, который в это время спускался по лестнице, — не можешь ли ты отпустить Мюлькинье? Нам нужно послать его в город.

— Пойдешь, чучело! — сказала Марта, услыхав, что Клаас предоставляет Лемюлькинье в распоряжение дочери.

Из-за того, что лакей мало заботился о доме, постоянно возникали ссоры между обеими женщинами и Лемюлькинье, и в противовес его холодности Жозета и дуэнья стали проявлять еще большую преданность. Эта борьба, по видимости, такая мелочная, впоследствии имела значительное влияние на будущее семьи Клаасов, когда им понадобилась помощь в несчастье. Валтасар стал опять так рассеян, что не заметил болезненного состояния Жозефины. Он взял Жана на колени и машинально стал его качать, думая о проблеме, разрешением которой он отныне имел возможность заняться. Он видел, как принесли ножную ванну жене, которая, будучи не в силах подняться, так и осталась лежать в кресле. Он смотрел на дочерей, видел, что они хлопочут вокруг матери, но даже не подумал, чего ради они так усердствуют. Когда Маргарита или Жан что-нибудь говорили, г-жа Клаас приказывала им умолкнуть, кивая на Валтасара. Было над чем призадуматься Маргарите, очутившейся между матерью и отцом и достаточно взрослой, достаточно разумной, чтобы поразмыслить о его поведении. Наступает момент в семейной жизни, когда дети волей-неволей становятся судьями родителей. Г-жа Клаас понимала опасность такого положения. Из любви к Валтасару она старалась оправдать в глазах Маргариты те черты отца, которые разумной шестнадцатилетней девушке могли показаться недостатками. И вот, при всех этих обстоятельствах глубокое уважение к Валтасару, проявлявшееся

у г-жи Клаас в готовности стушеваться, чтобы не нарушать его размышлений, сообщало детям своего рода благоговейный страх перед отцом. Но как ни была заразительна такая преданность, она только увеличивала у Маргариты восхищение матерью, с которой ее теснее связывала повседневная жизнь. Такое чувство основывалось на том, что девушка чутьем поняла, как жестоко страдает мать и, естественно, искала этому причин. Никакая сила человеческая не могла помешать Маргарите догадаться по случайной фразе Марты или Жозеты, почему уж четыре года семья находится в таком положении. Несмотря на всю сдержанность г-жи Клаас, ее дочь понемногу, медленно, нитка за ниткой исследовала таинственную ткань семейной драмы. Маргарите предстояло сделаться теперь преданной наперсницей матери, а впоследствии при развязке, — самым суровым судьей отца. И вот г-жа Клаас всячески старалась привить Маргарите свою преданность Валтасару. Видя решительный характер дочери, ее благоразумие, она дрожала при мысли, что может возникнуть борьба между Валтасаром и Маргаритой, когда та после смерти матери заменит ее в домашних делах. Бедная женщина дошла до того, что последствий своей смерти боялась больше, чем самой смерти. Вся забота ее о Валтасаре проявилась в решении, которое она только что приняла. Освободив от долгов имущество мужа, она этим обеспечивала его независимость, а отделив доходы детей от доходов мужа, предупреждала всякие споры; перед тем как навеки закрыть глаза, она надеялась видеть Валтасара счастливым; она, наконец, рассчитывала передать душевную свою чуткость Маргарите, которая исполняла бы роль его ангела-хранителя, наделенного властью оберегать и опекать всю семью. Не значило ли это из глубины могилы проливать свет любви на тех, кто ей был дорог? Вместе с тем ей не хотелось уронить отца в глазах дочери, посвятив ее преждевременно в те опасения, которые внушала ей страсть Валтасара к науке; она изучала душу и характер Маргариты, чтобы понять, может ли юная девушка по своей воле заменить мать своим братьям и сестре, кроткую и нежную жену — своему отцу. Так последние дни г-жи Клаас были отравлены расчетами и страхами, в которых она не могла признаться никому. Недавняя сцена нанесла ей смертельный удар, и она тревожилась о будущем; между тем Валтасар, отныне чуждый всему, что имело отношение к бережливости, к богатству и к чувствам семейственности, думал лишь о том, как отыскать Абсолют... Царившее в зале глубокое молчание нарушалось только монотонным движением Клааса, который продолжал покачивать ногой, не заметив, что Жан давно уже соскочил с его колена. Сидя около матери, глядя на ее бледное, страдальческое лицо, Маргарита время от времени поворачивалась к отцу, дивясь его бесчувственности. Вскоре с громким стуком захлопнулась дверь парадного подъезда, и семейство увидало, что аббат де Солис, опираясь на руку племянника, медленно пересекает двор.

— А, и Эммануил пришел! — сказала Фелиция.

— Прекрасный молодой человек! — сказала г-жа Клаас, заметив Эммануила де Солиса. — Рада буду повидать его.

Маргарита покраснела, услыхав непреднамеренную похвалу. Два дня тому назад этот молодой человек пробудил в ее сердце незнакомые чувства и расшевелил ум, до тех пор бездеятельный. Когда священник явился к своей духовной дочери, произошли события неприметные, но занимающие в жизни важное место, последствия которых оказались настолько значительны, что необходимо изобразить два новых персонажа, вошедших в семейный круг. Г-жа Клаас держалась принципа выполнять свои религиозные обязанности втайне. Ее духовник, которого у нее дома почти и не знали, появился лишь во второй раз; но здесь, как и повсюду, все невольно поддались чувству умиления и восхищения при виде дяди и племянника. У аббата де Солиса, восьмидесятилетнего седовласого старца, было изможденное лицо, где жизнь, казалось, сосредоточилась лишь в глазах. С трудом ступали его тонкие ноги, одна ступня, похожая на безобразный обрубок, была запрятана в какой-то бархатный мешок; старику приходилось пользоваться костылем, когда он не мог опереться на руку племянника. Его согбенная спина и все иссохшее тело являли зрелище страждущего и хрупкого естества, над которым господствовали железная воля и поддерживавший ее непорочный дух, полный глубокой веры. Этот испанский священник, замечательный по своим обширным познаниям, подлинному благочестию и огромным связям, последовательно побывал доминиканским монахом, высшим духовником в Толедо и главным викарием Мехельнского архиепископства. Не будь Французской революции, покровительство рода Каса-Реаль возвело бы его к высшим церковным степеням; но он так был огорчен смертью молодого герцога, своего ученика, что проникся отвращением к деятельной жизни и весь отдался воспитанию своего племянника, очень рано осиротевшего. После завоевания Бельгии он поселился неподалеку от г-жи Клаас. С молодости аббат де Солис преклонялся перед св. Терезою, и это привело его к мистической стороне христианства, отвечавшей и склонностям его ума. Во Фландрии, где г-жа Буриньон, так же как писатели квиэтисты и иллюминаты [30], нашла больше всего приверженцев, он встретил множество католиков своего толка и тем охотнее здесь остался, что его приняли как патриарха в этой особой общине, где продолжают придерживаться учения мистиков, несмотря на суровые преследования цензуры, постигшие Фенелона и г-жу Гийон [31]. Нравы его были строги, жизнь — примерна; говорили, что у него бывают экстатические наития. Хотя человек строгой религиозности обязан отрешиться от мирской суеты, он все же, из любви к своему племяннику, проявлял расчетливость. Когда заходила речь о каком-нибудь благотворительном начинании, старик облагал взносами прихожан своей церкви, прежде чем обратиться к собственным своим средст-

вам, и патриархальная власть его была столь общепризнанна, намерения его столь чисты, прозорливость его столь безошибочна, что всякий оказывал уважение его просьбам. Чтобы получить понятие о контрасте между дядей и племянником, следовало бы сравнить старика с дуплистой ивой на берегу ручья, а молодого человека с цветущим шиповником, прямой изящный стебель которого тянется кверху из дупла этой ивы, как будто стремясь вновь выпрямить ее обомшелый ствол.

Сурово воспитанный дядей, который охранял его, как матрона охраняет деву, Эммануил был исполнен той тонкой чувствительности, того мечтательного целомудрия, которые на краткий миг расцветают у каждого в юности, но укореняются в душах, вскормленных религиозными принципами. Старый священник подавлял в своем воспитаннике стремление к чувственным радостям, постоянными трудами и почти монашеской дисциплиной готовя его к тяготам жизни. Подобное воспитание, которое должно было в полной невинности вручить Эммануила свету и дать ему счастье, если он будет удачлив в первой своей любви, облекло его ангельской чистотой, сообщавшей ему девическое очарование. Его глаза, робкие, но таившие в своей глубине силу и мужество, излучали свет, который трепетно улавливался душой, подобно тому, как звуковые волны от звенящего хрусталя воспринимаются слухом. Лицо его, правильное, но выразительное, отличалось чрезвычайной четкостью контуров, приятной соразмерностью черт и глубоким спокойствием, свидетельствующим о безбурной душевной жизни. Все в нем было гармонично. От черных волос, от темных глаз и бровей еще заметней была белизна лица и живой румянец. Голос у него был именно такой, какого можно было ожидать при столь красивом лице. Мелодичному голосу и нежному, ясному взгляду соответствовали его женственные движения. Казалось, он сам не знал, как привлекательны полумеланхолическая сдержанность его манер, его немногословная речь и почтительная заботливость о дядюшке. Видеть, как он следит за неровной походкой старого аббата, применяясь к болезненным ее неправильностям, предусмотрительно избегая всего, что грозило бы дяде ушибом, выбирает для старика самый удобный путь, — было достаточно, чтобы обнаружить в Эммануиле то великодушие, которое делает человека высшим существом. Любя своего дядю и никогда его не осуждая, повинуясь ему и никогда не оспаривая его приказаний, он проявлял такое величие души, что всякий нашел бы предопределение в сладостном имени, данном ему крестной матерью. Когда старик, дома или в гостях, проявлял порою свой доминиканский деспотизм, то Эммануил таким благородным движением поднимал голову, показывая свою готовность поддержать старика, если тот с кем-нибудь схватится, что все чувствительные люди бывали взволнованы, как художник при виде великого произведения, — ибо непосредственные восприятия жизни могут вызвать не менее прекрасный отзвук в душе, чем ее художественные воплощения.

Эммануил сопровождал дядю, когда старик пришел к своей духовной дочери, чтобы осмотреть картины дома Клаасов. Узнав от Марты, что аббат де Солис находится в галерее, Маргарита, которой хотелось повидать эту знаменитость, искала предлога, чтобы присоединиться к матери и удовлетворить свое любопытство. Вошла она не очень-то чинно, придав себе тот легкомысленный вид, под которым юные девушки так хорошо скрывают свои намерения, и вдруг увидела возле одетого в черное, согбенного, иссохшего, мертвенно-бледного старика свежее, прелестное лицо Эммануила. Равно юные, равно наивные взоры обоих этих существ выразили одинаковое изумление. Несомненно, Эммануил и Маргарита уже видали друг друга в мечтах. Оба они опустили глаза одним и тем же движением, потом подняли их, посылая друг другу одно и то же признание. Маргарита взяла мать под руку, заговорила с ней шепотом, так сказать, спряталась под материнское крылышко, в то же время по-лебединому вытянув шею, чтобы снова увидеть Эммануила, который все поддерживал под руку дядю. Свет в галерее, искусно выделяя каждое полотно, все же не был сильным и благоприятствовал беглым взглядам, составляющим радость робких людей. Конечно, ни он, ни она даже и в мыслях не дошли до того «да», с которого начинается страсть; но оба почувствовали глубокое, волнующее сердца смущение, в котором юность не признается даже сама себе, то ли из тайного удовольствия, то ли из стыда. В юности у всех на смену первому впечатлению, уже предопределяющему буйный расцвет долго сдерживаемой чувствительности, приходит растерянность и почти ошеломленность, как это бывает с детьми, когда они впервые слышат музыку. Иные дети рассмеются и задумаются, другие сначала задумаются и только потом рассмеются; но те, чья душа призвана жить поэзией или любовью, долго слушают и хотят, чтобы музыка звучала еще и еще, и об этом просят взглядом, в котором уже сияет наслаждение, уже загорается любопытство к бесконечному. Если мы горячо любим те места, где в детстве нас посвятили в красоты гармонии, если мы с восхищением вспоминаем о музыканте и даже об инструменте, то как запретить душе полюбить существо, которое впервые открыло нам музыку жизни? Не становится ли для нас отечеством то сердце, от которого впервые повеяло на нас любовью? Эммануил и Маргарита были друг для друга чистым голосом музыки, пробуждающим чувство, рукою, поднимающей облачные покровы, чтобы показать берега, затопленные полуденными лучами. Когда г-жа Клаас остановила старика перед полотном Гвидо, изображающим ангела, Маргарита повернула голову, чтобы увидать, каково будет впечатление Эммануила, а молодой человек искал глазами Маргариту, чтобы сравнить немую мысль картины с мыслью, воплощенной в живом существе. Этот невольный, но очаровательный комплимент был понят и оценен. Старый аббат степенно хвалил прекрасную композицию, г-жа Клаас отвечала ему; но девушка и юноша

молчали. Такова была их встреча. Таинственный свет галереи, тишина дома, присутствие родных — все способствовало тому, чтобы глубже запечатлеть в сердце легкие черты туманного видения. Тысяча смятенных мыслей, хлынувших дождем в душу Маргариты, тихо разлились прозрачною влагой и блеснули под ярким лучом, когда Эммануил, что-то неясно произнеся, прощался с г-жою Клаас. Свежий, бархатный звук его голоса, наполняя сердце неслыханным очарованием, придал еще большую силу внезапному откровению, вызванному встречей с Эммануилом, который должен был еще позаботиться о том, чтобы пожать его плоды; ведь мужчина, избранный судьбою, чтобы пробудить к любви сердце юной девушки, сам часто не знает о впечатлении, произведенном им, и оставляет его незакрепленным. Маргарита в смущении ответила Эммануилу поклоном и прощальным взглядом, выражавшим, казалось, печаль о том, что исчезает чистое, чарующее видение. Как ребенку, ей хотелось снова и снова слушать мелодию. Прощались внизу старой лестницы, перед дверью в залу; и Маргарита из окна залы следила взором за дядей и племянником, пока не захлопнулась парадная дверь. Г-жа Клаас слишком была занята важными вопросами, о которых беседовал с ней духовник, чтобы следить за лицом дочери. Когда де Солис и его племянник явились во второй раз, она не настолько еще оправилась от потрясения, чтобы заметить вспыхнувший на лице Маргариты румянец, признак первой радости, первого брожения чувств в ее девственном сердце. Когда доложили о старом аббате, Маргарита нагнулась над работой и, казалось, до такой степени занята была ею, что поклонилась дяде и племяннику, не поднимая взгляда. Клаас машинально ответил на поклон аббата де Солиса и вышел из залы, как человек, поглощенный своими заботами. Благочестивый доминиканец сел рядом со своей духовной дочерью, бросив на нее взгляд, проникавший в глубь души; достаточно ему было увидать Клааса и его жену, чтобы догадаться о катастрофе.

— Дети мои, идите в сад, — сказала мать. — Маргарита, покажи Эммануилу отцовские тюльпаны.

Смутившись, Маргарита взяла под руку Фелиси и взглянула на молодого человека, который покраснел и направился к двери, прихватив с собою Жана, чтобы меньше смущаться. Когда все четверо очутились в саду, Фелиси и Жан пошли своей дорогой, бросив Маргариту; оставшись почти наедине с молодым де Солисом, она повела его к клумбе тюльпанов, которую из года в год, всегда одинаково, устраивал Лемюлькинье.

— Вы любите тюльпаны? — спросила Маргарита, не сразу прерывая глубокое молчание, которое и Эммануил, казалось, не спешил нарушить.

— Прекрасные цветы, но чтобы их любить, вероятно, нужен особый вкус к ним, нужно уметь оценить их красоты. Меня они ослепляют. От привычки работать в темной небольшой комнате, в которой я живу у дяди, я предпочитаю цветы, нежно ласкающие взор.

Сказав так, он посмотрел на Маргариту, но во взгляде его, полном неясных желаний, не заключалось никакого намека на то, что матовой белизной, спокойствием и нежной окраской лицо ее напоминало цветок.

— Значит, вы много работаете? — продолжала Маргарита, подводя Эммануила к зеленой деревянной скамейке со спинкой. — Отсюда вы будете видеть тюльпаны издали, и они не так утомят ваше зрение. Вы правы, от этих красок рябит в глазах и становится больно смотреть.

— Да, я много работаю, — ответил молодой человек, помолчав минуту и подравнивая ногой песок на дорожке. — Работаю над разными вопросами... дядя хотел меня сделать священником...

— Ох! — наивно воскликнула Маргарита.

— Я противился, я не чувствовал призвания. Но много нужно было мужества, чтобы идти наперекор желаниям дяди. Он так добр, он так меня любит! Недавно он нанял человека, чтобы спасти меня от солдатской службы, меня, бедного сироту...

— К чему же вы себя предназначаете? — спросила Маргарита, но осеклась и смущенно добавила: — Простите, должно быть, вы находите меня слишком любопытной.

— О! — сказал Эммануил, глядя на нее и с восхищением и с нежностью, — еще никто, кроме дяди, не задавал мне такого вопроса. Я учусь, чтобы стать учителем. Что поделаешь? Я небогат. Если мне удастся стать старшим учителем какой-нибудь гимназии во Фландрии, у меня будут скромные средства к существованию, и я женюсь на какой-нибудь простой женщине, которую буду очень любить. Вот чего я ожидаю от жизни. Может быть, потому я и предпочитаю цветок, похожий на мелкую ромашку, которых так много в Оршийской долине, прекрасным тюльпанам, расцвеченным сапфирами, изумрудами, золотом и пурпуром: ведь эти нарядные тюльпаны — символ роскошной жизни, меж тем как этот скромный цветочек олицетворяет жизнь тихую, патриархальную, жизнь бедного учителя, каким мне и придется стать.

— До сих пор эти мелкие цветы я называла всегда маргаритками, — сказала она.

Эммануил де Солис залился румянцем и, не зная, что ответить, только старательно разравнивал ногами песок. Затрудняясь, на какой остановиться фразе из тех, что приходили ему в голову и все казались глупыми, он, чтобы прервать неловкое молчание, наконец выговорил:

— Не смел произнести ваше имя... — и не кончил.

— Вы будете учителем? — переспросила она.

— О! Я стану учителем только для того, чтобы занять какое-то положение, но я примусь за работы, которые откроют передо мною большое, широкое поприще... Мне очень нравятся занятия историей.

— Ах!

Это полное тайных мыслей «ах!» еще более смутило молодого человека; без всякой причины он рассмеялся и заметил:

— По вашему приказу я говорю о себе, а следовало бы мне говорить с вами только о вас.

— Маменька и ваш дядя, думаю, кончили беседу, — сказала она, взглянув через окно в залу.

— Мне кажется, ваша матушка очень переменилась.

— Она мучается, но не хочет сказать из-за чего, и нам остается только страдать, видя ее страдания.

Госпожа Клаас в самом деле только что кончила весьма щекотливое совещание по поводу такого вопроса совести, решить который мог только аббат де Солис. Предвидя полное разорение, она, без ведома Валтасара, мало заботившегося о делах, хотела из денег, вырученных за картины, которые де Солис брался продать в Голландии, удержать значительную сумму, чтобы припрятать ее и сберечь для семьи на черный день. По зрелом размышлении, обсудив обстоятельства, в которых находилась его духовная дочь, старый доминиканец одобрил такое благоразумное решение. Он ушел, взяв на себя продажу, которая должна была произойти втайне, чтобы не слишком повредить имени Клааса. Старик послал племянника с рекомендательным письмом в Амстердам, и там Эммануилу, который с восторгом оказал эту услугу дому Клаасов, удалось выручить за их картины, проданные известным банкирам Гаппе и Дункеру, восемьдесят пять тысяч голландских дукатов номинально и сверх того пятнадцать тысяч дукатов, секретно переданных г-же Клаас. Благодаря широкой известности этих картин для совершения сделки достаточно было ответа Валтасара на письмо банкирского дома Гаппе и Дункера. Эммануил де Солис был уполномочен Клаасом на получение за картины денег, которые и переслал тайком, чтобы граждане города Дуэ не знали о продаже. К концу сентября Валтасар расплатился с долгами, выкупил имение и вновь принялся за работу; но дом Клаасов лишился лучшей своей красы. Ослепленный страстью, Клаас ни о чем не жалел, он настолько верил в возможность возместить эту потерю, что велел при продаже картин заключить сделку с правом выкупа. А Жозефине сто кусков холста, покрытых живописью, казались пустяком по сравнению с семейным счастьем и спокойствием мужа; галерею она заполнила картинами, висевшими в приемных комнатах, а чтобы скрыть пустоту на стенах переднего дома, обновила его убранство. Расплатившись с долгами, Валтасар получил в свое распоряжение до двухсот тысяч франков для дальнейших опытов. Аббат де Солис и его племянник хранили у себя пятнадцать тысяч дукатов, оставленных Жозефиной про запас. Чтобы увеличить эту сумму, аббат продал дукаты, которые вследствие событий континентальной войны возросли в цене. Вырученные им экю, стоимостью в сто семьдесят тысяч франков, закопали в погребе дома, где жил аббат де Солис. Г-жа Клаас

с печальной радостью наблюдала, как почти восемь месяцев Клаас упорно занимался. Но удар, нанесенный ей, был так жесток, что она впала в состояние болезненной тоски, ухудшавшееся с каждым днем. Наука настолько поглотила Валтасара, что ни несчастья, пережитые Францией, ни первое падение Наполеона, ни возвращение Бурбонов не отвлекли его от занятий; он перестал быть мужем, отцом, гражданином, он стал только химиком. К концу 1814 года г-жа Клаас дошла до такого упадка сил, что ей уже не позволяли вставать с постели. Не желая прозябать в своей спальне, где когда-то она жила счастливо, где воспоминания об исчезнувшем счастье невольно внушали сравнение с настоящим, крайне ее угнетавшее, она переселилась в залу. Такому желанию ее сердца шли навстречу врачи, находившие, что в зале больше воздуха, что эта комната веселее и сейчас больше подходит для г-жи Клаас, чем ее спальня. Кровать, в которой эта несчастная женщина доживала свой век, поставили между камином и окном, выходившим в сад. Здесь провела г-жа Клаас последние свои дни в святых занятиях духовного руководительства обеими дочерьми, которым ей хотелось оставить отблеск своего душевного огня. Супружеская любовь, слабее проявляясь, позволила развернуться любви материнской. Чувства матери долго в ней заглушались, но тем более прекрасны были они теперь. Как всем великодушным людям, г-же Клаас была свойственна возвышенная щепетильность, которую она принимала за угрызения совести. Считая, что она ограбила своих детей, не отдав им всей нежности, на которую они имели право, она старалась искупить воображаемую вину, и теперь дети восхищались ее заботами о них, ее внимательностью; ей хотелось, чтобы они, так сказать, жили в самом ее сердце, хотелось укрыть их слабеющими своими крыльями и в один день излить на них свою любовь за все те дни, когда она не думала о них. Страдания придавали ее ласке, ее словам умилительную теплоту, шедшую прямо из души. Еще прежде, чем произнести нежные слова своим трогательным голосом, она уже ласкала детей глазами, и рука ее, казалось, постоянно призывала на них благословение.

Восстановив было свой пышный образ жизни, дом Клаасов вскоре прекратил приемы, и замкнутость его стала еще полнее. Валтасар уже не праздновал годовщины свадьбы, но город Дуэ этому не удивлялся. Сначала болезнь г-жи Клаас явилась достаточным оправданием такой перемены; затем расплата с долгами приостановила злословие; наконец, постигшие Фландрию политические превратности, война Ста дней, иноземная оккупация отвлекли от химика общее внимание. В течение этих двух лет город так часто бывал накануне своего падения, так беспрерывно занимали его то французы, то вражеские войска, столько побывало здесь иностранцев, столько деревенских жителей нашло здесь себе приют, интересы стольких людей были задеты, стольким людям угрожала гибель, столько произошло перемен и несчастий, что всякий думал лишь о себе.

Лишь аббат де Солис и его племянник да оба брата Пьеркен навещали г-жу Клаас, для которой зима 1814—1815 года была мучительнейшей агонией. Муж редко приходил поговорить с ней. Правда, после обеда он часами просиживал неподалеку от нее, но так как у нее не хватало сил поддерживать долгий разговор, он произносил две-три фразы, вечно одни и те же, садился, умолкал, и в зале воцарялось ужасающее молчание. Разнообразилась эта монотонная жизнь лишь тем, что иногда аббат де Солис с племянником приходили провести вечер в доме Клаасов. Пока аббат играл в триктрак с Валтасаром, Маргарита разговаривала с Эммануилом у постели матери, которая улыбалась невинным их радостям, не давая заметить, каким печальным и в то же время благостным для измученной ее души было свежее веяние девственной любви, переливающейся через край то в одном, то в другом слове. Какая-нибудь интонация голоса, таившая в себе чары для этих юных существ, разбивала ей сердце, перехваченный ею взгляд, которым они говорили без слов, повергал ее, полумертвую, в воспоминания о счастливой молодости, и тем более горьким становилось настоящее. У Эммануила и Маргариты было достаточно чуткости, чтобы воздерживаться от милых ребячеств любви и не растравлять ран больного сердца, о которых они инстинктивно догадывались. Еще никто не отметил, что у чувств есть своя собственная жизнь, что природа их зависит от обстоятельств, среди которых они родились; они хранят и черты тех мест, где выросли, и отпечаток идей, повлиявших на их развитие. Есть страсти, никогда не утрачивающие первоначальной пылкости, — и такой была страсть г-жи Клаас к мужу; есть чувства, которым все улыбается, они всегда сохраняют свою утреннюю веселость, жатва радостей никогда не обходится у них без смеха и праздников; но встречается и любовь, которой суждено существовать лишь в оправе меланхолии, в обрамлении горя; трудно, недешево даются ей радости, омраченные опасениями, отравленные муками совести или полные отчаяния. Любовь, глубоко таившаяся в сердце Эммануила и Маргариты, хотя оба они еще не понимали, что дело идет о любви, это чувство, расцветшее под мрачным сводом галереи Клаасов, рядом со старым суровым аббатом, в минуту молчания и покоя, их любовь, серьезная и скромная, но обильная нежными оттенками, сладостными желаниями, вкушаемыми тайно, как гроздь, украдкой сорванная в винограднике, — их любовь восприняла те темные тона, те серые оттенки, которые господствовали вокруг при ее зарождении. Не смея у скорбного ложа решиться на какое-либо живое проявление любви, эти юные существа, сами того не зная, лишь умножали свои радости, не давая им выхода и тем запечатлевая их в глубине сердца. Радостями полны были для них и заботы о больной, которые любил разделять Эммануил, счастливый тем, что может присоединиться к Маргарите, заранее становясь сыном ее матери. Меланхолическая благодарность на устах молодой девушки заменяла сладенькие речи влюбленных. Когда они

обменивались взглядом, их радостные вздохи из глубины сердца мало отличались от вздохов, исторгаемых зрелищем материнской скорби. Редкие счастливые минуты косвенных признаний, недосказанных слов обета, подавленных порывов откровенности можно сравнить с аллегориями Рафаэля, написанными на черном фоне. В обоих жила одна и та же уверенность, в которой они не признавались друг другу; они знали, что где-то над ними светит солнце, но представить себе не могли, какой ветер разгонит тяжелые черные тучи, нависшие над их головами; они сомневались в будущем и, боясь, что страдания всегда будут их спутником, робко пребывали в сумерках, не смея произнести: «Кончим день вместе?»

За своею нежностью к детям г-жа Клаас, впрочем, благородно прятала те мысли, в которых не признавалась и сама себе. Судьба детей не вселяла в нее ни трепета, ни ужаса, они были для нее утешением, но не были для нее всей ее жизнью: ими она жила, а умирала из-за Валтасара. Как бы тяжело ни было для нее присутствие мужа, погруженного в раздумье по целым часам и лишь время от времени безразлично взглядывавшего на нее, но только в эти жестокие минуты забывала она о своих горестях. Равнодушие Валтасара к умирающей жене показалось бы преступным любому постороннему свидетелю; но г-жа Клаас и ее дочери к этому привыкли, они знали его сердце и прощали ему. Если среди дня у г-жи Клаас наступал новый опасный приступ, если она чувствовала себя хуже и, казалось, вот-вот умрет, во всем доме и во всем городе один только Клаас не знал об этом; знал Лемюлькинье, его лакей; но ни дочери Клааса, которым мать приказывала молчать, ни сама жена не сообщали ему об опасностях, которым подвергалось существо, некогда столь пылко любимое. Как только раздавались шаги его в галерее, когда он шел обедать, г-жа Клаас была счастлива: она его увидит; она собиралась с силами, чтобы вкусить эту радость. В то мгновение, когда он входил, ее бледное, помертвелое лицо вспыхивало румянцем, под которым исчезали следы недуга; ученый подходил к постели, брал ее за руку и видел обманчивую наружность; ему одному Жозефина могла показаться здоровой. Когда он спрашивал: «Дорогая, как вы себя чувствуете?» — она отвечала: «Лучше, мой друг», — и этот рассеянный человек думал, что завтра она встанет, поправится. Валтасара настолько поглотили занятия, что болезнь, грозившую жене смертью, он принимал за простое недомогание. Для всех умирающая, в его глазах она полна была жизни. Последний год привел к тому, что существование супругов пошло совсем вразнь. Спал Клаас отдельно от жены, вставал рано утром и запирался у себя в лаборатории или в кабинете; виделся он с нею только в присутствии дочерей или двух-трех друзей и поэтому отвык от нее. У двух существ, некогда приучившихся думать заодно, теперь лишь изредка бывали минуты непринужденных, задушевных встреч, составляющих жизнь сердца; наконец, прекратились и эти редкие радости. Телесные страдания пришли на помощь

бедной женщине и помогли ей выносить утрату, иначе, если бы в ней еще сохранилась жизнь, сама эта разлука убила бы ее. Она чувствовала невыносимые боли и порою бывала рада, что их не видит тот, кого она все еще любила. Когда по вечерам играли в триктрак, она наблюдала за Валтасаром и, зная, что он по-своему счастлив, сама разделяла это счастье, добытое ею для него. Она довольствовалась такой хрупкой радостью, она не спрашивала себя, любят ли ее, она старалась верить в его любовь и скользила по тонкому слою льда, не смея на него стать, боясь проломить его и утопить сердце в ужасной пустоте. Так как этот покой ничем не нарушался, так как недуг, медленно снедавший г-жу Класс, способствовал душевной умиротворенности, удерживая супружескую любовь в пассивном состоянии, то больная кое-как дотянула до начала 1816 года.

В конце февраля нотариус Пьеркен нанес удар, который вскоре свел в могилу женщину с ангельской, почти безгрешной душою, как говорил аббат де Солис.

— Знаете, — сказал ей нотариус на ухо, улучив минуту, когда дочери не могли слышать их разговора, — господин Клаас поручил мне занять триста тысяч франков под залог его имущества, примите меры, чтобы не были разорены ваши дети.

Жозефина сложила руки и возвела глаза вверх, потом поблагодарила нотариуса любезным кивком головы и печальной улыбкой, растрогавшей его. Слова его были ударом кинжала, смертельным для Пепиты. В тот день она отдалась размышлениям, от которых переполнялось печалью ее сердце, она оказалась в положении путника, когда он, потеряв равновесие от толчка легкого камешка, падает в пропасть, по краю которой долго и смело шагал. Когда нотариус ушел, г-жа Клаас велела Маргарите подать письменные принадлежности, собралась с силами и стала писать завещание. Не раз она останавливалась и смотрела на дочь. Час признаний настал. С тех пор как заболела мать, Маргарита вела все хозяйство и настолько оправдывала надежды умирающей, что г-жа Клаас без отчаяния взирала на будущее, видя себя возрожденной в этом ангеле, любящем и сильном. Разумеется, обе женщины предчувствовали, какими скорбными мыслями придется им поделиться друг с другом, дочь смотрела на мать, едва только та посмотрит на нее, и у обеих на глаза навертывались слезы. Несколько раз, когда Жозефина отрывалась от бумаги, Маргарита произносила: «Мама?» — точно желая поговорить; потом останавливалась, будто ей не хватало дыхания, но мать, поглощенная предсмертными мыслями, не спрашивала, что значит этот вопрос. Наконец, г-жа Клаас стала запечатывать письмо; Маргарита, державшая перед ней свечу, скромно отошла, чтобы не видеть надписи.

— Можешь прочесть, дитя мое! — сказала мать душераздирающим голосом.

Маргарита увидела, что мать надписывает: «Дочери моей Маргарите».

— Когда отдохну, поговорим, — сказала г-жа Клаас, пряча письмо под подушку.

Потом голова ее упала, точно в этом последнем напряжении истощились ее силы, и несколько часов Жозефина спала. Когда она проснулась, обе дочери и оба сына стояли на коленях у кровати и жарко молились. Это было в четверг. Габриэль и Жан только что пришли из коллежа, их привел Эммануил де Солис, уже шесть месяцев как назначенный учителем истории и философии,

— Милые дети, нужно нам проститься! — воскликнула она. — Вы-то меня не забываете, а тот, которого я...

Она не договорила.

— Эммануил, — сказала Маргарита, видя бледность матери, — пойдите скажите отцу, что маменьке стало хуже.

Молодой Солис поднялся по лестнице и при посредстве Лемюлькинье вызвал из лаборатории Валтасара, который на настоятельные просьбы молодого человека ответил:

— Сейчас приду.

— Друг мой, — сказала г-жа Клаас Эммануилу, когда тот вернулся, — уведите мальчиков и сходите за вашим дядей. Настало, кажется, время причаститься в последний раз, я хотела бы принять причастие из его рук.

Оставшись наедине с дочерьми, она сделала знак Маргарите, та поняла и отослала Фелиси.

— И мне нужно с вами поговорить, милая маменька, — сказала Маргарита и, не думая, что матери так плохо, углубила рану, нанесенную Пьеркеном. — Уже десять дней нет денег на домашние расходы, да прислуге я задолжала жалованье за шесть месяцев. Хотела уже два раза попросить денег у отца, но не посмела. Вы не знаете! Ведь картины из галереи и все вина из погреба уже проданы.

— Ни слова об этом он мне не сказал! — воскликнула г-жа Клаас. — Боже мой! Вовремя призываешь ты меня к себе. Бедные дети, что с вами станется? — Она вознесла горячую молитву, и глаза ее светились лаской и раскаянием. — Маргарита, — продолжала она, вынимая письмо из-под подушки, — ты вскроешь его и прочтешь только в том случае, если после моей смерти вы очутитесь в полнейшей бедности, другими словами, без куска хлеба. Милая Маргарита, люби отца, но не оставляй своими заботами и сестру с братьями. Через несколько дней — может быть, через несколько часов — ты станешь хозяйкой в доме! Будь бережлива. Если тебе придется пойти против воли отца, — а это может случиться: ведь он истратил большие суммы, работая над открытием, которое должно доставить ему огромную славу и богатство, и, вероятно, если ему понадобятся деньги, он у тебя попросит, — прояви тогда всю дочернюю нежность сумей примирить нужды семьи, которую ты одна будешь опекать,

с долгом перед отцом, великим человеком, который жертвует своим счастьем, своей жизнью ради прославления семьи; если он в чем и виноват, то лишь по видимости, — намерения его всегда благородны, он такой необыкновенный человек, сердце его полно любви; вы снова увидите его добрым, нежным, вы-то увидите! Я должна была сказать все это тебе, Маргарита, на краю могилы. Если хочешь облегчить мне предсмертные страдания, обещай, дитя, занять мое место возле отца, не причинять ему огорчений; не упрекай его, не суди его! Словом, будь мягкой, снисходительной посредницей, пока он не завершит работу и не станет вновь во главе семьи.

— Понимаю, милая маменька, — сказала Маргарита, целуя воспаленные глаза умирающей, — все будет так, как вам угодно.

— Не выходи замуж, ангел мой, до тех пор, — продолжала г-жа Клаас, — пока Габриэль не в состоянии будет вместо тебя ведать делами и домом. Если ты выйдешь замуж, быть может, твой муж не станет разделять твоих чувств, внесет смуту в семью, будет досаждать отцу.

Маргарита взглянула на мать и спросила:

— Вы мне больше ничего не посоветуете относительно моего замужества?

— Разве у тебя есть колебания, дитя мое? — в ужасе воскликнула умирающая.

— Нет, — отвечала дочь, — обещаю повиноваться вам.

— Бедная девочка, я не умела жертвовать собою ради вас, — добавила мать, проливая горячие слезы, — а теперь я прошу тебя жертвовать собою ради всех! Счастье делает человека эгоистом. Да, Маргарита, я была слабовольна, потому что была счастлива. Будь сильна, сохраняй благоразумие и за тех, у кого его не хватит. Поступай так, чтобы твоим братьям и сестре не в чем было обвинить меня. Люби отца, но не противоречь ему... слишком.

Она уронила голову на подушку и ни слова не добавила; силы ей изменили. Происходившая в ее душе борьба между чувствами жены и матери была слишком тяжела. Через некоторое время явилось духовенство во главе с аббатом де Солисом, и зала наполнилась домочадцами. Когда приступили к совершению обряда, г-жа Клаас, разбуженная духовником, оглядела окружающих и не увидела среди них Валтасара.

— А господин Клаас? — сказала она.

В этих словах заключалась и жизнь ее и смерть, она произнесла их так жалобно, что все присутствующие содрогнулись. Несмотря на свой преклонный возраст, Марта бросилась, как стрела, вбежала по лестнице и настойчиво постучала в дверь лаборатории.

— Барин, барыня умирает! Без вас не начинают соборовать! — крикнула она громко и негодующе.

— Сейчас спущусь, — ответил Валтасар.

Минуту спустя пришел Лемюлькинье и сказал, что барин идет следом за ним. Беспрестанно взглядывала г-жа Клаас на дверь залы, но муж ее появился лишь после того, как обряд был совершен. Аббат де Солис и дети окружили изголовье умирающей. Увидав, что входит муж, Жозефина покраснела, и слезы покатились у нее по щекам.

— Ты, вероятно, заканчивал опыт *по разложению азота*, — сказала она с ангельской кротостью, от которой содрогнулись все присутствующие.

— Это уже сделано! — воскликнул он радостно. — Азот содержит в себе кислород и еще некую невесомую субстанцию [32], которая, вероятно, составляет основу...

Поднялся гул возмущения, прервавший его и вернувший ему сознание окружающего.

— Что вы сказали? — спросил он. — Так тебе хуже? Что такое здесь происходит?

— Происходит вот что, — с негодованием сказал ему на ухо аббат де Солис, — ваша жена умирает, и ее убили вы!

Не дожидаясь ответа, аббат де Солис взял под руку Эммануила и вышел, вслед за ним вышли дети, проводившие его до самого двора. Бальтасар стоял как громом пораженный, он взглянул на жену, и слезы выступили у него на глазах.

— Ты умираешь, и я тебя убил? — вскричал Клаас. — Что он говорит?

— Друг мой, — отвечала она, — я жила только твоей любовью, и, сам того не зная, ты отнял у меня жизнь.

— Уйдите, — сказал Клаас вошедшим детям. — Разве хоть на мгновение переставал я тебя любить? — продолжал он, садясь у изголовья жены, взяв ее руки и целуя их.

— Друг мой, не стану упрекать тебя ни в чем. Ты дал мне много, слишком много счастья; я не могла вынести сравнения между началом нашей с тобой жизни, такой полной, и последними годами, когда ты перестал быть самим собою и жизнь эта сделалась такой опустошенной. Чувства, как и физические явления, не остаются без последствий. Уже шесть лет ты мертв для любви, для семьи, для всего, что было нашим счастьем. Не буду говорить о том блаженстве, которое составляет удел юности, в позднюю пору жизни оно и должно прекратиться; но от него остаются плоды, питающие нашу душу, безграничная доверчивость, нежная привязанность; так вот, ты похитил у меня и эти сокровища, принадлежащие нашему возрасту. Я ухожу вовремя: у нас не было уже никакой общей жизни, ты таил от меня свои мысли, свои поступки. Как это случилось, что ты стал бояться меня? Разве порицала я тебя когда-нибудь хоть единым словом, хотя бы взглядом или жестом? И что же? Ты продал последние картины, продал даже вина из погреба и снова берешь взаймы под залог имения, а мне об этом ни слова?.. Ах! Я уйду из

жизни, полная отвращения к ней. Если ты делаешь ошибки, если ты ослеп в погоне за невозможным, разве я не доказала тебе, что во мне довольно любви, чтобы кротко делить с тобою ошибки, все время идти с тобой рядом, даже если ты поведешь по пути преступления? Ты слишком меня любил когда-то; в том моя слава, в том мое горе. Болезнь моя длится уже давно, Валтасар; она началась в тот день, когда на этом же месте, где я умираю, ты ясно показал мне, что больше принадлежишь науке, чем семье. И вот жены твоей нет больше в живых, а состояние твое растрачено. Состояние и жена тебе принадлежали, ты мог ими распоряжаться, но в тот день, когда меня не станет, мое состояние перейдет к детям и станет для тебя неприкосновенно. Что будет с тобою? Теперь я обязана сказать тебе правду, умирающие дальновидны! Что отныне будет противовесом проклятой страсти, на которой ты построил свою жизнь? Если ты пожертвовал мною, то дети для тебя ничтожное препятствие, ведь я должна отдать тебе справедливость и признать, что была для тебя дороже всего. Два миллиона, шесть лет работы брошены в пучину, и ничего ты не нашел...

При этих словах Клаас уронил седую голову и закрыл лицо руками.

— И ничего ты не добьешься, кроме позора для себя, нищеты для детей, — продолжала умирающая. — Уже зовут тебя в насмешку Клаас-алхимик, а позже скажут: Клаас-сумасшедший! Я-то в тебя верю. Я знаю, что ты велик, учен, гениален; но для толпы гениальность подобна безумию. Слава — солнце мертвых; при жизни ты будешь несчастен, как все великие люди, и разоришь детей. Я ухожу, не порадовавшись твоей известности, которая утешила бы меня в утрате счастья. И вот, милый Валтасар, чтобы смерть стала мне не так горька, мне нужна уверенность в том, что у наших детей будет кусок хлеба; но ничто не может успокоить мою тревогу, и ты не можешь...

— Клянусь, — сказал Клаас, — в том...

— Не надо клятв, друг мой, как бы не пришлось их нарушить, — прервала она. — Ты обязан был проявить заботу о нас, а почти семь лет мы ее лишены. Вся жизнь для тебя в науке. У великого человека не должно быть ни жены, ни детей. Идите в одиночестве путями нищеты! Ваши добродетели — не те, что у обыкновенных людей, вы принадлежите всему миру и не можете принадлежать ни жене, ни семье. Возле вас сохнет земля, как возле больших деревьев! Я, бедное деревце, не могла подняться так высоко и умираю, когда ты достиг лишь середины жизни. Я ждала последнего дня, чтобы высказать тебе эти ужасные мысли, открывшиеся мне только при вспышках скорби и отчаяния. Пощади моих детей! Да звучат эти слова в твоем сердце! Я буду твердить их до последнего вздоха. Ты видишь, жена твоя уже мертва! Медленно, постепенно угашал ты в ней чувства, лишал ее радостей! Увы! Без этой жестокой предосторожности, невольно проявленной тобою, разве я про-

жила бы так долго? Но ведь бедные дети меня не покидали — они выросли, пока я страдала, и мать пережила во мне жену. Пощади, пощади наших детей!

— Лемюлькинье! — крикнул Валтасар громовым голосом.

Старый слуга сразу появился.

— Немедленно все уничтожьте там наверху, машины, аппараты; действуйте осторожно, но разломайте все. Я отказываюсь от науки, — сказал Клаас жене.

— Слишком поздно, — отвечала Жозефина и взглянула на Лемюлькинье. — Маргарита! — воскликнула она, чувствуя, что умирает.

Маргарита появилась на пороге и пронзительно закричала, увидев тускнеющие глаза матери.

— Маргарита! — повторила умирающая.

В этом последнем восклицании заключался такой страстный призыв к дочери, г-жа Клаас придала ему такой повелительный характер, что оно прозвучало подлинным завещанием. Сбежалось встревоженное семейство, и все увидели, что г-жа Клаас умирает, — последние ее жизненные силы истощились в разговоре с мужем. Валтасар и Маргарита, стоявшие недвижимо — она у изголовья, он у ног, — не могли поверить в смерть этой женщины, все добродетели, вся неистощимая нежность которой известны были только им. Отец и дочь обменялись недоверчивыми взглядами: дочь судила отца, отец уже опасался, что дочь станет орудием мщения. Хотя воспоминания о любви, которой жена наполняла его жизнь, собрались толпою, осаждая его память и придавая последним словам покойницы священную силу, так что всегда должен был слышаться ему этот голос, — однако Валтасар не мог поручиться за себя; воля его была слаба для поединка с его гением; раздался грозный ропот его страсти, боровшейся с раскаянием, внушавшей ему ужас перед самим собой. Когда не стало Жозефины, всякий понял, что у дома Клаасов была душа и что душа эта исчезла. Горе семьи было так сильно, что зала, где все еще как будто чувствовалось присутствие благородной женщины, оставалась запертой: никто не решался туда войти.

Общество не проявляет ни одной из тех добродетелей[33], которых требует от людей; всякий час совершает оно преступления, хотя и пользуется для этого только словом: шуткой подготовляет оно дурные поступки, насмешкой унижает все прекрасное; оно смеется над сыновьями, чрезмерно плачущими об отцах, предает анафеме тех, кто плачет недостаточно; а затем оно забавляется, оценивая еще не охладевшие трупы... Вечером того дня, когда скончалась г-жа Клаас, ее друзья бросили несколько цветов на ее могилу между двумя партиями в вист и воздали должное прекрасным ее качествам, ходя с червей или с пик. А после кое-каких слезливых фраз, после всех этих азбучных изречений, выражающих общее прискорбие, которые с той же интонацией, столь же про-

чувствованно в любой час произносятся во всех городах Франции, — все принялись подсчитывать наследство. Начал Пьеркен, указав при обсуждении этого события, что смерть превосходной женщины является для нее благом — слишком много горя доставлял ей муж; что для детей это еще большее благо, — она не могла бы отказать обожаемому мужу в деньгах, меж тем как теперь Клаас уже не имеет права распоряжаться ими. И вот все принялись оценивать наследство бедной г-жи Клаас, прикидывать, сколько у нее сбережений — сберегла ли что-нибудь, или не сберегла? — составлять опись драгоценностям, обозревать ее платья, перерывать ящики, в то время как семейство, постигнутое горем, плакало и молилось вокруг смертного ложа. Взглядом эксперта-оценщика Пьеркен исчислял, что наследники г-жи Клаас, выражаясь его языком, ничего не потеряли и что ее состояние должно доходить до полутора миллионов, возмещаемых либо лесами Вэньи, которые за двенадцать лет достигли огромной стоимости (при этом он стал высчитывать, сколько было строевого лесу, сколько было оставлено поросли, сколько старых деревьев, сколько молодняка), — либо имением Валтасара, который еще располагает возможностью уплатить наследникам разницу, если при ликвидации не окажется с ними в расчете. Маргарита Клаас была, как выражался он на своем жаргоне, невеста на четыреста тысяч франков.

— Но ей необходимо выйти замуж теперь же, — добавил он, — и таким образом получить свободу действий, иметь право продать с аукциона лес Вэньи, выделить имущество малолетних и употребить его так, чтобы отец его не касался, в противном случае Клаас, конечно, способен разорить своих детей.

Все стали прикидывать, кто из здешних молодых людей мог бы претендовать на руку Маргариты Клаас, но никто не оказал нотариусу любезности счесть его достойным искателем ее руки. Нотариус же находил основания отвергать каждую из предлагаемых партий, как недостойную Маргариты. Собеседники, улыбаясь, посматривали друг на друга и с удовольствием продолжали разыгрывать эту провинциальную шутку. В смерти г-жи Клаас Пьеркен видел событие, благоприятное для своих притязаний, и ради собственных выгод уже разнимал ее труп на куски.

«Добрая женщина была горда, как павлин, и никогда не выдала бы за меня дочь! — думал он, вернувшись домой и ложась спать. — Эге! Не начать ли мне теперь маневры таким манером, чтобы жениться на ней? Папаша Клаас совсем угорел от своего углерода и о детях уже не заботится; если я попрошу у него руки Маргариты, убедив ее заранее в настоятельной необходимости выйти замуж, чтобы спасти состояние братьев и сестры, то он будет рад освободиться от дочери, чтобы не подвергаться опасности ее придирчивого надзора».

Он заснул, предвкушая семейные радости, обеспеченные контрактом, обдумывая, какие выгоды даст ему это дело и какие гарантии счастья

найдет он в девице, супругом которой намеревался стать. Трудно было встретить в провинции молодую особу, способную затмить Маргариту нежной красотой и воспитанием. По скромности, по изяществу можно было ее сравнить с милым цветком, который не смел назвать при ней Эммануил, боясь обнаружить таким образом тайные желания сердца. Постоянная в своих чувствах, твердая в религиозных убеждениях, она должна была стать целомудренной супругой и могла не только льстить тщеславию, проявляемому в той или иной степени всяким мужчиной при выборе жены, но и удовлетворить гордость нотариуса благодаря тому, что во Фландрии ее семья, вдвойне родовитая, пользовалась огромным почетом, который с нею предстояло разделить ее мужу. На следующий день Пьеркен вынул у себя из кассы несколько билетов по тысяче франков и дружески предложил их Валтасару, чтобы избавить его от денежных хлопот в такие печальные дни. Валтасар, как предполагал нотариус, должен был, тронутый деликатностью его забот, расхвалить дочери и доброту нотариуса и вообще его самого. Ничего подобного не случилось. Клаас с дочерью нашли этот поступок вполне естественным; до такой степени они предались горю, что им некогда было думать о Пьеркене. В самом деле, так глубоко было отчаяние Валтасара, что даже люди, склонные порицать его поведение, все ему простили — не столько во имя науки, которая еще могла бы его извинить, сколько ради его скорби, которая ничего не могла исправить. Свет удовлетворяется гримасами; он довольствуется тою же монетой, какою сам платит, а пробы не проверяет; для него горе — зрелище, нечто вроде развлечения, из-за которого он всякого простит, даже преступника; в своей жадности до эмоций он без различия оправдывает и тех, кто его рассмешил, и тех, кто его растрогал до слез, и не спрашивает отчета в употребленных ими средствах.

Маргарите исполнилось девятнадцать лет, когда отец передал ей управление всем домом, авторитет ее благоговейно признавали и сестра и братья, которым в последние минуты своей жизни г-жа Клаас наказала повиноваться старшей сестре. Трауром оттенялась белизна и свежесть ее лица, так же как печалью еще подчеркивались ее кротость и терпеливость. Уже с первых дней она дала немало доказательств той женской бодрости, той постоянной ясности души, которые, должно быть, есть у ангелов, призванных изливать мир на страждущие сердца, касаясь их своей зеленой пальмовой ветвью. Но если она, уже в столь юном возрасте уразумев свой долг, привыкла утаивать горести, они от того становились еще более жгучими; внешнее спокойствие не соответствовало ее впечатлительности: ей было дано рано познать грозные вспышки чувства, сдерживать которые сердце не всегда бывает в силах; из-за отца ей приходилось беспрестанно страдать от столкновения между своим великодушием, свойственным юности, и настоятельными требованиями необходимости. Расчеты по дому, одолевшие ее на следующий же день после смерти

матери, познакомили ее с житейскими делами в ту пору, когда молодым девушкам знакомы только удовольствия. Ужасная школа страданий, неизбежная для всех ангельских натур! Нет более упрямой страсти, чем любовь, подкрепляемая жадностью к деньгам и тщеславием: Пьеркен рьяно пытался завлечь наследницу в свои сети. Едва прошло несколько дней траура, как он уже искал случая поговорить с Маргаритой и приступил к делу так ловко, что она могла бы обмануться; но любовь одарила ее прозорливостью, не позволила ей поверить видимости, тем более подкупающей, что в данном случае Пьеркен пускал в ход свойственную ему доброту — доброту нотариуса, который думает, что попечение о талерах и есть любовь. Опираясь на сомнительное родство, на установившееся у Клаасов обыкновение поручать ему все дела и вводить его в тайны семьи, уверенный в дружеском уважении к себе со стороны отца, пользуясь беспечностью ученого, у которого не было никакого определенного проекта касательно дочери, и не предполагая, что у Маргариты может быть какая-нибудь сердечная склонность, он обнаружил перед нею свои намерения, открыто подменяя страсть соображениями обоюдной выгоды, самыми ненавистными для юных сердец. Но он-то и оказался наивным, меж тем как она прибегла к притворству — именно потому, что он рассчитывал иметь дело с беззащитной девушкой и не принял во внимание, какие преимущества дает слабость.

— Дорогая кузина, — сказал он Маргарите, прогуливаясь с нею по дорожке садика, — вам известно мое чистосердечие, и вы знаете, как велика моя готовность уважать скорбь, постигшую вас в настоящий момент. Для нотариуса у меня слишком чувствительная душа, я живу только сердцем, а принужден постоянно заботиться о чужих материальных интересах, вместо того чтобы предаваться нежным чувствам, составляющим счастье в жизни. Поэтому мне очень больно, что я вынужден говорить с вами о планах, не соответствующих состоянию вашей души, — однако это необходимо. Я много думал о вас за последние дни. Я только что узнал, что по странной случайности состоянию ваших братьев, сестры, а также и вашему собственному угрожает опасность. Хотите вы спасти семью от полного разорения?

— А что нужно для этого сделать? — спросила она, почти испугавшись его слов.

— Выйти замуж, — ответил Пьеркен.

— Нет, не выйду! — воскликнула она.

— Выйдете, — продолжал нотариус, — когда зрело обдумаете, в каком критическом положении вы находитесь...

— Каким образом мой брак может спасти?..

— Вот в этом-то все дело, Маргарита, — прервал нотариус. — Брак дает независимость!

— А зачем мне независимость? — спросила Маргарита.

— Затем, чтобы вступить во владение имуществом, милый мой друг, — сказал нотариус победоносным тоном. — В таком случае к вам перейдет ваша часть материнского наследства. Чтобы выделить ее, нужна ликвидация, а для ликвидации ведь придется продать с публичных торгов лес Вэньи! Раз это будет сделано, то все наследственные ценности будут обращены в деньги, и ваш отец в качестве опекуна обязан будет поместить долю ваших братьев и сестры так, что для химии она уже будет недосягаема.

— А в противном случае что произойдет? — спросила она.

— А то, — сказал нотариус, — что ваш отец будет управлять имением. Если ему вновь будет угодно делать золото, он может продать лес Вэньи, и вы все останетесь нагишом, как маленький Иоанн Креститель. Лес стоит в настоящий момент около миллиона четырехсот тысяч франков; но не сегодня-завтра ваш отец срубит его начисто, и ваши тысяча триста арпанов не будут стоить и трехсот тысяч франков. Не лучше ли избежать почти верной опасности и теперь же произвести раздел в связи с вашим вводом во владение? Таким образом вы спасете леса от порубки, которую отец ваш мог бы впоследствии произвести в ущерб вам. Теперь же, пока химия погружена в сон, он непременно обратит деньги, полученные при ликвидации, в бумаги государственного казначейства. Фонды ходят теперь по пятидесяти девяти, у детишек будет почти по пяти тысяч ливров доходу на каждые пятьдесят тысяч франков; а ввиду того, что нельзя вынимать капитал, принадлежащий малолетним, у ваших братьев и сестры к их совершеннолетию состояние удвоится. Тогда как иначе, честное слово... Ну, вот... Впрочем, ваш отец поубавил имущество вашей матери, инвентаризация покажет, каков дефицит. Если он окажется должником, вы получите закладную на его имения и что-нибудь спасете.

— Фи! — сказала Маргарита. — Это было бы оскорблением для отца! Слишком недавно прозвучали последние слова моей матери, чтобы я могла забыть их. Мой отец не способен ограбить детей, — сказала она, и слезы скорби выступили у нее. — Вы не знаете его, господин Пьеркен.

— Но если ваш отец, милая Маргарита, вновь примется за химию, то...

— Мы будем разорены, не так ли?

— О! Совершенно разорены! Поверьте, Маргарита, — сказал он, прижимая ее руку к сердцу, — я не выполнил бы своего долга, если бы не настаивал. Только ваши интересы...

— Послушайте, — холодно сказала Маргарита, отнимая руку, — подлинные интересы семьи требуют, чтобы я не выходила замуж. Таково было мнение маменьки.

— Друг мой, это самоубийство, вы в воду бросаете наследство матери! — вскричал он со всей искренностью, как делец, огорченный гибелью целого состояния. — В таком случае я признаюсь, какую исключительную

дружбу я питаю к вам! Вы не знаете, как я вас люблю! Обожаю вас с того дня, когда ваш отец устроил последний бал! Вы были восхитительны. Отнеситесь с доверием к деловым соображениям, когда они высказываются от всего сердца, дорогая Маргарита...

Он помолчал.

— Да, мы созовем семейный совет и, не спрашивая вас, сделаем вас правомочной.

— Что это такое быть правомочной?

— Это значит пользоваться своими правами.

— Если я могу стать правомочной, не выходя замуж, почему же вы хотите, чтоб я вышла? .. И за кого?

Пьеркен попытался нежно взглянуть на нее, но такое выражение столь мало соответствовало жесткому взору этого человека, привыкшего разговаривать лишь о деньгах, что Маргарита заподозрила расчет в такой внезапной нежности.

— Вы могли бы выйти за того, кто вам понравится... в нашем городе... — продолжал он. — Муж вам необходим, даже в практическом смысле. Вам придется иметь дело с отцом. Если вы будете одна, сможете ли вы противиться ему?

— Да, я сумею защитить братьев и сестру, когда понадобится!

«Черт возьми, вот болтушка!» — подумал Пьеркен.

— Нет, вы не сумеете ему противиться, — ответил он вслух.

— Поговорим о чем-нибудь другом, — сказала она.

— Прощайте, дорогая, постараюсь быть полезным вам помимо вашего желания и докажу, как я люблю вас, — я защищу вас помимо вашего желания от беды, которую все в городе предвидят.

— Благодарю за заботливость, но умоляю вас не задумывать и не предпринимать ничего такого, что хоть сколько-нибудь может огорчить отца.

Маргарита задумчиво глядела вслед Пьеркену: его металлический голос, его движения, отличавшиеся, правда, гибкостью, но лишь гибкостью пружины, его взгляд, выражавший скорее угодливость, чем мягкость, — она сравнивала с той мелодической поэзией без слов, которой облечены были чувства у Эммануила. Существует удивительный магнетизм, позволяющий безошибочно расценить все, что бы вы ни делали, что бы вы ни говорили. Звуку голоса, взгляду, страстным жестам влюбленного можно подражать, молодую девушку ловкий актер может обмануть, — но чтобы добиться успеха, не должен ли он быть в единственном числе? А если возле девушки есть душа, вибрирующая в унисон с ее чувствами, разве она не распознает сейчас же выражение истинной любви? Эммануила, как и Маргариту, в это время угнетали тучи, роковым образом с самой их встречи мрачно нависшие над ними и закрывшие от них голубое небо любви. Обожание, которое он питал к своей избраннице, было безнадежным, а потому тихим и сокровенным, благоговейным в своих проявлениях.

Не будучи богат, по общественному своему положению стоя очень далеко от Маргариты, он ничего не мог ей предложить, кроме знатного имени, и не рассчитывал стать ее мужем. Он все-таки ждал от Маргариты каких-нибудь знаков ободрения, но на глазах слабеющей, умирающей матери та не решалась их подать. Одинаково чистые, они, таким образом, еще не произнесли ни единого слова любви. Их радости были радостями неразделенными, которые людям несчастным приходится вкушать наедине с собою. Оба трепетали, но трепетали порознь, хотя и предавались одной и той же лучезарной надежде: казалось, они боятся самих себя, уже слишком часто чувствуя, что они созданы друг для друга. Так, Эммануил опасался хотя бы коснуться руки своей повелительницы, которой он воздвиг святилище в своем сердце. При самом безобидном прикосновении слишком сильно вспыхнула бы его страсть, и он перестал бы владеть своими разбушевавшимися чувствами. Но, хотя ни разу они не дали друг другу доказательств, хрупких и великих, невинных и глубоких, которые позволяют себе самые робкие влюбленные, все же они настолько жили один в сердце другого, что были оба готовы на величайшие жертвы — единственное наслаждение, доступное им. Со смертью г-жи Клаас их потаенная любовь задыхалась под траурным крепом. Та сфера, где они жили, из темной сделалась черной, свет там застили слезы. Сдержанность Маргариты сменилась почти холодностью: ей надлежало соблюсти данную матери клятву; и, сделавшись свободнее, чем прежде, она стала строже. Эммануил разделял со своей возлюбленной ее скорбь, понимая, что малейшая любовная мольба, самая обычная настойчивость была бы оскорблением законов сердца. Таким образом, та большая любовь стала еще более скромной, чем когда-либо. Их нежные души звучали по-прежнему в лад; но их разделяло горе, как раньше разделяли юношеская робость и уважение к страданиям умирающей, — поэтому они все еще ограничивались чудесным языком взглядов, немым красноречием поступков, говорящих о преданности, постоянным общением — высшей гармонией молодости, первыми ребяческими шагами любви. Каждое утро Эммануил являлся узнать, что нового у Клааса и Маргариты, но входил в столовую только в том случае, если приносил письмо от Габриэля или сам Валтасар просил его зайти. Первый же взгляд, брошенный им на девушку, говорил ей о тысяче мыслей, полных сочувствия к ней: о том, что ему мучительна сдержанность, требуемая приличиями, что он не забыл Маргариты, что он делил с нею печаль — словом, росу своих слез проливал он на сердце подруги в этом взгляде, где не сквозил никакой расчет. Славный юноша до такой степени жил настоящим, так дорожил счастьем, которое считал скоротечным, что порою Маргарита упрекала себя за то, что она великодушно не протянет руки со словами: «Будемте друзьями!»

Пьеркен не оставлял Маргариты в покое, выказывая упрямство, которое является не чем иным, как тупой терпеливостью дурака. Он приме-

нял к Маргарите обычные мерки, принятые у большинства при оценке женщин. Он думал, что если заронил ей в душу слова: *брак, свобода, богатство*, то они дадут ростки в ее душе и расцветут решением, могущим обратиться ему на пользу, и воображал, что холодность ее притворна. Но, несмотря на то, что он окружал ее заботами и галантным вниманием, ему плохо удавалось скрыть свои деспотические замашки, порожденные привычкой решать единым махом самые важные вопросы семейной жизни. Утешая ее, он прибегал к избитым фразам, обычным для людей его профессии, которые улиткой вползают в чужую душу и оставляют длинный след сухих слов, способных обесцветить всю святость горя. Нежность его была сродни желанию подольститься. Уже при выходе, надев галоши и взяв в руки зонтик, он оставлял за порогом свою напускную меланхолию. Тем тоном, на который ему давала право давнишняя близость, он пользовался как орудием, чтобы глубже проникнуть в круг семьи и склонить Маргариту на брак, о котором заранее трубил по всему городу. Итак, любовь настоящая, преданная, почтительная разительно отличалась от любви эгоистичной и расчетливой. Все по-своему было цельно и у Пьеркена, и у Эммануила. Один разыгрывал комедию страстной любви и малейшими своими преимуществами пользовался, чтобы иметь возможность жениться на Маргарите, другой прятал свою любовь, боялся показать свою преданность. Через некоторое время после смерти матери, в один и тот же день, Маргарита могла сравнить двух этих мужчин, которые только и были доступны ее оценке. Она была обречена вести уединенный образ жизни и до сих пор не могла бывать в свете, а обстоятельства закрыли двери в дом Клаасов для всех, кто мог предложить ей свою руку. Однажды после завтрака, в прекрасное апрельское утро, пришел Эммануил, в ту минуту когда Клаас выходил из дому. Так невыносимо чувствовал себя Валтасар дома, что ежедневно он надолго уходил гулять вдоль городского вала. Эммануил хотел было идти вместе с Валтасаром, но колебался, как будто собираясь с духом, затем он робко взглянул на Маргариту и остался. Маргарита догадалась, что учитель хочет поговорить с ней, и предложила ему пройти в сад. Она отослала Фелиси к Марте, которая работала в передней второго этажа; в саду Маргарита села на скамью, где могли ее видеть сестра и старая дуэнья.

— Господина Клааса поглотило горе так же, как прежде поглощали его ученые изыскания, — сказал молодой человек, глядя, как Валтасар медленно идет по двору. — Все в городе его жалеют; он ходит как потерянный; затем вдруг остановится, смотрит и ничего не видит...

— У всякого горе выражается по-своему, — сказала Маргарита, подавляя слезы. — Что хотели вы мне сказать? — помолчав, продолжала она с холодным достоинством.

— Имею ли я право, — отвечал Эммануил взволнованно, — обратиться к вам с теми словами, которые вы сейчас услышите? Прошу вас видеть

с моей стороны только желание быть вам полезным, и позвольте мне считать, что учитель может интересоваться судьбой своих учеников настолько, чтобы беспокоиться и об их будущем. Вашему брату Габриэлю минуло пятнадцать лет, он теперь в старших классах, и, разумеется, необходимо направлять его занятия в соответствии с поприщем, которое он изберет. Но в таком вопросе все зависит от вашего отца; а если он об этом не подумает, не будет ли это несчастьем для Габриэля? И вместе с тем не оскорбится ли ваш отец, если вы дадите ему понять, что он не заботится о сыне? Поэтому вам, пожалуй, стоило бы расспросить брата о его вкусах, побудить его самого выбрать себе поприще, так что, если отец впоследствии захочет сделать из него судью, администратора, военного, у Габриэля будут уже налицо специальные познания. Вряд ли вы или господин Клаас хотели, чтобы он жил в праздности...

— О нет! — сказала Маргарита. — Благодарю вас, Эммануил, вы правы. Моя мать, приказывая нам плести кружева, так заботливо обучая нас рисованию, шитью, вышивке, игре на фортепьяно, часто говаривала нам, что неизвестно, какое будущее нас ожидает. Габриэль должен стать самостоятельным человеком и завершить свое образование. Но какая же карьера всего лучше?

— Габриэль в своем классе идет первым по математике, — сказал Эммануил, трепеща от счастья. — Если он захочет поступить в Политехническую школу, я думаю, там он приобретет познания, полезные при всякой карьере. По окончании он будет иметь возможность выбрать, что больше всего ему по душе. Нисколько не предопределяя его будущего, вы не потеряете даром времени. Кто с отличием кончает Политехническую школу, того охотно принимают всюду. Из нее вышло немало администраторов, дипломатов, ученых, инженеров, генералов, моряков, судей, промышленников и банкиров. Совсем не редкость увидать, что молодой человек из богатой или родовитой семьи усердно работает, готовясь поступить туда. Если Габриэль решит это сделать, я просил бы вас... не предоставите ли вы мне возможность... Скажите «да!».

— Что вы хотите?

— Быть его репетитором, — сказал он, весь дрожа.

Маргарита взглянула на де Солиса, пожала ему руку и произнесла:

— Да! — Она помолчала и прибавила взволнованно: — Как я ценю вашу чуткость! Вы предложили именно то, что я могу от вас принять! В ваших словах видна искренняя забота о нас. Благодарю вас.

Хотя эти слова были сказаны совсем просто, Эммануил отвернулся, чтобы скрыть слезы, выступившие у него на глазах от радости, что он сделал приятное Маргарите.

— Я приведу вам обоих ваших братьев, — сказал он, немного успокоившись, — завтра отпускной день.

Он встал, поклонился Маргарите, которая пошла его проводить; со двора он увидел, что она стоит в дверях столовой и дружески кивает ему.

После обеда явился к Клаасу нотариус и уселся в саду между ним и Маргаритой, на ту же скамейку, где сидел Эммануил.

— Дорогой кузен, нынче я зашел поговорить о делах... Сорок три дня прошло со времени кончины вашей жены...

— Не считал их, — сказал Валтасар, отирая слезы, навернувшиеся у него при этом официальном слове «кончина».

— О! — сказала Маргарита, взглянув на нотариуса. — Как это вы можете?..

— Ведь люди нашей профессии, мадмуазель Маргарита, обязаны высчитывать сроки, определенные законом. Дело идет именно о вас и ваших сонаследниках. Так как у господина Клааса только несовершеннолетние дети, ему надлежит в сорокапятидневный срок после кончины супруги составить инвентарную опись, чтобы определить стоимость имущества, находящегося в совместном владении. Разве не нужно знать, в каком оно состоянии, хорошем или плохом, чтобы принять его или выступить в защиту законных прав несовершеннолетних наследников?

Маргарита поднялась.

— Останьтесь, кузина, — сказал Пьеркен. — Эти дела касаются вас обоих, и вас и вашего отца. Вы знаете, какое участие я принимаю в вашем горе; но необходимо нынче же обсудить все обстоятельства, иначе вам, той и другой стороне, грозят большие беды! В настоящий момент я исполняю долг домашнего нотариуса.

— Он прав, — сказал Клаас.

— Срок истекает через два дня, — продолжал нотариус. — Итак, я должен уже завтра приступить к составлению инвентарной описи, хотя бы только для того, чтобы отсрочить оплату прав на наследство, которой потребует от вас государственное казначейство; у казначейства нет сердца, оно не считается с чувствами и в любое время налагает на вас лапу. Далее, каждый день, с десяти до четырех, я буду работать здесь со своим письмоводителем и оценщиком, господином Рапарлье. Когда кончим в городе, отправимся в деревню. Что же касается леса Вэньи, об этом поговорим особо. Итак, перейдем к другому пункту. Нам предстоит созвать семейный совет, чтобы назначить заместителя опекуна. Господин Конинкс из Брюгге является самым близким вашим родственником, — но он теперь бельгиец! Вам следовало бы, кузен, написать ему в связи со всем этим, выяснить, не намерен ли он поселиться во Франции, где он владеет прекрасными имениями. Вы могли бы убедить его переехать вместе с дочерью во французскую Фландрию. Если он откажется, я позабочусь о созыве совета согласно степеням родства.

— Зачем нужна опись? — спросила Маргарита.

— Чтобы определить имущественные ценности, права, актив и пассив. Когда все это приведено в ясность, семейный совет в интересах несовершеннолетних принимает решения, которые считает...

— Пьеркен, — сказал Клаас, поднимаясь со скамейки, — приступайте к действиям, которые вы найдете необходимыми для охраны прав моих детей. Только избавьте нас от огорчения видеть, как распродается то, что принадлежало дорогой моей...

Он не кончил, он произнес эти слова так благородно и проникновенно, что Маргарита взяла руку отца и поцеловала.

— До свидания, до утра! — сказал Пьеркен.

— Приходите к нам завтракать, — сказал Валтасар.

Потом Клаас, казалось, напряг память и вдруг воскликнул:

— Да, но согласно брачному контракту, — а ведь он заключен по обычаям Геннегау, — я избавил жену от инвентарной описи, чтобы ее не беспокоить, да, вероятно, и сам не производил никаких описей.

— Ах! какое счастье! — сказала Маргарита. — С ними было бы нам столько неприятностей.

— Хорошо, познакомимся завтра с вашим брачным контрактом, — ответил нотариус, слегка смутившись.

— Так вы с ним не знакомы? — спросила Маргарита.

Этим замечанием разговор был прерван. Нотариус смешался и умолк.

«Тут сам черт мутит, — размышлял он, проходя по двору. — Такой рассеянный человек, а как нарочно все вспомнил именно в ту минуту, когда против него готовы приняты меры предосторожности. Дети будут ограблены! Это верно, как дважды два четыре. Вот и говорите о делах с девятнадцатилетними чувствительными барышнями! Я ломал себе голову, как спасти имущество детей, опираясь на установленные нормы и заручившись поддержкой старика Конинкса... А тут, извольте! Я погиб во мнении Маргариты, она теперь спросит у отца, почему я настаиваю на описи, которую она считает излишней. И скажет ей Клаас, что нотариусы одержимы манией составлять акты и что мы прежде всего нотариусы, а не родственники, не кузены, не друзья, — словом, наговорит всяких глупостей...»

Он хлопнул дверью, посылая к черту клиентов, разоряющихся из-за чувствительности. Валтасар был прав. Ни в какой инвентарной описи надобности не оказалось. Имущественные взаимоотношения отца и детей, таким образом, остались неопределенными. Прошло несколько месяцев, в доме Клаасов все шло по-прежнему. Габриэль, искусно руководимый де Солисом, который сделался его наставником, прилежно работал, изучал иностранные языки и готовился к экзамену в Политехническую школу. Фелиси и Маргарита жили очень замкнуто, а на летние месяцы переезжали для экономии в загородный дом отца. Клаас занялся делами, выплатил долги, взяв значительную сумму под залог, и съездил в лес

Вэньи. К середине 1817 года печаль его несколько улеглась, но в одиночестве ничто не спасало его от однообразия жизни, которое стало ему в тягость. Сначала он мужественно боролся с пробуждавшейся мало-помалу Наукой и запрещал себе помышлять о Химии. Потом начал думать о ней. Но заниматься практическими опытами он не решился, ограничившись теорией. Непрерывные занятия пробудили его страсть, и она начала его одолевать.

Он стал рассуждать, обязан ли прекратить свои изыскания, и вспомнил, что жена не потребовала с него клятвы. Хотя он и обещал самому себе не гнаться за решением проблемы, но нельзя ли нарушить слово, раз он предвидит успех? Ему уже исполнилось пятьдесят девять лет. К этим годам овладевшая им мысль приобрела ту навязчивость, которая свидетельствует о начинающейся мономании. Обстоятельства, как нарочно, еще содействовали искушению. Воцарившийся в Европе мир способствовал обмену открытиями и идеями, обогатившими за время войны науку различных стран, которые совсем не общались друг с другом почти двадцать лет. А наука на месте не стояла. Клаас обнаружил, что, помимо воли химиков, сам прогресс химии направил научную мысль к предмету его исканий. Люди, углубленные в подлинную науку, полагали, как и он, что свет, теплота, электричество, гальванизм и магнетизм суть различные следствия одной и той же причины, что различие, существующее между телами, которые до сих пор считались простыми, должно происходить от различия в дозах неизвестного вещества. Из-за боязни, как бы кто-нибудь другой не открыл превращения металлов и состава электричества — а эти два открытия приводили к решению проблемы химического Абсолюта, — еще возросло его сумасшествие (если пользоваться выражением обитателей Дуэ), и его тоска достигла крайней степени, что поймет всякий человек, страстно преданный науке или познавший тиранию идей. Таким образом, вскоре Валтасара опять увлекла его страсть, тем более сильная, чем долее она дремала. Маргарита, внимательно следившая, как менялось душевное состояние отца, открыла двери залы. Пребывание там, где умерла г-жа Клаас, оживило у Валтасара скорбные воспоминания о ней, и Маргарите действительно удалось пробудить в отце печаль, замедлить падение его в бездну, которое тем не менее было неизбежно. Она решила бывать в обществе и принудила Валтасара развлекаться. Хорошие партии, несколько раз предлагавшиеся ей, на недолгое время заняли ум Клааса, хотя Маргарита и объявила, что не выйдет замуж прежде, чем ей минет двадцать пять лет. Несмотря на усилия дочери, несмотря на свою жестокую внутреннюю борьбу, в начале зимы Валтасар возобновил тайком свои работы. Но от любопытных женщин трудно утаить подобные занятия. И вот однажды, одевая Маргариту, Марта сказала ей:

— Барышня, мы погибли! Чудище Мюлькинье, сущий дьявол в человечьем обличье, — ведь никогда я не видала, чтобы он крестным знаме-

нием себя осенил! — уже водворился на чердаке. Вот барин и отбывает прямою дорогой в ад... Дай бог, чтоб он не уморил вас, как уморил бедную барыню!

— Не может этого быть, — сказала Маргарита.

— Взгляните-ка сами.

Маргарита подбежала к окну и действительно заметила, что легкий дымок выходит из трубы лаборатории.

«Через несколько месяцев мне минет двадцать один год, — подумала она, — я положу предел этому расточительству».

Предавшись своей страсти, Валтасар, конечно, еще меньше стал считаться с интересами детей, чем считался с женой. Преграды не так были велики, совесть стала сговорчивей, страсть сильнее. И вот он устремился по пути славы, труда, надежды и нищеты с неистовством человека, убежденного в своей правоте. Уверенный в успехе, он принялся работать день и ночь с увлечением, пугавшим дочерей, которые не знали, как мало вредит человеку работа, раз она ему нравится. Тотчас же, как только отец возобновил опыты, Маргарита упразднила всякое излишество в столе, стала бережлива до скупости, в чем ей старательно помогали Жозета и Марта. Этой перемены, благодаря которой все было сведено к строго необходимому, Клаас даже не заметил. Ведь к завтраку он не приходил, только к самому обеду спускался из лаборатории и, молча посидев несколько часов в зале с дочерьми, шел спать. На прощание он машинально подставлял для поцелуя щеку. Его поведение привело бы к большим домашним бедам, если бы Маргарита не была подготовлена к тому, чтобы занять в доме место матери, и если бы тайная любовь не предохраняла ее от опасности чрезмерной свободы. Пьеркен перестал навещать родственниц, считая, что они совершенно будут разорены. Над земельными владениями Валтасара, приносившими шестнадцать тысяч франков дохода и стоившими до двухсот тысяч экю, тяготели уже закладные на триста тысяч франков. Принимаясь за химию, Клаас взял в долг значительную сумму. Доходов только-только хватало на выплату процентов, но так как, со свойственной людям идеи непредусмотрительностью, Валтасар оставил арендную плату Маргарите на домашние расходы, то нотариус вычислил, что через три года все пойдет прахом: что не растратит Валтасар, то пожрут судебные чиновники. Холодность Маргариты довела Пьеркена до безразличия, почти враждебного. Чтобы оставить за собою право отказаться от руки девушки, если она слишком обеднеет, он, скорчив сострадательную мину, говорил о Клаасах:

— Бедняги разорились; я все, что только мог, предпринимал для их спасения; ничего не поделаешь! Маргарита отказалась от всех законных комбинаций, которые уберегли бы ее от нищеты...

Эммануил, по протекции дяди назначенный директором коллежа в Дуэ и по своим достоинствам вполне заслуживший такое место, каждый вечер

совершенно погасить долги, он принужден был перевести выплату ста тысяч франков на покупщиков, за которыми еще остается сто тысяч экю.

Вошел Пьеркен.

— Ну вот, милая Маргарита, — сказал он, — вот вы и разорены, я предсказывал это, а вы не хотели слушать. Недурной аппетит у вашего отца. Ваши леса он проглотил сразу. Господин Конинкс, второй опекун, теперь находится в Амстердаме, где заканчивает ликвидацию своего состояния, эту-то минуту и выбрал Клаас, чтобы нанести удар. Нехорошо. Я только что написал старику Конинксу, но когда он приедет, все уже пойдет прахом. Вам придется вчинить отцу иск, процесс будет недолог, но позорен, а господин Конинкс не имеет права отказаться от него, таков закон. Вот плоды вашего упрямства. Признаете теперь, сколь я был предусмотрителен, сколь предан вашим интересам?

— А я к вам с хорошими новостями, — сказал молодой де Солис мягким своим голосом. — Габриэль принят в Политехническую школу. Все препятствия к его приему устранены.

Маргарита улыбкой поблагодарила друга и сказала:

— Мои сбережения пригодятся! Марта! Завтра же начнем снаряжать Габриэля. Бедняжка Фелиси, придется нам поработать, — добавила она, целуя сестру в лоб.

— Завтра он приедет сюда на десять дней, в Париже он должен быть пятнадцатого ноября.

— Прекрасный путь избрал Габриэль, — сказал нотариус, смерив взглядом Эммануила, — ему придется самому сколачивать себе состояние. Но, дорогая Маргарита, речь идет о спасении семейной чести; угодно вам на этот раз меня выслушать?

— Нет, — ответила она, — если опять речь идет о браке.

— Как же вы поступите?

— Да никак.

— Однако вы совершеннолетняя.

— Да, буду через несколько дней. А какой вы мне предложите выход, чтобы согласовать наши интересы с нашим долгом по отношению к отцу и с честью семьи?

— Ничего нельзя предпринять без вашего дядюшки. Итак, я зайду по его возвращении.

— Прощайте, — сказала Маргарита.

«Чем беднее, тем больше чудит», — подумал нотариус.

— Прощайте, — произнес он вслух. — Господин директор, мое почтение!

И он ушел, не попрощавшись ни с Фелиси, ни с Мартой.

— Последние два дня я изучал Гражданский кодекс и советовался со старым адвокатом, другом моего дядя, — сказал Эммануил с дрожью в

голосе. — Завтра, если позволите, я поеду в Амстердам. Выслушайте меня, милая Маргарита...

Он впервые так назвал ее, она поблагодарила его влажным взглядом, улыбкой и наклоном головы. Он замолчал, указав глазами на Фелиси и Марту.

— Говорите при сестре, — сказала Маргарита. — И до этого разговора она уже примирилась с лишениями и трудом, она, такая кроткая и стойкая. Но пусть она знает, как необходима теперь бодрость.

Сестры взялись за руки и поцеловались, точно упрочивая союз перед лицом опасности.

— Оставьте нас, Марта.

— Милая Маргарита, — продолжал Эммануил, и голос его был проникнут счастьем оттого, что он добился хоть малых прав любви, — я разузнал имена и адреса покупщиков, которые должны еще внести двести тысяч франков за вырубленный лес. Завтра же, если вы согласны, поверенный, действуя от имени господина Конинкса, который не откажется подтвердить его полномочия, предъявит им протест. Через шесть дней ваш дядя вернется, созовет семейный совет, и Габриэля объявят правоспособным, ведь ему уже минуло восемнадцать лет. А раз вы и брат ваш станете правомочны, то потребуйте своей доли из стоимости леса, и господин Клаас принужден будет выплатить двести тысяч, так как на них, по вашей просьбе, будет наложен арест; что касается остальных причитающихся вам ста тысяч, то вы получите закладную на этот дом. Господин же Конинкс потребует гарантий на триста тысяч франков, которые составляют долю Фелиси и Жана. При таком положении ваш отец будет принужден перезаложить оршийское имение, уже заложенное за сто тысяч экю. Закон дает по закладным преимущество в пользу несовершеннолетних, имеющее обратную силу; таким образом все будет спасено. Отныне у господина Клааса будут связаны руки, земли ваши отчуждению не подлежат, а под собственные земли он ничего уже занять не может, и без того под них уже получены суммы, превышающие их стоимость. Дела устроятся по-семейному, без скандала, без процесса. Обстоятельства вынудят вашего отца быть более благоразумным в своих изысканиях, а то и совсем их прекратить.

— Да, — сказала Маргарита, — но ведь доходов-то у нас никаких не будет? Сто тысяч франков, обеспеченные закладною на дом, ничего не принесут, так как мы в нем живем. Того, что мы получим с земель, принадлежащих отцу на Оршийской равнине, хватит лишь для выплаты процентов за триста тысяч франков, которые отец должен посторонним лицам, — так на что же мы будем жить?

— Прежде всего, — заметил Эммануил, — если вы обратите в государственные ценные бумаги те пятьдесят тысяч франков, которые достанутся Габриэлю в качестве его доли, вы будете получать по нынешнему курсу

свыше четырех тысяч франков ежегодного дохода, их хватит Габриэлю и на пансион и на все его содержание в Париже. Он не может располагать ни суммой, причитающейся по закладной на отцовский дом, ни ценными бумагами; таким образом, нечего бояться его расточительности, и вам будет заботой меньше. Затем, разве не останется на вашу долю полутораста тысяч франков?

— Отец будет у меня просить, — сказала она с испугом, — и я не в силах буду ему отказать.

— Ну, что же, милая Маргарита, есть средство их спасти, устранившись от распоряжения ими. Внесите их в государственное казначейство на имя брата. Эта сумма даст вам двенадцать — тринадцать тысяч франков ежегодного дохода, на них вы проживете. А так как правоспособные несовершеннолетние все же не могут передавать свои права другому лицу без согласия семейного совета, то вы таким образом обеспечите себе три года спокойствия. За это время ваш отец решит свою проблему или, вероятно, от нее откажется; став совершеннолетним, Габриэль вернет вам фонды, чтобы произвести расчет между всеми вами.

Маргарита попросила объяснить ей подробнее предписания закона, которые она с первого раза не усвоила. Поистине необычная сцена: двое влюбленных изучают Гражданский кодекс, которым запасся Эммануил, чтобы истолковать своей возлюбленной закон относительно имущественных прав несовершеннолетних; вскоре она усвоила его благодаря врожденной женской проницательности, которой любовь придала еще бóльшую остроту.

На следующий день Габриэль вернулся в отцовский дом. Когда де Солис подвел его к Валтасару, сообщая, что он принят в Политехническую школу, отец с благодарностью пожал директору руку, заметив:

— Очень рад. Следовательно, Габриэль станет ученым.

— Брат, хорошенько работай, — сказала Маргарита, увидав, что Валтасар уже опять поднимается в лабораторию, — не растрачивай денег! Не отказывай себе в необходимом, но будь бережлив. В отпускные дни бывай у наших друзей, у наших родственников, чтобы не перенимать склонностей, разорительных для молодых людей. Пансион твой будет стоить почти тысячу экю, и тебе останется на мелкие расходы еще тысяча франков, этого должно хватить.

— За него ручаюсь, — сказал Эммануил де Солис, похлопав своего ученика по плечу.

Через месяц г-н де Конинкс в согласии с Маргаритой добился от Клааса всех нужных гарантий. Планы, столь мудро составленные Эммануилом де Солисом, были всецело одобрены и выполнены. Перед лицом закона, в присутствии родственника, суровая порядочность которого не знала уступок в вопросах чести, Валтасар, пристыженный продажей, на которую согласился только под натиском кредиторов, подчинился всем

предъявленным ему требованиям. Довольный тем, что может возместить ущерб, почти невольно нанесенный детям, он подписал документы, рассеянно взглянув на них, как и полагается ученому. Он потерял всякую предусмотрительность, вроде тех негров [34], которые утром за глоток водки продают жену, а вечером плачут о ней. Он не заботился даже о ближайшем будущем. Валтасар не спрашивал, каковы же будут источники его доходов после того, как он истратит последнее свое экю; он продолжал свои работы и покупки, не ведая того, что только значится владельцем дома и имущества, что суровый закон не даст ему добыть ни гроша под имения, которые он лишь юридически охраняет. 1818 год кончился без каких бы то ни было несчастий. Сестры оплачивали воспитание Жана, а в домашних расходах удовлетворялись восемнадцатью тысячами франков ренты, которая была приобретена на имя Габриэля, аккуратно каждые полгода высылавшего им проценты. В декабре де Солис потерял дядю.

Однажды утром Маргарита узнала от Марты, что отец продал коллекцию тюльпанов, мебель из переднего дома и все серебро. Ей пришлось опять покупать столовые приборы, которые она пометила своими инициалами. До этого дня она хранила молчание по поводу грабительства Валтасара, но вечером, после обеда, она попросила Фелиси оставить ее с отцом наедине, и когда он, как всегда, сел у камина, Маргарита сказала ему:

— Папенька, вы вольны все продать здесь, даже детей. Мы безропотно вам подчинимся, но я принуждена заметить вам, что денег у нас нет, что мы едва дотянем до конца года. Мы с Фелиси должны работать день и ночь, чтобы закончить кружевное платье и из вырученных денег оплатить пансион Жана. Заклинаю вас, дорогой папенька, прекратите ваши работы!

— Дитя мое, ты права; через полтора месяца все будет кончено! Я найду Абсолют или приду к выводу, что Абсолюта нельзя найти. Вы все станете миллионерами...

— Оставьте нам пока хоть кусок хлеба, — ответила Маргарита.

— У нас нет хлеба? — с испугом воскликнул Валтасар. — Нет хлеба у Клааса! .. А все наши имения?

— В Вэньи вы свели лес. Но почва еще не расчищена, и там ничего не растет. Что же касается ваших оршийских ферм, то доходов с них не хватает для выплаты процентов на занятые вами суммы.

— Чем же мы живем? — спросил он.

Маргарита показала ему свою иголку и добавила:

— Рента Габриэля поддерживает нас, но недостаточно. Концы с концами я сведу на этот год, если только вы не засыплете меня нежданными накладными, ведь вы не говорите ни слова о своих покупках в городе. Вот, думаю, денег нам хватит на три месяца, все распределяю в на-

шем небольшом хозяйстве, а тут вдруг приходит счет на поташ, соду, цинк, серу, не знаю на что еще!

— Дитя мое, еще полтора месяца терпения, потом я буду вести себя благоразумно. Ты увидишь чудеса, Маргариточка.

— Пора вам подумать о делах. Вы все продали: картины, тюльпаны, серебро, у нас ничего не остается; по крайней мере не входите в новые долги.

— Больше не войду, — сказал старик.

— «Больше»! — вскричала она. — Значит, у вас они уже накопились?

— Пустяки, безделица, — ответил он, краснея и отводя взгляд.

Впервые Маргарита почувствовала унижение оттого, как опустился отец, и так ей это было больно, что у нее не хватило мужества расспрашивать. Через месяц после этой сцены явился местный банкир и предъявил подписанный Клаасом вексель на десять тысяч франков. Когда Маргарита просила у банкира на день отсрочки, высказав сожаление, что ее не предупредили об этом платеже, он обратил ее внимание на то, что у торгового дома Проте и Шифревиль имеется еще девять векселей по десяти тысяч, сроком на каждый следующий месяц.

— Все ясно! — воскликнула Маргарита. — Час настал.

Она послала за отцом и в огромном волнении ходила по зале большими шагами, размышляя:

«Надо найти сто тысяч франков, или отец попадет в тюрьму!.. Что делать?»

Валтасар все не приходил. Устав его ждать, Маргарита поднялась в лабораторию. Она вошла и увидела отца среди огромной, очень светлой комнаты, заставленной машинами и запылившимися стеклянными приборами; там и сям книги, на столах — разнообразнейшие химические вещества, все с этикетками и номерами. Беспорядок, характерный для вечно занятого ученого, грубо противоречил фламандским привычкам. Над этим множеством колб, реторт, металлов, кристалликов фантастической окраски, проб, подвешенных по стенкам или сваленных на печь, царил Валтасар Клаас, без сюртука, с засученными, как у рабочего, рукавами и распахнутой грудью, на которой волосы так же поседели, как и на голове. Ужасающе пристально глаза его следили за пневматической машиной. Укрепленная над приемником двояковыпуклая стеклянная линза, наполненная спиртом, собирала солнечные лучи, падавшие сквозь круглое чердачное окно. Приемник стоял на особой подставке и соединялся проводами с огромной батареей Вольта. Лемюлькинье, который передвигал подставку этой машины, установленной на подвижной оси так, чтобы линза всегда была перпендикулярна солнечным лучам, поднялся, весь черный от пыли, и сказал:

— Стойте, барышня, не подходите!

Поза Валтасара, казалось, преклонившего колени перед своей машиной, под падавшими прямо на него солнечными лучами, его поредевшие волосы, похожие на серебряные нити, его шишковатый череп, черты лица, напрягшиеся в сосредоточенном ожидании, необычность окружающих предметов, причудливые машины, выступавшие из темных углов обширного чердака, — все вместе поразило Маргариту, в испуге она решила: «Отец сошел с ума!»

Она подошла к нему и шепнула на ухо:

— Отошлите Лемюлькинье.

— Нет, нет, дитя мое, он мне нужен; я жду результатов одного превосходного опыта, который другим не приходил в голову. Вот уже три дня мы подкарауливаем луч солнца. Я располагаю возможностью подвергнуть металлы действию сконцентрированного солнечного света и электрического тока в пустом пространстве. Видишь ли, сейчас произойдет самая сильная реакция, какую только может произвести химик, и один только я...

— Ах, папенька, чем превращать металл в газообразное состояние, лучше бы вы его сберегли, чтобы оплатить векселя...

— Постой, постой!

— Папенька, приходил господин Мерсктус: к четырем часам необходимо уплатить ему десять тысяч франков.

— Да, да, сию минуту. Я подписал какие-то бумажонки сроком на этот месяц, это правда. Я рассчитывал найти Абсолют. Бог мой, будь у меня июльское солнце, мой опыт уже удался бы.

Он схватился за волосы, сел в плохонькое камышовое кресло, и слезы навернулись у него на глаза.

— Верно, барин! — сказал Лемюлькинье. — Все это из-за подлого солнца, слабо светит, трус, лентяй!

И господин и слуга не обращали никакого внимания на Маргариту.

— Оставьте нас, Мюлькинье, — сказала она.

— Ах! Есть еще один опыт! — воскликнул Клаас.

— Папенька, забудьте об опытах, — сказала дочь, когда они остались вдвоем, — вам нужно заплатить сто тысяч франков, а у нас ни гроша. Бросьте свою лабораторию, дело идет о вашей чести. Что с вами будет, ведь вы попадете в тюрьму! Неужели вы оскверните свои седины и имя Клаасов позором банкротства? Я этого не допущу. У меня хватит сил, чтобы справиться с вашим безумием. Как было бы ужасно, если бы под конец жизни вы очутились без куска хлеба! Не закрывайте глаз на наше положение, образумьтесь же наконец!

— «Справиться с моим безумием»? — закричал Валтасар, выпрямляясь и пристальным, сверкающим взглядом окидывая дочь. — Безумием! — скрестив руки на груди, повторил он с таким величием, что Маргарита вздрогнула. — Ах, твоя мать так не сказала бы, — продолжал

он, — она способна была постигнуть всю важность моих исканий, она изучала науку, чтобы понимать меня, знала, что я работаю ради человечества, а не из личного корыстного расчета. Вижу, чувство любящей жены выше дочерней привязанности. Да, любовь — прекраснейшее из чувств! «Образумиться»? — продолжал он, ударяя себя в грудь. — Разве я потерял разум? Разве я — не я? Мы бедны, моя дочь, ну что же, таково мое желание. Я ваш отец, повинуйтесь мне. Когда захочу, обогащу вас. Ваше богатство — та же нищета. А когда мне удастся разложить углерод, то я всю залу наполню алмазами, и это еще пустяк в сравнении с тем, чего я ищу. Можете подождать, ежели все мои силы уходят на гигантский труд...

— Отец, у меня нет права требовать от вас отчета в четырех миллионах, безрезультатно поглощенных на этом чердаке. Не стану говорить о матери, которую вы убили. Будь у меня муж, я, конечно, любила бы его так, как вас любила маменька. Я всем пожертвовала бы ради него, как она все принесла вам в жертву. По ее приказанию я всецело посвятила себя вам, я доказала это тем, что до сих пор не выхожу замуж, лишь бы избавить вас от опекунского отчета. Но оставим прошлое, подумаем о настоящем. Моими устами говорит необходимость, которую вы сами создали. Нужны деньги для уплаты по вашим векселям, понимаете? Взять у нас нечего, разве только портрет нашего предка Ван-Клааса. Я пришла сюда во имя матери, которая сама оказалась слишком слабой, чтобы защитить детей от отца, и мне завещала противиться вам, я пришла во имя братьев и сестры, пришла, отец, во имя всех Клаасов — требовать, чтоб вы прекратили ваши опыты до тех пор, пока не составите себе состояния. Вы опираетесь на отцовские права, но проявляете их только в том, что губите нас, а на моей стороне ваши предки и честь, их голоса громче, чем голос химии. Сначала семья, потом наука. Я слишком долго была покорной дочерью.

— А теперь хочешь стать палачом? — сказал он слабеющим голосом.

Маргарита убежала, чтобы не изменить взятой на себя роли, ей показалось, что до нее доносится голос матери: «*Слишком ему не противоречь... люби его*».

— Славную штуку устроила барышня там, наверху! — сказал Лемюлькинье, сходя в кухню к завтраку. — Вот-вот поймали бы мы секрет, для этого нужно только чуточку июльского солнца. Ведь что за человек барин! Чудотворец, да и только! Чтобы открыть основу всего, нам недостает вот столечко, — сказал он Жозете, прикусив ноготь большого пальца зубом, который в народе называют *лопаткой*, — и вдруг трах-трах! Пришла вопить о каких-то дурацких векселях...

— Что же, заплатите по этим векселям из своего жалованья! — сказала Марта.

— А масла на хлеб нынче не будет? — обратился Лемюлькинье к Жозете.

— На какие деньги его купить прикажете? — язвительно ответила кухарка. — Как же так, старое чудовище? Золото вы делаете в своей дьявольской кухне, а почему же маслица не делаете? Не так это трудно, продавали бы на базаре, было бы у нас всего вдоволь. А мы едим себе хлеб всухомятку. Обе барышни только хлеб с орехами и едят, а вас, значит, надо лучше кормить, чем господ? Барышня тратит на все хозяйство не больше ста франков в месяц. Только обед и готовим. Коли полакомиться захотелось, так ведь есть у вас там печи, где жемчуг жарите, — только об этом на базаре и говорят. Так вот зажарьте себе там цыпленка!

Лемюлькинье взял хлеб и ушел.

— Чего-нибудь купит на свои деньги, — сказала Марта, — ну и хорошо, по крайней мере немножко сэкономим. Уж и скуп, чудище несусветное!

— Взять его, что ли, измором? — спросила Жозета. — Уже целую неделю нигде пыли не сотрет, ни-ни, все за него делаю, а он вечно наверху, мог бы мне и заплатить, хоть бы селедками угостил. Пускай только принесет, я уж у него возьму!

— Ах, барышня, слышно, плачет, — сказала Марта. — Не отец, а колдун, весь дом слопает и слова по-христиански не скажет. Право, колдун! В наших краях давно бы его живьем сожгли; а здесь не больше веруют, чем у мавров африканских.

Маргарита с трудом подавляла рыдания, проходя через галерею. Она дошла до своей комнаты, достала письмо матери и прочла следующее:

«Дитя мое, если богу будет угодно, твое сердце проникнется моими чувствами, когда ты станешь читать эти строки, последние, какие я напишу. Они полны любовью к моим детям, оставленным на произвол демона, противостоять которому я не умела. Раз ты читаешь это письмо, значит он отнял у вас хлеб насущный, как уничтожил мою жизнь и даже мою любовь. Тебе известно, дорогая, как я любила твоего отца! Но, умирая, я уже не люблю его, как прежде, — ведь я против него замыслила кое-что, в чем при жизни не решилась бы признаться. Да, из глубины могилы подам я вам последнюю помощь в тот день, когда вы достигнете высшей степени несчастья. Итак, когда он доведет вас до нищеты, когда нужно будет спасать вашу честь, ты получишь у г-на де Солиса, если он будет в живых, — если же нет, у его племянника, милого нашего Эммануила, — около ста семидесяти тысяч франков, которые помогут вам прожить. Если его страсть неукротима, если дети для него не бóльшая преграда, чем мое счастье, и не могут остановить его на преступном пути, то покиньте отца, пока вы еще живы! Я не могла бросить его, не имела права. А ты, Маргарита, спасай семью. Прощаю тебе все, что бы ты ни сделала для защиты Габриэля, Жана и Фелиси. Будь мужественна, будь ангелом-хранителем Клаасов. Будь тверда, не смею сказать — будь безжалостна; но чтобы поправить уже нанесенный ущерб, следует что-ни-

будь из этих денег сохранить, и ты должна так держать себя, точно нищета вас уже постигла; ничто не остановит этой яростной страсти, все у меня похитившей. Итак, дочь моя, во имя сердечных чувств стань бессердечной; если придется лгать отцу, твое притворство будет ко славе твоей; какими бы дурными ни казались твои поступки, они будут героическими, ты свершишь их ради защиты семьи. Так мне сказал добродетельный человек, г-н де Солис, а еще не было на свете более чистой и более чуткой совести, чем у него. Даже перед смертью я не нашла бы в себе силы сказать тебе все это. Однако всегда будь почтительной и доброй в жестокой борьбе! Сопротивляйся, обожая отца; отказывай мягко. Итак, суждены мне и после смерти еще неизведанные слезы и горести. Обними за меня милых деток, когда станешь их защищать. Бог и все святые да пребудут с тобой!

Жозефина»

К письму была приложена расписка обоих де Солисов, дяди и племянника, в которой они обязывались сумму, вверенную им г-жою Клаас, вручить тому из ее детей, кто эту расписку предъявит.

— Марта, — кликнула Маргарита дуэнью, немедленно явившуюся на зов. — Сходите к Эммануилу де Солису и попросите его прийти ко мне. Благородное, скромное создание! Он ничего мне не сказал, хоть разделял со мною все горести и печали...

Эммануил пришел раньше, чем вернулась Марта.

— У вас есть от меня секреты! — сказала она, показывая ему расписку.

Эммануил опустил голову.

— Маргарита, значит, вы очень несчастны? — спросил он, и слезы навернулись ему на глаза.

— О да! Будьте мне опорой, ведь маменька вас назвала «милый наш Эммануил», — сказала она, показывая ему письмо и будучи не в силах преодолеть радость оттого, что ее выбор одобрен матерью.

— Вся жизнь моя принадлежит вам с того дня, как я увидел вас в галерее, — ответил он, плача от радости и печали, — но я не знал, не смел подумать, что вы примете когда-нибудь мою жизнь. Если вы знаете меня, то должны понять, что слово мое свято. Простите мне, что я так покорно выполнил волю вашей матери, я не вправе был судить об ее намерениях.

— Вы спасли нас! — воскликнула она и взяла его под руку, чтобы сойти в залу.

Узнав о происхождении суммы, которую хранил Эммануил, Маргарита рассказала ему, какая в доме нужда.

— Надо немедленно оплатить векселя, — заметил Эммануил. — Если они все в руках Мерсктуса, вы избавитесь от уплаты накладных расходов.

Остальные семьдесят тысяч я вручу вам. Бедный мой дядя завещал мне такую же сумму в дукатах, нетрудно будет тайком перенести их сюда.

— Да, — сказала она, — принесите их ночью; когда отец уснет, мы вдвоем их спрячем. Если он узнает, что у меня есть деньги, он может отобрать их насильно! О! Эммануил, не доверять своему отцу... — сказала она, плача и прижимаясь лбом к сердцу молодого человека.

Это прелестное и скорбное движение, которым Маргарита искала у него покровительства, было первым выражением любви, постоянно окутанной меланхолией, постоянно омраченной печалью. Но душа переполнилась, и случилось это под гнетом нищеты!

— Что делать? Как быть? Он ничего не видит, не заботится ни о нас, ни о себе. Не понимаю, как он еще жив на своем чердаке, ведь там такая жара!

— Чего ожидать от человека, который в любой момент восклицает, подобно Ричарду Третьему: «Полцарства за коня!» — сказал Эммануил. — Он никогда не будет знать жалости, и вам следует стать такой же. Оплатите векселя, отдайте ему, если угодно, свое состояние; но состояние вашей сестры, ваших братьев ни вам, ни ему не принадлежит.

— Отдать мое состояние? — спросила она, пожимая руку Эммануилу и бросая на него пламенный взгляд. — Вы мне так советуете, вы, а ведь Пьеркен пускался на тысячу лживых уловок, только бы я сохранила свои богатства.

— Увы! Быть может, я эгоистичен на свой лад! — отвечал он. — Иногда мне хотелось бы, чтобы вы потеряли состояние, мне кажется, что вы были бы ближе ко мне; а иногда мне хочется, чтобы вы стали богаты, счастливы, и я считаю мелочной мысль о том, что людей может разделить ничтожное величие богатства.

— Дорогой мой! Не будем говорить о нас...

— О нас! — повторил он в опьянении и, помолчав, прибавил: — Беда велика, но поправима.

— Поправим ее только мы, в семье Клаасов нет главы. Дойти до того, чтобы перестать быть отцом, мужчиной, не иметь никаких понятий о справедливом и несправедливом! Ведь он, такой великий, великодушный, честный, расточил вопреки закону имущество детей, защитником которых он должен быть! В какую пропасть пал он? Боже мой! Чего он ищет?

— К несчастью, дорогая Маргарита, если он виновен как глава семьи, то как ученый он прав; десятка два людей в Европе будут восхищаться им, тогда как остальные сочтут его сумасшедшим; но вы можете без всяких колебаний отказать ему в деньгах детей. Открытие всегда бывало случайностью. Если вашему отцу суждено натолкнуться на решение проблемы, он найдет его без всяких издержек и, может быть, уже отчаявшись найти.

— Счастлива бедная моя мать, что погибла при первой же схватке с наукой, — сказала Маргарита, — а то ей пришлось бы тысячу раз испытывать смертные муки, прежде чем умереть. Конца не будет этому поединку...

— Конец уже виден, — отвечал Эммануил. — Когда у вас ничего не останется, у господина Клааса не будет кредита, и он все прекратит.

— Пусть же прекращает нынче! — воскликнула Маргарита. — Мы без средств.

Де Солис пошел выкупить векселя и принес их Маргарите. Валтасар спустился вниз еще до обеда, вопреки своему обыкновению. В первый раз за два года дочь заметила на его лице признаки ужасной печали: он вновь стал отцом, разум изгнал науку; он посмотрел во двор, в сад и, уверившись, что, кроме него с дочерью, никого здесь нет, подошел к ней, грустный и добрый.

— Дитя мое, — заговорил он, пожимая ее руку с умилительной нежностью, — прости старику отцу... Да, Маргарита, я виноват. Ты совершенно права. Раз мне ничего не удается открыть, я просто жалкий человек! Я уйду отсюда... Не хочу видеть, как продают Ван-Клааса, — сказал он, показывая на портрет мученика. — Он умер за свободу, я умру за науку, он — всеми чтимый, я — ненавидимый...

— Ненавидимый, папенька? Нет, — сказала она, бросаясь ему на грудь — все мы вас обожаем. Разве не так, Фелиси? — обратилась она к входившей в эту минуту сестре.

— Что с вами, милый папенька? — сказала девочка, взяв его за руку.

— Я разорил вас...

— Э! — сказала Фелиси. — Братья помогут нам разбогатеть. Жан всегда идет первым в классе.

— Вот, папенька, — продолжала Маргарита, прелестным и лукавым движением подводя Валтасара к камину, с которого она взяла какие-то бумаги, запрятанные под часами, — вот ваши векселя, но больше не подписывайте, платить будет нечем...

— Значит, у тебя есть деньги?! — шепнул Валтасар на ухо Маргарите, оправившись от изумления.

От этих слов дыхание остановилось у мужественной девушки, столько было неистового восторга, радости и надежды на лице отца, который оглядывал все вокруг, точно ища, где спрятано золото.

— Папенька, — сказала она скорбным голосом, — у меня ведь есть свое состояние.

— Отдай его мне! — воскликнул он, жадно протягивая руки. — Верну тебе его сторицею.

— Да, я вам отдам все, что у меня есть, — ответила Маргарита, приглядываясь к Валтасару, не понявшему, какой смысл придает дочь своим словам.

— Ах, дорогая дочь, — сказал он, — ты спасаешь мне жизнь! Я задумал последний опыт, после него все возможности будут исчерпаны. Если и на этот раз я ничего не найду, придется отказаться от поисков Абсолюта. Обними меня, приди ко мне, возлюбленное мое дитя, я сделаю тебя счастливейшей женщиной на земле, ты возвращаешь меня к блаженству, славе; благодаря тебе я могу осыпать вас сокровищами, забросать вас драгоценностями, окружить роскошью...

Он поцеловал дочь в лоб, схватил ее руки, сжал их. Он выражал свою радость нежными ласками, показавшимися Маргарите почти угодливыми. За обедом Валтасар видел только ее, он смотрел на нее заискивающе, внимательно, пристально, как смотрит влюбленный; достаточно было ей сделать движение, и он уже старался угадать ее мысль, ее желание, приподнимался, готовый услужить; ей становилось совестно; в этой предупредительности чувствовалось что-то мальчишеское, несовместимое с его преждевременной старостью. Но в ответ на все эти нежности Маргарита подчеркивала нынешнюю их нищету то словом сомнения, то взглядом, брошенным на пустые поставцы в столовой.

— Э, что там! Через шесть месяцев мы все наполним золотом и диковинками, — сказал он. — Будешь как царица. Вся природа будет принадлежать нам, мы будем выше всего... благодаря тебе, Маргарита! Маргарита! — продолжал он с улыбкой. — Твое имя пророческое, ведь «Маргарита» означает жемчуг. Стерн где-то об этом говорит. Ты читала Стерна? [35] Хочешь его прочесть? Он тебя позабавит.

— Жемчуг, говорят, плод болезни, — возразила она, — а мы уже достаточно страдали.

— Не печалься, ты дашь счастье тем, кого любишь, ты будешь могущественна, богата...

— У барышни доброе сердце, — сказал Лемюлькинье, скорчив в улыбке свое рябое лицо.

Самым очаровательным человеком, самым обаятельным собеседником показал себя в тот вечер Валтасар перед дочерьми. Как змей-искуситель, изливал он и словами и взором магнетический ток, расточал то могущество гения, ту приятность ума, которые околдовывали Жозефину, и, так сказать, окружал дочерей теплом своего сердца. Когда пришел Эммануил де Солис, он впервые за долгое время увидал отца и детей вместе. Несмотря на свою настороженность, молодой директор поддался очарованию этой сцены — так бесконечно привлекательны были речи и ласковость Валтасара. Хотя люди науки и погружены в бездны мысли и постоянно заняты жизнью умственной, тем не менее они замечают мельчайшие частности окружающей жизни. Эти люди, не столько рассеянные, сколько делающие все невпопад, никогда не находятся в гармонии с окружающими, все они знают и все забывают; заранее судят они о будущем, пророчествуют для самих себя, знают о событиях, прежде чем те произо-

шли, но ничего не говорят. Если в тиши размышлений они прилагают свои способности к познанию происходящего вокруг, то довольствуются тем, что правильно угадывают: их увлекает самый процесс, и приобретенное ими понимание житейских дел они применяют почти всегда неловко. Порою пробуждаясь от такой апатии в отношении к обществу или из мира духовного попадая в мир внешний, они обнаруживают богатую память, и оказывается, что они ничему не чужды. Так Валтасар, соединивший в себе проницательность сердца с проницательностью ума, понимал все прошлое своей дочери, знал или угадывал малейшие события таинственной любви, соединявшей ее с Эммануилом, он тонко это им показал и одобрил их любовь, разделив ее с ними. То была самая сладостная нежность, какая только может исходить от отца, и оба влюбленных не могли ей противиться. По контрасту с огорчениями, осаждавшими со всех сторон эти бедные юные создания, вечер был восхитительным. Когда, так сказать, осветив их своим светом и омыв нежностью, Валтасар удалился, Эммануил де Солис, в движениях которого сказывалась какая-то принужденность, вынул наконец три тысячи дукатов золотом, которые он держал у себя в карманах, все время опасаясь, как бы этого не заметили. Он положил их на рабочий столик Маргариты, прикрывшей их бельем, которое она чинила, и отправился за остальными деньгами. Когда он вернулся, Фелиси уже ушла спать. Пробило одиннадцать часов. Марта, не ложившаяся, чтобы помочь раздеться барышне, была занята у Фелиси.

— Где спрятать? — спросила Маргарита, не отказав себе в удовольствии перебрать пальцами несколько дукатов (ребячество, погубившее ее!..).

— Я приподниму эту мраморную колонку, у нее полый цоколь, — сказал Эммануил, — вы сунете туда свертки, и сам чёрт их там не найдет.

В ту минуту, когда Маргарита совершала свой последний переход от рабочего столика к колонке, она испустила пронзительный крик, выронила свертки, монеты прорвали бумагу и покатились по паркету: отец стоял в дверях залы, и такая жадность написана была на его лице, что Маргарита испугалась.

— Что это вы здесь делаете? — проговорил он, поглядывая поочередно то на свою дочь, окаменевшую от страха, то на молодого человека, сразу выпрямившегося, хотя, впрочем, само пребывание его около колонки было достаточно красноречиво.

С каким-то ужасным звоном падали червонцы на паркет, что-то зловещее чудилось в том, как они катились по полу.

— Я не ошибся, — сказал, усаживаясь, Валтасар, — мне послышался звон золота...

Он был не менее взволнован, чем молодые люди, сердца которых так бились в унисон, что их биение слышалось, как удары маятника, среди глубокого молчания, сразу воцарившегося в зале.

— Благодарю вас, де Солис, — сказала Маргарита Эммануилу, бросая на него взгляд, который означал: «Помогите мне спасти эти деньги».

— Как! Это золото... — вмешался Валтасар, бросая то на дочь, то на Эммануила страшный испытующий взгляд.

— Золото принадлежит господину де Солису, который был так добр, что ссудил его мне, чтобы можно было уплатить сполна все наши долги, — ответила Маргарита.

Де Солис покраснел и собирался уйти.

— Постойте, — сказал Валтасар, за руку удерживая его. — Не скрывайтесь от моей благодарности.

— Вы мне ничего не должны. Деньги принадлежат вашей дочери, она берет их у меня взаймы под свои земли, — сказал он, взглянув на возлюбленную, которая поблагодарила его неприметным движением ресниц.

— Этого я не допущу, — сказал Клаас, взяв перо и лист бумаги со стола, за которым обычно писала Фелиси.

И, обернувшись к изумленным молодым людям, он спросил:

— Сколько здесь?

Страсть сделала Валтасара хитрее самого ловкого плута-интенданта: он уже готов был завладеть деньгами. Маргарита и де Солис замялись.

— Сочтемте, — предложил Клаас.

— Здесь шесть тысяч дукатов, — заметил Эммануил.

— Семьдесят тысяч франков, — сказал Клаас.

Взгляд Маргариты придал ее возлюбленному мужество.

— Ваше обязательство ценности не имеет, — почтительно сказал он, — простите мне это чисто техническое выражение: нынче утром я ссудил вашей дочери сто тысяч франков, чтобы выкупить векселя, которые вы были не в состоянии оплатить, значит, и мне никаких гарантий вы дать не могли бы. Все сто семьдесят тысяч франков принадлежат вашей дочери, которая может располагать ими, как ей угодно, но я даю их взаймы, только взяв с нее обещание подписать закладную на ее долю в землях Вэньи, в тех угодьях, где недавно вырублен лес.

Маргарита отвернулась, чтобы скрыть выступившие у нее на глазах слезы, — она знала, каким чистосердечием отличался Эммануил. Воспитанный своим дядей в самом суровом соблюдении добродетелей, предписываемых религией, молодой человек особенно опасался лжи; вручив Маргарите свою жизнь и сердце, он жертвовал теперь и своею совестью.

— Прощайте, — сказал ему Валтасар. — Я думал, вы больше доверяете человеку, который смотрит на вас, как на сына...

Эммануил обменялся с Маргаритой печальным взглядом. Марта пошла проводить его и запереть дверь на улицу. Когда отец и дочь остались одни, Клаас сказал дочери:

— Ты любишь меня, не правда ли?

— Бросьте ваши уловки, папенька. Вы хотите денег? Их вы не получите.

Она стала собирать дукаты, отец молча помогал ей поднимать их с полу и пересчитывать. Маргарита приняла его помощь без малейшего недоверия. Когда две тысячи дукатов были сложены в столбики, Валтасар сказал с отчаянием:

— Маргарита, это золото мне необходимо!

— Было бы воровством, если бы вы его взяли, — ответила она холодно. — Послушайте, папенька, лучше убить нас сразу, чем заставлять нас каждый день претерпевать тысячу смертей. Что ж, посмотрим, кто одолеет — вы или мы!..

— Значит, вы убьете своего отца! — продолжал он.

— Мы отомстим за мать, — сказала она, указывая на то место, где умерла г-жа Клаас.

— Дочь моя, если бы ты знала, зачем оно мне нужно, ты не произнесла бы таких слов. Послушай, я объясню тебе, какую задачу должен я разрешить... Но ты ведь не поймешь! — вскричал он с отчаянием. — Словом, дай мне деньги! Хоть раз поверь в своего отца... Да, я знаю, я доставил твоей матери много страданий, я расточил, как выражаются невежды, свое состояние и промотал ваше, вы все теперь вынуждены работать из-за моего безумия, как ты это называешь, но, ангел мой, дорогая, любовь моя, моя Маргарита, выслушай же меня! Если мне не удастся, я покорюсь тебе, я буду тебе повиноваться, как должна бы повиноваться мне ты; я буду исполнять твои желания, вверю тебе все свое имущество, откажусь от опеки над детьми, отрекусь от всякой власти. Клянусь памятью твоей матери! — сказал он, проливая слезы.

Маргарита отвернулась, чтобы не видеть лицо его, залитое слезами, и Клаас бросился к ногам дочери, думая, что она готова уступить.

— Маргарита, Маргарита! Дай мне их, дай! Что такое шестьдесят тысяч франков перед вечными угрызениями совести! Ведь я умру, меня это убьет... Выслушай меня! Мое слово свято. Если меня постигнет неудача, я отказываюсь от работы, покидаю Фландрию, даже Францию; если потребуешь, я пойду работать, как поденщик, чтобы со временем по грошу снова сколотить состояние и вернуть детям все, что отняла у них Наука.

Маргарита хотела поднять отца, но он продолжал стоять на коленях и говорил, заливаясь слезами:

— В последний раз будь нежной, покорной дочерью. Если меня постигнет неудача, я сам признаю твою правоту, как бы сурово ты ни обращалась со мной. Зови меня тогда сумасшедшим стариком! Называй отцом-злодеем! Говори даже, что я невежда! Я в ответ буду целовать тебе руки. Можешь бить меня, если захочешь, и когда ударишь, я стану благословлять тебя, как лучшую из дочерей, вспоминая, что ты ради меня пожертвовала собою.

— Если бы нужно было пожертвовать только собою, я бы это сделала, но могу ли я допустить, чтобы наука убила моего брата и сестру? Нет!.. Довольно, довольно! — сказала она, вытирая слезы и отталкивая ласкающие руки отца.

— Мне нужно только шестьдесят тысяч франков и два месяца сроку! — воскликнул он, поднимаясь в бешенстве с колен. — Но дочь становится между славой, богатством и мною... Будь проклята! — сказал он. — Ты не дочь, не женщина, ты бессердечна! Не быть тебе ни матерью, ни женой!.. Позволь взять деньги! Ну, скажи, что позволяешь, милая моя детка, дитя мое возлюбленное! Я буду обожать тебя! — закончил он, с яростной решимостью протягивая руку к золоту.

— Против насилия я беззащитна, но бог и великий Клаас нас видят! — сказала Маргарита, показывая на портрет.

— Хорошо, живи, запятнанная кровью отца! — закричал Валтасар, бросая на нее грозный взгляд.

Он встал, оглядел комнату и медленно направился к выходу. Дойдя до двери, он повернулся и, как нищий, умоляюще протянул руку, но Маргарита отрицательно покачала головой.

— Прощайте, дочь моя, — сказал он кротко, — попытайтесь жить счастливо!

Когда он исчез, Маргарита осталась в оцепенении, ей казалось, что она отделилась от земли: она уже не была здесь, в этой комнате, не чувствовала своего тела, у нее выросли крылья, и она парила в пространствах мира духовного, где все беспредельно, где мысль преодолевает пространство и время, где некая божественная рука приподнимает покров, простертый над будущим. Ей казалось, что целые дни протекали после каждого шага отца, когда он поднимался по лестнице; затем она вздрогнула от ужаса, услыхав, что он вошел к себе в спальню. Подчиняясь предчувствию, осветившему ее душу пронзительным блеском молнии, она, не зажигая света, бесшумно, с быстротой стрелы промчалась по лестнице и увидала, что отец приложил ко лбу дуло пистолета.

— Все берите! — закричала она, бросаясь к нему.

Она упала в кресло. Валтасар, видя, как она бледна, принялся плакать по-стариковски; он сделался совсем ребенком, он целовал ее в лоб, говорил ей бессвязные слова, чуть не прыгал от радости и, казалось, готов был дурачиться с нею, как влюбленный дурачится со своей подругой, добившись блаженства.

— Будет, будет, папенька! — сказала она. — Подумайте о своем обещании! Если не достигнете успеха, будете мне повиноваться?

— Да.

— О моя мать! — сказала она, обернувшись к комнате г-жи Клаас. — Ведь вы все отдали бы, не правда ли?

— Спи спокойно, — сказал Валтасар, — ты добрая дочь.

— Спать! — сказала она. — Прошли счастливые сны моей юности; вы с каждым днем старите меня, папенька, как с каждым днем иссушали сердце моей матери...

— Бедное дитя, я хотел бы ободрить тебя, объяснить тебе значение великолепного опыта, который я только что задумал, ты поняла бы.

— Я понимаю только то, что мы разорены, — сказала она, уходя.

Утром на следующий день, который был отпускным в школе, Эммануил де Солис привел Жана.

— Ну, как? — печально спросил он, подходя к Маргарите.

— Я уступила, — ответила она.

— Жизнь моя! — сказал он с какой-то меланхолической радостью. — Если вы устояли бы, я восхищался бы вами; а такую, слабую, я вас боготворю!

— Бедный, бедный Эммануил, что останется на нашу долю?

— Предоставьте мне действовать, — воскликнул молодой человек, просияв, — мы друг друга любим, все пойдет хорошо!

Несколько месяцев протекло совершенно спокойно[36]. Де Солис внушил Маргарите, что все равно состояние не скопишь, урезывая себя в мелочах, и советовал ей не экономить на хозяйстве, а для поддержания в доме достатка взять остальные деньги, которые были у него на хранении. В это время Маргариту не раз охватывала тревога, которая при подобных же обстоятельствах некогда волновала ее мать. Как ни мало было в ней веры, все же она стала возлагать надежды на гений отца. Хотя это необъяснимо, но многие надеются, не имея веры. Надежда — цвет желания, вера — плод убежденности. Маргарита думала: «Если отец добьется своей цели, мы будем счастливы». Только один Клаас да Лемюлькинье говорили: «Мы добьемся!» К несчастью, с каждым днем все более омрачалось лицо Клааса. Приходя обедать, он иногда не смел взглянуть на дочь, иногда же бросал на нее торжествующие взгляды. Ежедневно молодой де Солис весь вечер разъяснял Маргарите трудные места в законах; она забрасывала отца вопросами об их семейных связях. Так закончила она свое мужское образование, очевидно, готовясь выполнить план, задуманный ею на случай, если отец еще раз потерпит поражение в поединке с *Неизвестным (X)*.

В начале июля Валтасар провел целый день, сидя на скамье в саду, погрузившись в печальные размышления. Не раз взглянул он на клумбу, лишенную тюльпанов, на окна комнаты, где жила Жозефина; без сомнения, он содрогался от мысли, во что обошлась его борьба; по всему было видно, что он думает не о науке. Незадолго до обеда Маргарита подсела к нему с работой.

— Что же, папенька, не удалось?

— Нет, дитя мое...

— Ах, я не сделаю вам ни малейшего упрека, мы оба виноваты, —

нежно сказала Маргарита. — Я требую только, чтобы вы свое слово выполнили, оно должно быть свято; ведь вы — Клаас. Любовью и уважением окружают вас дети, но с нынешнего дня вы у меня под властью и обязаны повиноваться. Будьте спокойны, правление мое будет мягким, и я даже постараюсь, чтобы оно кончилось скоро. Я беру с собой Марту и уезжаю на месяц или около того, чтобы устроить ваши дела; ведь вы мое дитя, — добавила она, целуя его в лоб. — Завтра хозяйничать начнет Фелиси. Бедной девочке только семнадцать лет, ей против вас не устоять; будьте великодушны и копейки не просите у нее, ей дано ровно столько, сколько нужно для домашних расходов. Соберитесь с духом, на два-три года откажитесь от ваших работ и замыслов. Научная задача ваша созреет, я соберу деньги, необходимые для ее решения, и вы ее решите. Вот так. Разве королева ваша не милостива, скажите?

— Значит, не все потеряно! — сказал старик.

— Нет, если вы верны вашему слову.

— Буду покорен вам, дочь моя, — ответил Клаас с глубоким волнением.

На следующий день за Маргаритой заехал ее двоюродный дед Конинкс из Камбрэ. Он приехал в дорожной карете и пожелал остановиться у своего родственника только на короткое время, пока соберутся в дорогу Маргарита и Марта. Клаас приветливо принял родственника, но по всему было видно, как хозяин печален и унижен. Старый Конинкс угадал мысли Валтасара и за завтраком сказал ему с грубоватой откровенностью:

— У меня висят некоторые из ваших картин, люблю хорошие картины, — разорительная страсть, но мы все безумствуем, каждый по-своему...

— Дорогой мой дедушка! — сказала Маргарита.

— Идут слухи, что вы разорены, но у Клаасов всегда сохраняются сокровища вот здесь, — сказал он, ударяя себя по лбу. — И здесь также, не правда ли? — добавил, указывая себе на сердце. — А потому полагаюсь на вас! У меня в мошне нашлось несколько экю, можете ими располагать.

— Ах! — воскликнул Валтасар. — Я отдам вам целые сокровища...

— Единственные сокровища, которыми мы во Фландрии обладаем, — это терпение и труд, — сурово отвечал Конинкс. — Два эти слова начертаны на лбу у нашего предка, — сказал он, показывая на портрет Ван-Клааса, председателя суда.

Маргарита обняла отца, простилась с ним и, дав распоряжения Жозете и Фелиси, в почтовой карете отправилась в Париж. Овдовев, дедушка остался лишь с двенадцатилетней дочерью, а владел он огромным состоянием, — таким образом, представлялось вполне возможным, что он захочет жениться; и вот обитатели Дуэ решили, что Маргарита Клаас выходит за него замуж. Слухи об этом богатом женихе и привели нота-

риуса Пьеркена в дом Клаасов. Значительные перемены произошли в понятиях сего превосходного калькулятора. Последние два года городское общество разделено было на два враждебных лагеря. Дворянство сплотилось в один высший круг, буржуазия во второй, естественно, очень враждебный первому. Это внезапное разделение произошло по всей Франции и образовало в ней две отдельные, враждующие между собою нации, в которых все возрастало взаимное завистливое раздражение, послужившее в провинции одной из главных предпосылок для успеха июльской революции 1830 года. Между двумя общественными кругами, из которых один был крайне монархичен, другой — крайне либерален, очутились чиновники, допускаемые, смотря по чину, в тот или другой круг и в момент падения законной власти оставшиеся нейтральными. В начале борьбы между дворянством и буржуазией роялистские кафе завели у себя неслыханную роскошь и так блестяще соперничали с кафе либералов, что их своеобразные гастрономические праздники, говорят, стоили жизни многим особам, которые, подобно плохо отлитым мортирам, не выдержали такого испытания. Разумеется, оба круга замкнулись и отстранили от себя посторонних. Хотя Пьеркен и был, по провинциальной мерке, очень богат, его не приняли в аристократическое общество и оттеснили к буржуазному. Самолюбие его сильно страдало от ряда понесенных им неудач, когда он видел, как мало-помалу спроваживают его от себя те, с кем прежде он поддерживал отношения. Он достиг сорокалетнего возраста — крайний срок, когда подумывающий о браке мужчина еще может жениться на молодой особе. Партии, на какие он мог притязать, относились к кругу буржуазному, тогда как честолюбие тянуло его в высший свет, куда должен был открыть ему доступ аристократический брак.

Живя уединенно, семейство Клаасов осталось чуждо этим общественным переменам. Хотя Валтасар Клаас принадлежал к старинной провинциальной аристократии, можно было предполагать, что, погруженный в свои изыскания, он не проникся антипатиями, порожденными новым разделением общества. Как ни была бедна дочь Клааса, супруг получил бы за нею в приданое удовлетворенное тщеславие, столь ценимое всеми выскочками. И вот Пьеркен вернулся к Клаасам с тайным намерением принести необходимые жертвы, только бы добиться заключения брака, сулившего ему осуществление его честолюбивых желаний. Навещая Валтасара и Фелиси во время отсутствия Маргариты, он, хотя и с запозданием, признал Эммануила де Солиса опасным соперником. Наследство покойного аббата считалось значительным, и человек, переводивший все в жизни на цифры, в деньгах молодого наследника видел силу более важную, чем соблазны чувства, о которых Пьеркен никогда не беспокоился. Этим богатством возвращалось имени Солиса все его значение. Золото и родовитость были подобны двум люстрам, которые усиливают свой блеск,

отражая одна другую. Искренняя привязанность молодого директора к Фелиси, с которой он обращался, как с сестрой, возбудила ревность нотариуса. Он попытался затмить Эммануила модным жаргоном и поверхностно галантными словечками в сочетании с мечтательным видом и элегической озабоченностью, которые были ему так к лицу. Говоря, что во всем на свете разочарован, он поглядывал на Фелиси так, точно она одна могла бы примирить его с жизнью. Фелиси, к которой впервые мужчина обращался с комплиментами, прислушивалась к этим речам, всегда столь приятным, даже если они лживы; пустоту она приняла за глубину, и, испытывая потребность на что-нибудь направить те неясные чувства, что переполняли ее сердце, она обратила внимание на своего родственника. Быть может, безотчетно, но она завидовала тому, как Эммануил расточал сестре нежные знаки внимания, и, вероятно, ей хотелось самой привлекать к себе взгляды, мысли и заботы мужчины. Пьеркен без труда разобрал, что Фелиси предпочитает его Эммануилу, и это было для него основанием удвоить свои усилия, — в результате он запутался больше, чем сам того хотел. Эммануил наблюдал за началом чувства, притворного у нотариуса, но наивного у Фелиси, вся будущность которой делалась ставкой в игре. Потом у Пьеркена с Фелиси пошли тихие беседы, словечки, произнесенные шёпотом за спиной Эммануила, маленькие уловки, придающие взглядам и словам особую, вкрадчивую приятность, которая приводит к простодушным заблуждениям. Пользуясь отношениями с Фелиси, Пьеркен пытался проникнуть в тайну предпринятого Маргаритой путешествия, чтобы узнать, не идет ли дело о браке и не должен ли он отказаться от своих надежд; но как он тонко ни действовал, ни Валтасар, ни Фелиси ничего не могли объяснить ему по той причине, что сами они ничего не знали о проекте Маргариты, которая, принимая власть, следовала, казалось, правилам всех властителей и молчала о своих намерениях. Скучными стали вечера из-за угрюмой печали и вялости Валтасара. Хотя Эммануилу и удалось приучить химика к игре в триктрак, Валтасар играл рассеянно; да и вообще этот человек столь большого ума производил теперь впечатление глупца. Потеряв надежду, униженный тем, что поглотил три состояния, чувствуя себя игроком, у которого нет денег, он сгибался под тяжестью разорения, под бременем надежд, обманутых, но не разрушенных. Человек гениальный, которому нужда связала руки, который сам себя проклинал, являл собою зрелище поистине трагическое, способное растрогать человека самого бесчувственного. Даже Пьеркен с невольным уважением смотрел на этого льва в клетке, который только взглядом, исполненным затаенной силы, спокойным и печальным, потускневшим от слишком яркого света, просил милостыни, не смея ничего произнести устами. Порой молния пробегала по иссохшему лицу, оживлявшемуся от мысли о каком-нибудь новом опыте; иногда — если, окидывая взором залу, он глядел на то место, где умерла его жена, —

скупые слезы, как горячие крупицы песка, навертывались в пустыне его глаз, широко раскрытых в созерцании какой-то идеи, и он низко опускал голову. Он, как титан, поднял на себе мир, и вновь мир, еще тяжелее, упал ему на грудь. Эта скорбь гиганта, которую он мужественно сдерживал, действовала на Пьеркена и на Эммануила, иногда они бывали растроганы до того, что готовы были предложить ему сумму, необходимую для ряда опытов, — так заразительна убежденность гения! Оба они начинали понимать, как могли г-жа Клаас и Маргарита бросать в пучину миллионы; но разум вскоре останавливал порывы сердца, и их растроганность выражалась лишь в словах утешения, от которых только острее становились муки пораженного молнией титана. Клаас совсем не говорил о своей старшей дочери, не беспокоился о том, что ее здесь нет, что она хранит молчание, не пишет ни ему, ни Фелиси. Когда Солис и Пьеркен спрашивали о ней, казалось, это действовало на Клааса неприятно. Предчувствовал ли он, что Маргарита замышляет что-то против него? Или сознавал он себя униженным тем, что передал дочери свои высокие отцовские права? Меньше ли стал любить ее оттого, что она становилась отцом, а он — ребенком? Быть может, много причин, много необъяснимых чувств, проносящихся в душе, как облака, обусловили ту молчаливую немилость, на которую он обрекал Маргариту. Как ни велики в своих исканиях великие люди, известные или неизвестные, счастливые или несчастливые, но им тоже свойственна мелочность, роднящая их с обыкновенными людьми. Вдвойне несчастные, они не меньше страдают от своих достоинств, чем от недостатков; быть может, и Валтасару пришлось свыкаться с муками оскорбленного тщеславия. Жизнь, какую он вел, и вечера, когда в отсутствие Маргариты они собирались вчетвером, были, таким образом, отмечены печалью, полны смутных опасений. То были дни бесплодные, как сухие степи, где тем не менее они находили кое-какие цветы, редкие утешения. Атмосфера казалась туманной в отсутствие старшей дочери, сделавшейся душой, надеждой и силой семьи. Так прошло два месяца, в течение которых Валтасар терпеливо дожидался приезда Маргариты. Ее привез в Дуэ дедушка, который, вместо того чтобы возвратиться в Камбрэ, остался в доме Клаасов, вероятно, рассчитывая своим авторитетом поддержать государственный переворот, задуманный внучкой. Приезд Маргариты стал маленьким семейным праздником. Фелиси и Валтасар пригласили в этот день к обеду нотариуса и Эммануила де Солиса. Когда дорожный экипаж остановился у ворот дома, все четверо, громко выражая свою радость, вышли встретить путешественников. Казалось, Маргарита была счастлива вновь очутиться под отчим кровом, глаза ее наполнились слезами, когда она проходила через двор, направляясь в залу. Однако, когда она обнимала отца, чувствовалось, как она смущена и что-то таит от него. Маргарита краснела, как виноватая жена, не умеющая притворяться, но вновь стали ясными ее глаза, когда

она взглянула на Эммануила, в котором, казалось, она черпала силы, чтобы осуществить до конца свой тайный замысел. За обедом, несмотря на веселость, оживлявшую лица и речи, отец и дочь посматривали друг на друга недоверчиво и пытливо. Валтасар не спрашивал Маргариту о пребывании ее в Париже, конечно, из чувства отцовского достоинства. Эммануил де Солис подражал ему в сдержанности. Но Пьеркен, привыкший узнавать все семейные тайны, сказал Маргарите, прикрывая любопытство притворным простодушием:

— Ну, как, дорогая кузина, посмотрели вы Париж, побывали в театрах?

— Ничего не видала я в Париже, не для развлечений ездила я туда, — ответила она. — Дни у меня шли так печально, слишком нетерпеливо я ожидала, когда снова увижу Дуэ.

— Не побрани я Маргариту, она и в Оперу не пошла бы, да и там, впрочем, скучала, — сказал г-н Конинкс.

Наступил тягостный вечер, все чувствовали себя стесненно, улыбались нерадостно или старались скрыть тревогу под показной веселостью. Маргариту и Валтасара охватило глухое, жестокое беспокойство, и это действовало на всех. С каждым часом отцу и дочери все труднее было сдерживать себя. Иногда Маргарита пыталась улыбнуться, но жесты, взор и звук голоса выдавали ее сильное беспокойство. Конинкс и де Солис знали причину тайного беспокойства благородной девушки и точно подбадривали ее выразительными взглядами. Задетый тем, что его не посвятили в планы и хлопоты, предпринятые ради него, Валтасар понемногу отдалялся от детей и друзей, предпочитая хранить молчание. Ему, вероятно, вскоре предстояло услышать от Маргариты, что́ она решила относительно него. Для незаурядного человека и для отца это положение было невыносимо. Дожив до такого возраста, когда от детей ничего не скрывают, когда широта мысли придает силу чувствам, он делался все более серьезным; задумчивым и печальным, видя, как приближается момент его гражданской смерти. Этот вечер принес с собой перелом во внутренней жизни семьи, которому можно дать лишь образное пояснение. На небе скопились тучи и молнии; в полях раздавался смех; было душно, жарко; все предчувствовали грозу, тревожно поднимали голову, но продолжали свой путь. Г-н Конинкс первый пошел спать, и Валтасар проводил его в отведенную ему комнату. Тем временем ушли Пьеркен и г-н де Солис. Маргарита благосклонно простилась с нотариусом и ничего не сказала Эммануилу, только пожала ему руку, взглянув на него влажными глазами. Она отослала Фелиси, и когда Клаас вернулся в залу, он застал там только свою старшую дочь.

— Отец, — сказала она с дрожью в голосе, — только тяжелые обстоятельства, в каких мы очутились, могли заставить меня покинуть дом; но после многих тревог, преодолев неслыханные трудности, я возвращаюсь с кое-какими шансами на спасение всех нас. Благодаря вашему имени,

влиянию дяди и протекции господина де Солиса мы добились для вас места управляющего окладными сборами в Бретани; оно дает, говорят, восемнадцать — двадцать тысяч в год. Дядя внес залог... Вот ваше назначение, — сказала она, вынимая из сумки письмо. — Жить здесь в эти годы жертв и лишений было бы для вас невыносимо. Наш отец должен остаться в положении по крайней мере таком же, какое он всегда занимал. Из вашего жалованья я ничего не потребую, употребляйте его, как вам заблагорассудится. Только умоляю вас подумать о том, что у нас нет ни копейки дохода и что мы все будем жить на то, сколько уделит нам Габриэль. В городе ничего не будут знать о нашей монастырской жизни. Если бы вы остались дома, то были бы помехой для того, что мы с сестрою предпримем с целью вернуть семье благосостояние. Злоупотребила ли я данной мне властью, ставя вас в такое положение, что вы сами можете поправить свои дела? Через несколько лет, если захотите, вы будете главноуправляющим окладными сборами.

— Итак, Маргарита, — кротко сказал Валтасар, — ты выгоняешь меня из моего дома.

— Я не заслуживаю такого сурового упрека, — ответила дочь, сдерживая бурное биение сердца. — Вы вернетесь к нам, когда вам можно будет жить в родном городе, как вам подобает. Впрочем, папенька, разве вы мне не дали слова? — продолжала она холодно. — Вы должны мне повиноваться. Дедушка остался, чтобы вы поехали в Бретань с ним вместе, а не путешествовали один.

— Не поеду! — воскликнул Валтасар, поднимаясь. — Ни в чьей помощи не нуждаюсь, чтобы поправить свои дела и выплатить долги детям.

— Но я вам предлагаю наилучший исход, — невозмутимо продолжала Маргарита. — Попрошу вас подумать о взаимных наших отношениях, которые я вам в немногих словах объясню. Если вы остаетесь в этом доме, ваши дети уедут отсюда, предоставляя вам здесь быть хозяином.

— Маргарита! — крикнул Валтасар.

— Затем, — продолжала она, не желая замечать раздражения отца, — придется уведомить министра о вашем отказе, раз вы не хотите принять доходного и почетного места, которого мы, несмотря на хлопоты и протекцию, не получили бы, если бы дядя ловко не вложил несколько тысячефранковых билетов в перчатку одной дамы...

— Покинуть меня!

— Или вы нас покинете, или мы бежим от вас, — сказала она. — Будь я единственным у вас ребенком, я подражала бы матери, не ропща на уготованную вами участь. Но сестра моя и оба брата не погибнут от голода и отчаяния возле вас; так обещала я той, которая умерла здесь, — сказала она, показывая на ложе покойной матери. — Мы таили от вас наши горести, мы страдали молча; а теперь силы наши истощились. Мы

уже не на краю пропасти, а на самом дне, отец! Одно только наше мужество нас не спасет, нужно еще, чтобы наши усилия не уничтожались беспрестанными прихотями страсти...

— Милые дети, — воскликнул Валтасар, хватая руку Маргариты, — я буду вам помогать, буду работать, я...

— Вот пути к тому, — ответила она, показывая на министерское письмо.

— Ангел мой, для того, чтобы поправить состояние таким способом, каким ты предлагаешь, потребуется слишком много времени! Из-за тебя я потеряю плоды десятилетних работ и огромные суммы, вложенные в мою лабораторию. Вот где, — сказал он, указывая на чердак, — все источники нашего богатства.

Маргарита пошла к дверям со словами:

— Отец, выбирайте!

— Ах, дочь моя, вы очень суровы! — ответил он, садясь в кресло и не пытаясь удержать дочь.

На следующий день утром Маргарита узнала от Лемюлькинье, что Клааса нет дома. При таком простом сообщении она побледнела, и такой ужас был написан на ее лице, что старый лакей сказал ей:

— Будьте покойны, барышня, барин сказал, что вернется в одиннадцать часов к завтраку. Они не ложились. В два часа утра стояли еще в зале и смотрели в окно на крышу лаборатории. Я дожидался в кухне и видел, они плакали, у них горе. А ведь настал славный июль месяц, когда солнце способно всех нас обогатить, и если бы вам было угодно...

— Довольно! — сказала Маргарита, угадывая, какие мысли, должно быть, осаждали отца.

С Валтасаром в самом деле произошло то, что имеет силу над всеми домоседами; жизнь его зависела, так сказать, от мест, с которыми он себя отождествил, мысль его настолько была связана с лабораторией и домом, что они стали ему необходимы, как биржа игроку, для которого праздники — потерянные дни. Здесь были его надежды, здесь нисходила с неба единственная атмосфера, в которой его легкие могли вдыхать живительный воздух. Такая зависимость от места и вещей, столь властная у натур слабых, становится почти тиранической у людей знания и науки. Покинуть свой дом — для Валтасара это значило отказаться от науки, от своей задачи, значило умереть.

Маргарита была в крайнем волнении до самого завтрака. Ей пришла на память сцена, чуть не доведшая Валтасара до самоубийства, и при том отчаянном положении, в каком находился отец, она боялась трагической развязки. Взад и вперед ходила она по зале, вздрагивая при каждом звонке у двери. Наконец Валтасар вернулся. Пока он пересекал двор, Маргарита с тревогой приглядывалась к его лицу и увидала лишь выражение глубокой скорби. Когда он вошел в залу, она подбежала к нему

поздороваться; он нежно взял ее за талию, прижал к сердцу, поцеловал в лоб и сказал на ухо:

— Я ходил за паспортом.

Звук голоса, покорный взгляд и движения отца — все сокрушило сердце бедной девушки; она отвернулась, чтобы скрыть слезы, но, будучи не в силах справиться с ними, пошла в сад и вернулась, лишь когда наплакалась вволю. За завтраком Валтасар казался веселым, как человек, принявший решение.

— Значит, дядя, едем в Бретань, — сказал он г-ну Конинксу. — Мне всегда хотелось посмотреть эти края.

— Жить там дешево, — ответил старик.

— Папа уезжает? — воскликнула Фелиси.

Вошел де Солис, он привел Жана.

— Оставьте нам его нынче на весь день, — сказал Валтасар, сажая сына около себя. — Я завтра уезжаю, хочу проститься с ним.

Эммануил взглянул на Маргариту, которая опустила голову. Мрачен был этот день, все были печальны и боролись с тягостными мыслями или со слезами. То была не отлучка, а изгнание. Да и все инстинктивно чувствовали, сколько унижения для отца в том, что он так публично признается в своих неудачах, поступая на службу и, несмотря на свои преклонные годы, покидая семью. Но в нем чувствовалось величие, как в Маргарите — твердость; казалось, благородно несет он возмездие за ошибки, к которым привели увлечения его гениального ума. Когда вечер прошел и отец остался наедине с дочерью, Валтасар, весь день державший себя нежно и внимательно, как то было в лучшие дни его патриархальной жизни, протянул руку Маргарите и сказал ей голосом нежным и вместе с тем полным отчаяния:

— Довольна ты своим отцом?

— Вы достойны *его*, — ответила Маргарита, показывая на портрет Ван-Клааса.

На следующее утро Валтасар в сопровождении Лемюлькинье поднялся в лабораторию как бы для того, чтобы проститься с надеждами, которые он лелеял и которые здесь оживали перед ним в начатых работах. Хозяин и слуга обменялись меланхолическим взглядом, взойдя на чердак, быть может, в последний раз. Валтасар рассматривал машины, над которыми так долго парили его мысли: каждая была связана с воспоминанием о каких-нибудь поисках, о каком-нибудь опыте. Печально приказал он Лемюлькинье выпустить ядовитые газы и кислоты, подальше одно от другого спрятать вещества, от соединения которых мог бы произойти взрыв. Принимая такие меры, он горько сетовал на свою судьбу, как сетует осужденный на смерть, готовясь идти на эшафот.

— Вот, однако, очень важный опыт, и результата его следовало бы подождать, — сказал он, останавливаясь перед ванной, куда были погружены

оба провода вольтова столба. — Если бы он удался — какая ужасная мысль! — мои дети не прогнали бы отца, — ведь я бросил бы алмазы к их ногам... Вот комбинация углерода и серы, — добавил он, разговаривая сам с собою, — тут углерод играет роль положительного электрода, кристаллизация должна начаться на отрицательном электроде, и в случае разложения углерод оказался бы кристаллизованным...

— Ах, вот как! — сказал Лемюлькинье, с восхищением смотря на хозяина.

— Ведь эта комбинация подвергается воздействию вольтова столба, а оно может не прекращаться!.. — немного погодя продолжал Валтасар.

— Если вам, барин, угодно, я еще усилю его...

— Нет, нет, нужно его оставить таким, как оно есть. Покой и время — условия, существенные для кристаллизации!..

— Чёрт возьми! Приходится дать ей время, этой кристаллизации! — воскликнул лакей.

— Если температура понизится, сернистый углерод кристаллизуется, — сказал Валтасар, сопровождая невнятными, отрывистыми словами размышление, которое в уме его складывалось в убедительной и ясной форме, — но если действие вольтова столба будет происходить при каких-то неизвестных мне условиях... нужно бы понаблюдать... возможно... Но о чем же я думаю? О химии нечего говорить, друг мой, едем в Бретань ведать окладными сборами...

Клаас стремительно покинул лабораторию и сошел вниз, к последнему семейному завтраку, на который были приглашены Пьеркен и де Солис. Валтасар спешил покончить с агонией науки, он простился с детьми и вместе с дядей сел в экипаж; вся семья провожала его до порога. Когда Маргарита горестно обняла отца и он шепнул ей на ухо: «Ты добрая дочь, никогда не стану на тебя сердиться!» — она пробежала через двор, скрылась в зале, стала на колени там, где умерла ее мать, и вознесла богу горячую молитву, прося сил для выполнения суровых трудов в новой своей жизни. Когда вернулись сестра, брат, Эммануил и Пьеркен, проводив взглядом коляску, пока она не скрылась из глаз, сердцу Маргариты придал мужество некий внутренний голос, в котором ей послышалось одобрение ангелов и благодарность матери.

— Что же вы теперь будете делать? — сказал ей Пьеркен.

— Спасать семью, — ответила она просто. — У нас есть около тысячи трехсот десятин в Вэньи. Я намереваюсь их расчистить, разделить на три фермы, возвести необходимые для хозяйства постройки, отдать в аренду и думаю, что через несколько лет, при большой бережливости и терпении, у каждого из нас, — сказала она, показывая на сестру и брата, — будет по ферме в четыреста с лишним десятин, которая со временем будет давать до пятнадцати тысяч франков дохода. На долю брата

Габриэля остаются дом и бумаги государственного казначейства. Со временем мы вернем отцу его состояние чистым от обязательств, употребив наши доходы на погашение его долгов.

— Дорогая кузина, — сказал нотариус, изумленный ее деловитостью и трезвым рассудком, — ведь вам нужно более двухсот тысяч франков, чтобы расчистить землю, построить фермы и купить скот... Где достанете вы такую сумму?

— Здесь начинаются затруднения, — сказала она, поглядывая то на нотариуса, то на г-на де Солиса, — у дедушки просить я не смею, он уже внес залог за отца!

— У вас есть друзья! — воскликнул Пьеркен, вдруг осознав, что *обе барышни Клаас были как-никак невестами, по меньшей мере на пятьсот тысяч франков каждая.*

Эммануил де Солис умиленно посмотрел на Маргариту, а Пьеркен при всем своем энтузиазме, к несчастью для себя, остался нотариусом и продолжал так:

— Вот, я предлагаю вам эти двести тысяч франков!

Эммануил и Маргарита, молчаливо советуясь, обменялись взглядом, от которого все стало ясно Пьеркену. Фелиси залилась румянцем — она была счастлива, что ее Пьеркен оказался таким великодушным, как ей хотелось. Она взглянула на сестру, которая сразу догадалась, что за время ее отсутствия бедняжка поддалась на банальные ухаживания Пьеркена.

— Я возьму с вас только пять процентов, — сказал он. — Вернете, когда захотите, дадите мне закладную на вашу землю; но будьте покойны, вам придется только оплатить издержки по составлению договоров, я сам отыщу вам хороших арендаторов и все дела буду вести бесплатно, чтобы помочь вам как добрый родственник.

Эммануил подал знак Маргарите, чтобы она отказалась; но та слишком внимательно следила за малейшей сменой выражений на лице сестры, чтобы заметить его знак. Помолчав, она иронически посмотрела на нотариуса и сама, к великой радости де Солиса, сказала:

— Вы очень добрый родственник, другого от вас я и не ждала; но пять процентов замедлят наше избавление, я подожду совершеннолетия брата, тогда продадим его ренту.

Пьеркен закусил губу; Эммануил тихо улыбнулся.

— Фелиси, дорогая, проводи Жана в коллеж, — сказала Маргарита, показывая на брата. — С тобой пойдет Марта. А ты, Жан, ангел мой, будь умницей, не рви платья, мы не настолько богаты, чтобы шить новое так часто, как делали это до сих пор. Ну, иди, малыш, учись хорошенько.

Фелиси с братом ушли.

— Вы оба, конечно, навещали отца, когда меня не было? — обратилась Маргарита к Пьеркену и де Солису. — Благодарю вас за эти знаки дружбы. Надеюсь, не откажете вы в них и нам, двум бедным девушкам,

нуждающимся в совете. Но условимся заранее... Когда я буду жить здесь, в городе, мы с величайшей радостью готовы принимать вас у себя; когда же Фелиси будет оставаться одна с Жозетой и Мартой, она, само собой разумеется, не должна никого видеть, будь то старый друг или преданнейший родственник. Мы очутились в таких обстоятельствах, что должны держать себя безупречно строго. Итак, мы обречены на долгий труд и уединение.

Некоторое время царило молчание. Эммануил, погруженный в созерцание лица Маргариты, точно онемел. Пьеркен не знал, что сказать. Нотариус распростился с Маргаритой, кляня в душе самого себя; он понял, что Маргарита любит Эммануила и что он, Пьеркен, вел себя сейчас, как дурак.

— Эх, Пьеркен, друг мой, — сам к себе обратился он с речью на улице. — Кто скажет, что ты порядочная скотина, тот будет прав. Ну не глуп ли я? У меня двести тысяч ливров ренты, помимо моей конторы, не считая еще наследства от дядюшки Дэраке, у которого я единственный наследник, так что он удвоит мне состояние рано или поздно (впрочем, смерти я ему не желаю, ведь он бережлив!), а я так опозорился, потребовав от Маргариты Клаас процентов. Уверен, что они вдвоем смеются теперь надо мною. Нечего мне больше думать о Маргарите! Нет! В конце концов Фелиси — кроткое и доброе существо и, право, больше мне подходит. У Маргариты железный характер, она захотела бы повелевать мною и повелевала бы! Ну, проявим великодушие, не будем же до такой степени нотариусом, разве уж так трудно мне сбросить с себя эту сбрую. Бумажная душа! Буду любить Фелиси и на том стоять!.. У нее будет ферма в четыреста тридцать десятин, которая в свое время даст пятнадцать — двадцать тысяч ливров дохода, ведь земля в Вэньи не плоха. Вот умрет мой дядя Дэраке, бедняжка, — тогда продаю свою контору и становлюсь господином с пять-ю-де-сять-ю ты-сяч-а-ми ливров ренты. Жена моя — Клаас, я породнюсь со знатными домами. Чёрт возьми! Посмотрим, откажутся ли все эти Куртвили, Магалены, Савароны де Саварюсы посетить Пьеркен Клааса-Молина-Ноуро! Стану в Дуэ мэром, получу крест, могу быть депутатом, всего достигну... Вот так! Пьеркен, друг мой, на этом и стой, глупостей больше делать не будем, тем более что, честное слово, Фелиси ... мадемуазель Фелиси Ван-Клаас любит тебя.

Когда влюбленные остались одни, Эммануил протянул руку Маргарите; девушка не могла удержаться и подала ему свою. Не сговариваясь, они сразу встали и направились к своей скамейке в саду; но, проходя по залу, Эммануил не вытерпел и голосом, дрожащим от радостного волнения, сказал Маргарите:

— У меня есть для вас триста тысяч франков!..

— Как, — воскликнула она, — бедная моя маменька передала вам еще?.. Нет... Так что же?

— О моя Маргарита, все, что мне принадлежит, — ваше! Разве не вы первая произнесла «мы»?

— Дорогой Эммануил! — сказал она, сжимая его руку, которую все еще держала в своей, и, вместо того чтобы идти в сад, бросилась в кресло.

— Не меня, а вас нужно благодарить, — сказал он с любовью в голосе, — за то, что вы соглашаетесь принять.

— Эта минута, дорогой мой возлюбленный, — сказала она, — может изгладить много горя, она приближает нас к счастливому будущему. Да, я принимаю твое богатство, — продолжала она, и по губам ее порхала ангельская улыбка, — я знаю, как сделать, чтобы оно стало моим.

Она взглянула на портрет Ван-Клааса, точно призывая его в свидетели. Молодой человек, следивший за взглядом Маргариты, не видал, как она сняла с пальца девичье колечко, и заметил это, только когда услыхал ее слова:

— Среди глубоких наших бедствий вдруг рождается счастье. Отец мой по беспечности предоставил мне свободно распоряжаться собою, — сказала она, протягивая кольцо, — возьми, Эммануил! Моя мать любила тебя, она одобрила бы мой выбор.

Слезы выступили на глазах Эммануила, он побледнел, упал на колени и сказал Маргарите, давая ей перстень, который всегда носил:

— Вот обручальное кольцо моей матери. Маргарита моя, — продолжал он, целуя кольцо, — получу ли я еще иной залог?

Она нагнулась, подставляя лоб губам Эммануила.

— Увы! Бедный мой возлюбленный, хорошо ли мы поступаем? — сказала она в сильном волнении. — Ведь нам так долго придется ждать.

— Мой дядя говорил, что обожание — это насущный хлеб терпения, подразумевая любовь христианина к богу. Так и тебя могу я любить, уже давно я не отличаю тебя от вседержителя: принадлежу тебе, как ему.

Некоторое время они оставались охваченными сладостным волнением. То было искреннее и спокойное излияние чувства, которое, подобно ручью, вышедшему из берегов, разливалось непрерывными струями. События, разлучившие влюбленных, порождали печаль, которая сделала их счастье еще живее, придав ему как бы остроту боли. Слишком для них рано вернулась Фелиси. Повинуясь прелестной чуткости, свойственной тем, кто любит, Эммануил оставил сестер вдвоем, — лишь на прощание обменялся он с Маргаритой взглядом, и она могла увидеть, чего стоила ему такая сдержанность, до того ясно выразил этот взгляд всю жажду счастья, долгожданного и только что освященного обручением сердец.

— Поди-ка сюда, сестрица, — сказала Маргарита, нежно обвив рукой шею Фелиси.

Она повела ее в сад, и они уселись на скамейке, которой каждое поколение вверяло свои любовные речи и скорбные вздохи, свои размышления и планы. Несмотря на веселый тон и нежно-лукавую улыбку сестры,

Фелиси ощутила волнение, похожее на страх. Маргарита взяла ее за руку и почувствовала, что эта рука дрожит.

— Послушайте, мадемуазель Фелиси, — сказала старшая сестра, наклоняясь к уху младшей. — Я читаю в вашей душе. Пьеркен часто приходил, пока меня не было, он приходил каждый вечер, говорил вам приятные слова, а вы их слушали.

Фелиси покраснела.

— Не оправдывайся, ангел мой, — продолжала Маргарита, — ведь так естественно — любить! Быть может, твое сердечко воздействует немного на натуру Пьеркена: он эгоистичен, расчетлив, но человек порядочный, и, может быть, даже его недостатки послужат тебе к счастью. Он будет любить тебя, как самую красивую свою вещь, устроит твою жизнь, как привык устраивать свои дела. Прости мне такие слова, милый друг! От скверной привычки видеть во всем только выгоду ты отучишь его тем, что преподашь ему законы сердца.

Фелиси ничего не оставалось, как обнять сестру.

— К тому же, — продолжала Маргарита, — он состоятелен. Семья его принадлежит к высшей и стариннейшей буржуазии. Да и мне ли противиться твоему счастью, если ты не хочешь его искать в блестящей партии?

— Дорогая сестра! — шепнула Фелиси,

— О да, ты можешь мне довериться! — воскликнула Маргарита. — Признаться друг другу в наших тайнах — что может быть естественней для нас с тобою?

Ее задушевные слова повели к той очаровательной беседе, когда молодые девушки все говорят друг другу. Маргарита, которую любовь сделала прозорливой, поняла, что творится в сердце Фелиси, и в заключение сказала:

— Ну, хорошо, дорогое мое дитя, удостоверимся, что Пьеркен действительно тебя любит, и тогда...

— Предоставь мне действовать самой, — ответила Фелиси со смехом, — у меня есть образец для подражания.

— Дурочка! — сказала Маргарита, целуя ее в лоб.

Хоть Пьеркен принадлежал к тому разряду людей, которые в браке видят обязательства, исполнение законов общества и способ передачи имущества, и хотя ему безразлично было, жениться ли на Фелиси, или на Маргарите, раз у той и другой одна и та же фамилия и одинаковое приданое, — тем не менее он заметил, что обе они, по его выражению, *девицы романические и сентиментальные* (два прилагательных, употребляемых бессердечными людьми, чтобы посмеяться над дарами, которые природа скупой рукой сеет по бороздам человечества), и нотариус, вероятно, решил: с волками жить, по-волчьи выть, — на следующий день он пришел к Маргарите, таинственно увел ее в садик и заговорил о чувствах, раз

таковы требования предварительного договора, который, по законам света, предшествует договору нотариальному.

— Дорогая Маргарита, — сказал он ей, — не всегда были мы одного мнения относительно того, какие средства употребить, чтобы добиться успеха в ваших делах; но вы должны теперь признать, что всегда мною руководило огромное желание быть вам полезным. Ну, вот. Вчера, предлагая вам помощь, я все испортил из-за роковой привычки, происходящей от *нотариального* склада ума, понимаете?.. Мое сердце не соучастник в содеянной мною глупости. Я очень полюбил вас, но мы, нотариусы, не лишены некоторой прозорливости, и я заметил, что вам не нравлюсь. Сам виноват! Другой был более ловок. Ну, так вот, теперь я пришел, чтобы сообщить вам чистосердечно, что питаю подлинную любовь к сестре вашей Фелиси. Отнеситесь ко мне как к брату! Занимайте у меня, попросту берите! Эх, что там, чем больше возьмете, тем больше докажете свою дружбу. Весь к вашим услугам, *без процентов*, понимаете? Не только двенадцати, даже четверти процента не возьму. Найдут меня достойным Фелиси, я буду доволен. Простите мне мои недостатки, они развились во мне от деловой практики, сердце же у меня доброе, и ради счастья своей жены я готов буду хоть броситься в Скарпу.

— Вот и славно! — сказала Маргарита. — Но все зависит от сестры и отца...

— Знаю, дорогая Маргарита, — сказал нотариус, — но ведь вы заступили для всего семейства место матери, и как к *таковой* я к вам и обращаюсь. Будьте судьей моего сердца.

Эта манера говорить достаточно рисует честного нотариуса. Позже Пьеркен прославился своим ответом коменданту Сен-Омерского лагеря, который приглашал его на военный праздник; ответ начинался так: «Г. Пьеркен-Клаас де Молина-Ноуро, мэр города Дуэ, кавалер ордена *Почетного легиона*, в ответ на *таковое же* приглашение...»

Маргарита согласилась принять помощь нотариуса, но только в том, что относилось до его профессии, чтобы нисколько не нанести ущерба ни своему женскому достоинству, ни будущему своей сестры, ни независимости отца. В тот же день она поручила сестру заботам Жозеты и Марты, которые душой и телом были преданы молодой хозяйке и помогали ей в хозяйственных планах. Маргарита тотчас отправилась в Вэньи и принялась там за дела под умелым руководством Пьеркена. Нотариус прикинул в уме, что, переведенная на язык цифр, преданность окажется превосходной спекуляцией; свои заботы, свои труды он, так сказать, *вкладывал* в земельную собственность и не скупился на них. Раньше всего он постарался избавить Маргариту от трудностей расчистки и распашки земли, предназначавшейся для ферм. Он разузнал о трех сыновьях богатых фермеров, желавших завести собственное хозяйство, соблазнил их перспективами, какие сулило плодородие почвы, и склонил их к заключе-

нию арендного договора на три фермы, которые предстояло устроить. При условии бесплатного пользования фермами в течение трех лет фермеры обязались вносить по десяти тысяч франков арендной платы на четвертый и пятый год, двенадцать тысяч — на шестой и по пятнадцати тысяч за остальное время аренды, вырыть канавы, произвести посадки, купить скот. Пока строились фермы, фермеры расчищали землю. Через четыре года после отъезда отца Маргарита почти восстановила состояние брата и сестры. Двухсот тысяч франков хватило на все постройки. Ни в помощи, ни в советах не было недостатка у смелой девушки, поведение которой вызывало в городе восторг. Маргарита наблюдала за постройкой, за выполнением договоров и условий с тем здравым смыслом, энергией и упорством, на которые способны женщины, когда их одушевляет большое чувство. Начиная с пятого года, она уже могла употреблять тридцать тысяч франков, приносимых фермами, ренту брата и доходы с отцовских имений на выкуп заложенного имущества и на восстановление дома, столь пострадавшего от страсти Валтасара. Так как проценты по займам все уменьшались, выкуп был уже не за горами. Кроме того, Эммануил де Солис предложил Маргарите сто тысяч франков, оставшихся от наследства дяди, но она не стала их тратить, а присоединила к двадцати тысячам собственных сбережений и таким образом к третьему году своей деятельности расплатилась с долгами на значительную сумму. Такая жизнь, полная напряженной работы, лишений и самопожертвования, не прекращалась целых пять лет; впрочем, все клонилось к успеху и удачам с тех пор, как управляла всем и влияла на все Маргарита.

Став инженером путей сообщения, Габриэль, при поддержке дедушки, получил подряд на канал, так что быстро составил себе состояние и сумел понравиться своей кузине Конинкс, обожаемой своим отцом, одной из богатейших наследниц в обеих Фландриях. К 1824 году собственность Клаасов освободилась от долгов, и дом на Парижской улице восстановлен был в прежнем виде. Пьеркен уже официально просил у Валтасара руки Фелиси, так же как де Солис — руки Маргариты.

В начале января 1825 года Маргарита и г-н Конинкс поехали за отцом-изгнанником, прибытия которого все ждали с нетерпением; он уже подал в отставку, чтобы остаться в семье и завершить ее счастье. Во время отсутствия Маргариты, часто выражавшей сожаление, что к приезду отца не удалось заполнить пустые рамы в панелях галереи и приемных комнатах, Пьеркен и де Солис сговорились с Фелиси устроить Маргарите сюрприз, которым младшая сестра внесла бы, так сказать, свою долю в восстановление дома Клаасов. Они вдвоем купили несколько прекрасных картин и подарили их Фелиси для украшения галереи. Подобная же мысль возникла и у Конинкса. Желая засвидетельствовать Маргарите удовлетворение тем, как благородно она себя держала и с каким самопожертвованием выполняла завет матери, он распорядился привезти пять-

десят принадлежавших ему превосходных холстов, в том числе и те, которые когда-то продал ему Валтасар, так что удалось вполне восстановить галерею Клаасов. Уже несколько раз Маргарита вместе с сестрой или Жаном ездили повидаться с отцом; всякий раз она находила в нем все бóльшие и бóльшие перемены; но со времени последнего ее посещения старость стала обнаруживаться у Валтасара страшными признаками, чему, конечно, способствовало еще и то, что жил он скаредно, растрачивая большую часть своего жалованья на опыты, вечно обманывавшие его надежды. Хотя ему было только шестьдесят пять лет, но выглядел он восьмидесятилетним стариком. Глаза ввалились, брови поседели, волосы остались только на затылке; он отпустил бороду, которую сам подстригал ножницами, когда она начинала ему мешать; он согнулся, как престарелый виноградарь; беспорядок в одежде дошел до того, что она казалась нищенским рубищем, а дряхлость Клааса придавала ей еще более отвратительный вид. Хотя его величественное лицо, до неузнаваемости изборожденное морщинами, оживлялось могучей мыслью, все же остановившийся взгляд, выражение отчаяния, постоянная тревога запечатлели на нем черты безумия, или, вернее, всех безумий сразу. То появлялась на нем восторженная надежда, придававшая Валтасару выражение, свойственное мономану; то раздражение из-за невозможности угадать тайну, мелькавшую перед Клаасом, как блуждающий огонек, отпечатлевалось на его лице как бы симптомом бешенства; то вдруг взрыв смеха выдавал его безумие; а чаще всего полная подавленность приводила к тому, что все оттенки страсти уступали место холодной, тупой удрученности. Как ни беглы и мало приметны для чужих людей были подобные признаки, к несчастью, слишком чувствительными становились они для тех, кто знал высокую доброту Клааса, величие его сердца и красоту лица, от которых сохранились лишь неясные следы. Лемюлькинье тоже состарился и, подобно своему барину, утомился от постоянных трудов, но ему не приходилось испытывать усталости мысли; на его лице странно соединились тревога за барина и восторг перед ним, легко вводившие в заблуждение; хотя он почтительно прислушивался к каждому его слову, хотя малейшие движения его ловил с какой-то нежностью, — все же он заботился об ученом, как мать заботится о младенце-несмышленыше; часто у него появлялся покровительственный вид, так как он действительно покровительствовал Валтасару в делах житейских, о которых тот никогда не думал. Оба старика, объятые одной идеей, верившие в реальность своей надежды, вдохновляемые одним и тем же желанием, представлявшие собою один — оболочку, а другой — душу их совместной жизни, являли собою зрелище ужасное и вместе с тем трогательное. Когда приехали Маргарита с Конинксом, оказалось, что Клаас живет в гостинице; преемник его не заставил себя ждать и уже вступил в должность.

Как ни поглотила Валтасара наука, желание вновь увидать родину, дом,

семью волновало его; письмо дочери уведомило его о счастливых событиях; он думал завершить свою деятельность рядом опытов, которые должны были привести его к решению проблемы, поэтому он ждал Маргариту с чрезвычайным нетерпением. Дочь бросилась в объятия отца, плача от радости. На этот раз она явилась получить награду за свою скорбную жизнь и прощение за свою фамильную гордость. Она чувствовала себя преступной, подобно великим людям, которые ради спасения отечества нарушают принципы свободы. Но, взглянув на отца, она вздрогнула при виде перемен, произошедших в нем со времени последнего ее посещения. Тайный испуг внучки разделил и Конинкс, он настаивал на том, чтобы как можно скорее отвезти племянника в Дуэ, где влияние родины может восстановить его разум и здоровье, если он вернется к счастливой жизни у домашнего очага. После первых сердечных излияний, со стороны Валтасара более сильных, чем ожидала Маргарита, он стал проявлять исключительную внимательность по отношению к ней, выразил сожаление, что принимает ее в плохой комнате гостиницы, осведомился о ее вкусах, с усердием любовника расспрашивал, что приготовить ей на обед, — словом, держал себя, как обвиняемый, который хочет склонить на свою сторону судью. Маргарита так хорошо знала отца, что угадала причину этих нежностей, предположив, что у него накопились здесь кое-какие долги, которые ему нужно выплатить перед отъездом. Она некоторое время наблюдала за отцом и увидала сердце человеческое во всей его наготе. Валтасар очень опустился. Сознание своего упадка и уединение, к которому его понуждали занятия наукой, развили в нем робость и как бы ребячество в отношении ко всему, что было чуждо любимым его занятиям; старшая дочь внушала ему почтение; с каждым днем ее все больше, должно быть, возвеличивали в его глазах воспоминания о ее прошлом самопожертвовании и об энергии, обнаруженной ею, сознание ее власти, которую он сам же ей предоставил, ее богатство и не поддающиеся определению чувства, понемногу овладевшие им с тех пор, как он отрекся от своего отцовского авторитета, уже сильно пошатнувшегося. Конинкс для Валтасара как бы ничего собою и не представлял, он видел только дочь и думал только о ней, опасаясь, казалось, ее, как иные слабые мужья опасаются жены, взявшей над ними верх и покорившей их себе; когда он поднимал на нее глаза, Маргарита огорченно подмечала в них выражение боязни, как у провинившегося ребенка. Благородная девушка не знала, как примирить величественный и грозный вид черепа, оголенного наукой и трудами, с наивной угодливостью и с мальчишеской улыбкой на лице Валтасара. Оскорбительным был для нее контраст такого величия и такого ничтожества, и она обещала себе добиться, чтобы отец вновь обрел все свое достоинство в тот торжественный день, когда опять появится в кругу своей семьи. Прежде всего она улучила минуту, когда они остались одни, и сказала ему на ухо:

— Вы что-нибудь здесь задолжали?

Валтасар покраснел и ответил смущенно:

— Не знаю, Лемюлькинье все расскажет тебе. Он честный слуга, а в моих делах более осведомлен, чем я сам.

Маргарита позвонила, и, когда лакей явился, она почти невольно стала вглядываться в лица обоих стариков.

— Что вам угодно, барин? — спросил Лемюлькинье.

У Маргариты, которая была вся гордость и благородство, сжалось сердце, когда она по тону и всей манере лакея заметила, что между отцом и его товарищем по работам установилась какая-то дурная фамильярность.

— Отец не может без вас сосчитать, сколько он здесь должен, — сказала Маргарита.

— Барин, — ответил Лемюлькинье, — должен...

При этих словах Валтасар сделал лакею какой-то тайный знак, заметив который Маргарита почувствовала себя униженной.

— Говорите же, сколько должен отец! — воскликнула она.

— Здесь барин задолжал тысячу экю аптекарю, который оптом торгует москательными товарами и поставлял нам едкий поташ, свинец, цинк и реактивы.

— Это все? — сказала Маргарита.

Валтасар снова подал знак Лемюлькинье, который, как зачарованный, ответил:

— Да, барышня.

— Хорошо, — продолжала она, — сейчас я их вам отдам.

Валтасар радостно обнял дочь со словами:

— Ты для меня ангел, дитя мое.

И он вздохнул легче, взглянул на нее веселее, но, несмотря на эту радость, Маргарита легко заметила на его лице следы глубокой тревоги и решила, что тысячу экю составляют только самые неотложные долги по лаборатории.

— Будьте откровенны, папенька, — сказала она, когда, подчиняясь желанию отца, уселась к нему на колени. — У вас есть еще долги? Признавайтесь мне во всем, возвращайтесь домой, не тая никаких опасений среди общего счастья.

— Дорогая Маргарита, — сказал он, взяв ее руки и целуя их с грацией, напоминавшей об его далекой юности, — ты будешь меня бранить...

— Нет, — сказала она.

— Правда? — ответил он, и у него вырвался жест ребяческой радости. — Значит, все тебе могу сказать, ты заплатишь?..

— Да, — сказала она, сдерживая слезы, выступавшие у нее на глазах.

— Так вот, я должен... о! Не смею...

— Говорите же, папенька.

— Сумма значительная, — продолжал он.

Она в отчаянии умоляюще сложила руки.

— Тридцать тысяч франков должен я Проте и Шифревилю.

— Тридцать тысяч составляют все мои сбережения, но я с удовольствием подарю их вам, — сказала она, почтительно целуя его в лоб.

Он встал, схватил дочь в объятия и стал кружиться по комнате, подкидывая ее, как ребенка, потом посадил ее в то же кресло, воскликнув:

— Милое дитя, ты настоящее сокровище любви! Ведь мне житья не давали. Шифревили написали мне три угрожающих письма, хотели начинать тяжбу со мной, со мной, обогатившим их...

— Папенька, — печально сказала Маргарита, — значит, вы продолжаете свои исследования?..

— Продолжаю, — сказал он, улыбаясь, как безумный. — Погоди, я еще найду... Если бы ты знала, чего мы достигли.

— Кто это — мы?

— Я говорю о Мюлькинье; он теперь стал понимать меня, прекрасно мне помогает... Славный малый, он так мне предан.

Вошел Конинкс, и разговор прервался. Маргарита сделала отцу знак молчать, боясь, как бы он не уронил себя в глазах дяди. Она была в ужасе от того, каким опустошениям подвергся его великий ум, поглощенный исследованием проблемы, может быть, неразрешимой. Валтасар, который, вероятно, ничего, кроме своих горнов, не видел, не догадывался даже о том, что состояние его свободно от долгов. На следующий день они отправились во Фландрию. Путешествие было довольно продолжительно, и Маргарита успела кое-что понять во взаимоотношениях отца и Лемюлькинье. Не получил ли лакей той власти над господином, какую берут иногда над величайшими умами люди, лишенные всякого образования, но чувствующие себя необходимыми и, добиваясь уступки за уступкою, идущие к господству с упорством, которое дается навязчивой идеей? Или же барин питал к слуге привязанность, рожденную привычкой и похожую на отношение рабочего к своему инструменту-созидателю или араба к своему скакуну-освободителю? Маргарита подметила в поведении слуги кое-какие черты, встревожившие ее, и решила освободить Валтасара из-под унизительного ига, если ее опасения подтвердятся. Проездом она остановилась на несколько дней в Париже, чтобы расплатиться с долгами отца и просить фабрикантов химических продуктов ничего не присылать в Дуэ, предварительно не уведомив ее о заказах, которые сделает Клаас. Она уговорила отца переменить костюм и одеться соответственно своему положению. Такое восстановление облика Валтасара вернуло ему внешнее достоинство, что было хорошим предзнаменованием для возможной перемены умонастроения. Вскоре дочь, уже предвкушая счастье видеть, как поразят отца все неожиданности, с которыми он встретится в собственном доме, поехала дальше в Дуэ.

В трех милях от города Валтасар увидал Фелиси верхом, на лошади, в сопровождении обоих братьев, Эммануила, Пьеркена и близких друзей всех трех семейств. Путешествие невольно отвлекло химика от привычных мыслей, картины Фландрии подействовали на его сердце; а когда он заметил веселую свиту, которую составили ему его дети и друзья, то ощутил в себе волнение столь сильное, что глаза его увлажнились, голос задрожал, веки покраснели. Он так страстно обнимал детей, будучи не в силах от них оторваться, что, наблюдая эту сцену, все были растроганы до слез. Вновь увидав свой дом, он побледнел, живо, совсем как молодой человек, выскочил из дорожной кареты, радостно вдохнул аромат сада, принялся разглядывать все кругом, и в каждом его движении чувствовалось удовольствие; он выпрямился, снова помолодело его лицо. Когда он вошел в залу, слезы появились у него на глазах: по тому, как точно воспроизвела дочь проданные им старинные серебряные подсвечники, он увидел, что беды, должно быть, все поправлены. Роскошный завтрак подали в столовой, где все поставцы были полны редкостными предметами и серебром, по крайней мере той же ценности, что и вещи, находившиеся здесь когда-то. Хотя семейная трапеза длилась немало времени, его едва хватило на рассказы, которых Валтасар требовал от каждого из своих детей. Нравственно потрясенный возвращением домой, он проникся счастьем семьи и вполне показал себя отцом. Его манеры обрели свое прежнее благородство. В первый момент он весь отдался удовольствию обладания, не спрашивая себя, каким образом могло быть восстановлено все потерянное им. Радость его была цельной и полной. Когда кончили завтрак, четверо детей, отец и нотариус Пьеркен перешли в залу, где Валтасар не без тревоги увидал листы гербовой бумаги, которые положил на стол писец, как бы готовясь исполнять распоряжения своего патрона. Дети сели, а изумленный Валтасар остался стоять перед камином.

— Господин Клаас отдает своим детям опекунский отчет, — сказал Пьеркен. — Конечно, это совсем не весело, — добавил он, улыбаясь, как принято у нотариусов, которые частенько шутливым тоном говорят о самых серьезных делах, — однако безусловно необходимо вам все выслушать.

Хотя обстоятельствами оправдывалась такая фраза, Клаас принял ее за упрек, так как совесть напомнила ему о прошлом, и он нахмурился. Писец начал чтение. Изумление Валтасара возрастало по мере того, как оглашался документ. Вначале здесь устанавливалось, что состояние жены к моменту ее кончины доходило приблизительно до миллиона шестисот тысяч франков, заключение же отчета с полной ясностью предоставляло каждому из детей их долю целиком, точно вел дела добрый и заботливый отец семейства. Из этого следовало, что дом из-под заклада выкуплен, что Валтасар находится в собственном доме и что его загородные владения равным образом чисты от долгов. Когда различные бумаги были подписаны, Пьеркен предъявил расписки на суммы, прежде взятые взаймы,

и документы о снятии запрета с собственности. Тут Валтасар, которому вдруг возвратили честь мужчины, жизнь отца и достоинство гражданина, упал в кресло; он искал глазами Маргариту, но она из чисто женской деликатности ушла во время чтения проверить, выполнено ли все задуманное ею для праздника. Все члены семьи понимали мысль старика, когда он слегка увлажненным взором искал свою дочь, и в эту минуту все своими духовными очами видели ее перед собою, как некоего ангела силы и света. Габриэль пошел за Маргаритой. Услыхав шаги дочери, Валтасар побежал навстречу ей и сжал ее в своих объятиях.

— Папенька, — сказала она у лестницы, где старик ее обнял, — умоляю вас, ни в чем не принижайте своего священного авторитета. Поблагодарите меня в присутствии всей семьи за то, что я хорошо выполнила ваши указания, и держитесь как единственный устроитель всего благополучия, которого удалось достигнуть здесь.

Валтасар поднял глаза к небу, взглянул на дочь, скрестил на груди руки и некоторое время оставался безмолвным, причем лицо его приняло выражение, которого уже десять лет не видели дети, а затем проговорил:

— Почему нет здесь тебя, Пепита! Как бы ты восхищалась нашей дочерью.

Он крепко обнял Маргариту, не будучи в состоянии произнести ни слова, и вошел в залу.

— Дети, — сказал он с тем благородством в манерах, которое некогда внушало к нему такое почтение, — мы все должны благодарить Маргариту, быть признательными ей за мудрость и усердие, с какими она выполнила мои намерения, осуществила мои планы, когда, чрезмерно поглощенный своими трудами, я вручил ей бразды правления в нашем доме.

—А! Пора уже прочесть брачные контракты, — сказал Пьеркен, смотря на часы. — Но это не входит нынче в мои обязанности, принимая во внимание, что закон запрещает мне вести дела, относящиеся к моим родственникам и ко мне. Господин Рапарлье-старший сейчас прибудет.

В это время стали собираться друзья семьи, приглашенные на обед, который давали по случаю возвращения Клааса и подписания брачных контрактов, а слуги несли свадебные подарки. Собрание росло и росло, становясь все великолепнее как по составу именитых гостей, так, в равной степени, и по красоте богатых туалетов. Три семейства, соединявшиеся счастливыми браками, пожелали соперничать между собою в роскоши. Зала вмиг наполнилась прелестными подарками, которые дарят молодым. Золото струилось и сверкало. Развернутые ткани, кашемировые шали, ожерелья, уборы вызывали такую подлинную радость и у тех, кто дарил, и у тех, кто получал подарки, эта полудетская радость так сияла на всех лицах, что о стоимости великолепных подарков забыли и те праздные люди, которые частенько из любопытства занимаются подсчетом. Вскоре приступили к исполнению церемониала согласно обычаю, принятому в доме

Клаасов для таких торжественных случаев. Полагалось сидеть только родителям, а другим присутствующим — стоять перед ними в некотором отдалении. Вдоль левой стены залы и со стороны сада поместились Габриэль Клаас и девица Конинкс, далее де Солис и Маргарита, ее сестра и Пьеркен. В нескольких шагах от этих трех пар Валтасар и Конинкс, единственные из всего собрания, кто сидел, расположились в креслах возле нотариуса, сменившего Пьеркена. Жан стоял позади отца. Два десятка изящно одетых дам, несколько мужчин, все из числа ближайших родственников Пьеркенов, Конинксов и Клаасов, мэр города Дуэ, которому предстояло совершить брак, двенадцать свидетелей из преданнейших друзей трех семейств, и в том числе старший председатель королевского суда, — все, даже священник церкви св. Петра, стояли, образовывая со стороны двора величественный полукруг. Честь, воздаваемая всем этим собранием семейству, сиявшему сейчас ореолом поистине королевского величия, сообщала сцене характер некоего древнего обряда. То был единственный момент, когда за целых шестнадцать лет Валтасар позабыл о поисках Абсолюта. Нотариус Рапарлье подошел спросить у Маргариты и ее сестры, собрались ли все гости, приглашенные на заключение брачных контрактов и на обед, который должен был затем последовать, и, получив утвердительный ответ, пошел назад за брачным контрактом Маргариты и Эммануила де Солиса, который надлежало читать раньше других, — как вдруг дверь в залу отворилась, и появился сияющий радостью Лемюлькинье:

— Барин! Барин!

Валтасар бросил на Маргариту взгляд, полный отчаяния, подал ей знак и увел ее в зал. Тотчас же смятение овладело всеми собравшимися.

— Я не смел тебе сказать, дитя мое, — сказал отец дочери, — но раз ты столько для меня сделала, ты спасешь меня и от последней беды. Лемюлькинье ссудил мне для последнего, не удавшегося опыта двадцать тысяч франков, плоды своих сбережений... Вероятно, несчастный пришел за ними, узнав, что я разбогател; отдай ему немедленно. Ах, ангел мой, ему ты обязана жизнью своего отца, ведь он один утешал меня при неудачах, он один еще верит в меня. Без него, конечно, я умер бы...

— Барин! Барин! — кричал Лемюлькинье.

— Что такое? — сказал Валтасар, обернувшись.

— Алмаз!

Клаас вбежал в залу, заметив алмаз в руке лакея, который сказал ему шёпотом:

— Я вошел в лабораторию...

Обо всем позабыв, химик бросил на старого фламандца взгляд, который можно было передать только словами: *«Ты первым вошел в лабораторию!»*

— И там, — продолжал лакей, — я нашел алмаз в капсуле, подключенной к вольтову столбу, который мы оставили делать свое дело; вот он,

барин, и сделал! — добавил слуга, показывая алмаз — прозрачный, восьмигранный камень, блеск которого привлекал изумленные взгляды всего собрания.

— Дети мои, друзья мои, — сказал Валтасар, — простите моего старого слугу, простите меня... С ума сойдешь от этого... Случайно за семь лет осуществилась, в мое отсутствие, задача[37], составлявшая предмет моих поисков на протяжении шестнадцати лет. Как это произошло? — ничего не знаю. Да, я оставил смесь серы и углерода под воздействием вольтового столба, за которым следовало бы вести наблюдение. И вот, без меня в лаборатории проявилось могущество божие, и я не мог, разумеется, установить последовательности изменений! Не ужасно ли это? Проклятый отъезд, проклятая случайность! Увы! Если бы я следил за этой продолжительной, медленной или же внезапной... не знаю, как назвать — ну, скажем, кристиллизацией, трансформацией, словом, за этим чудом, тогда дети мои были бы еще богаче. Хотя это и не есть решение главной моей проблемы, все же первые лучи моей славы зажглись бы над моей страной, и в настоящую минуту еще светлей была бы радость удовлетворенных сердец, согретая солнцем Науки!

Все хранили молчание. Слова, без особой последовательности, с болью вырвавшиеся у него, были слишком искренни, чтобы не прозвучать возвышенно.

Вдруг Валтасар подавил свое отчаяние, бросил на собравшихся величественный взгляд, засиявший в душах, взял алмаз и протянул его Маргарите, воскликнув:

— Тебе он принадлежит, ангел мой!

Потом он жестом отослал Лемюлькинье и сказал нотариусу:

— Будем продолжать.

От его слов все содрогнулись, — такое же волнение вызывал в некоторых ролях Тальма у внимавшей ему публики. Валтасар сел, пробормотав про себя:

— Сегодня мне нужно быть только отцом.

Маргарита услышала, подошла и, схватив руку отца, почтительно ее поцеловала.

— Никогда человек не был до такой степени велик, — сказал Эммануил своей нареченной, когда та вернулась к нему, — никогда человек не был до такой степени могуч; всякий другой сошел бы с ума.

Когда три контракта были прочитаны и подписаны, все поспешили расспросить Валтасара, как образовался алмаз, но он ничего не мог ответить относительно этого непонятного случая. Он взглянул на чердак и с негодованием показал на него.

— Да, там на мгновение случайно проявилась, — сказал он, — ужасающая сила, происходящая от движения воспламененной материи и, вероятно, создающая металлы и алмазы[38].

— Случай, конечно, вполне естественный, — заметил один из тех, кто любит все объяснять, — простак забыл там настоящий алмаз. Вот и все, что уцелело, а сколько он сжег...

— Но довольно, — сказал Валтасар друзьям, — прошу вас не говорить нынче о таких предметах.

Маргарита взяла отца под руку, чтобы перейти в парадные комнаты переднего дома, где ждало всех пышное празднество. Когда Клаас вслед за гостями вошел в галерею, то увидал, что там висят картины и все полно редкостными цветами.

— Картины! — воскликнул он. — Картины!.. И некоторые из наших прежних!

Он остановился, чело его омрачилось, на минуту он ощутил печаль и почувствовал тогда тяжесть своих ошибок, измерив, как велико тайное его унижение.

— Все это ваше, папенька, — сказала Маргарита, угадывая, какие чувства волновали душу Валтасара.

— Ангел, которому сами духи небесные должны рукоплескать! — воскликнул он. — Сколько же раз ты будешь возвращать жизнь своему отцу?

— Пусть ни одного облачка не останется на вашем челе, ни малейшей печали у вас на сердце, — ответила она, — и вы вознаградите меня свыше моих ожиданий. Я только что подумала о Лемюлькинье, милый папа; то немногое, что вы о нем сказали, заставляет меня ценить его, и, признаюсь, я плохо о нем судила; не беспокойтесь о том, что вы ему должны, он останется с вами, как ваш смиренный друг. У Эммануила около шестидесяти тысяч франков сбережений, мы подарим их Лемюлькинье. Прослужив вам так хорошо, он должен быть счастлив на склоне дней. О нас не тревожьтесь! У меня с господином де Солисом жизнь будет спокойная, тихая, без всякой пышности; мы можем обойтись без этих денег, пока вы нам их не вернете.

— Ах! Дочь моя, никогда не покидай меня! Всегда будь провидением твоего отца...

Войдя в приемные комнаты, Валтасар увидал, что они заново отделаны и обставлены с тем же великолепием, как прежде. Вскоре гости направились в большую столовую первого этажа по парадной лестнице, на каждой ступени которой стояли цветущие деревья. Удивительная по своей отделке серебряная посуда, которую Габриэль подарил отцу, обольщала взоры, так же как роскошь стола, показавшаяся неслыханной самым важным жителям города, где исконни любили такого рода роскошь. Слуги Конинкса, Клааса и Пьеркена прислуживали за пышным обедом. Сев посередине стола, который венком окружали лица родных и друзей, сиявшие живой и искренней радостью, Валтасар, за стулом которого стоял Лемюлькинье, почувствовал такое трогательное волнение, что все умолкли, как умолкают при виде великой радости и великого горя.

— Дорогие дети, — воскликнул он, — какой тучный телец заколот вами по случаю возвращения блудного отца!

Эти слова, в которых ученый судил самого себя, быть может, тем самым помешав другим осудить его еще более сурово, были сказаны с таким благородством, что все растроганно отирали слезы; но это было последнею данью меланхолии, понемногу веселье становилось все более шумным и оживленным, как это бывает на семейных праздниках. Самые почтенные жители города явились на бал, который открылся после обеда и оказался в полном соответствии с восстановленным классическим великолепием дома Клаасов.

Все три брака были вскоре заключены и дали повод для праздников, балов, обедов, которые на несколько месяцев вовлекли старого Клааса в вихрь света. Его старший сын поселился в имении, которым владел около Камбрэ г-н Конинкс, не желавший расставаться со своей дочерью. Г-жа Пьеркен равным образом покинула отцовский дом, чтобы оказать честь построенному Пьеркеном особняку, где он намеревался вести независимое существование, так как контору свою он продал, а дядя его Дэраке незадолго до того умер, оставив ему свои многолетние накопления. Жан уехал в Париж, где должен был закончить свое образование.

Таким образом, только де Солисы остались с отцом, который уступил им задний дом, сам поселившись в третьем этаже переднего. Маргарита продолжала заботиться о материальном благополучии Валтасара, и в этой приятной задаче ей помогал Эммануил. Благородная девушка из рук любви получила самый завидный венок, который сплетает счастье и свежесть которого поддерживается постоянством. Действительно, ни одна чета не могла бы служить лучшим образцом полного, не прячущегося от чужих глаз и чистого блаженства, какое все женщины лелеют в своих мечтах. Союз двух существ, столь мужественных в житейских испытаниях и столь свято любящих друг друга, вызвал в городе почтительное восхищение. Г-н де Солис, уже давно назначенный генеральным инспектором университета, подал теперь в отставку, чтобы полнее насладиться счастьем и оставаться в Дуэ, где все настолько воздавали должное его талантам и характеру, что уже заранее готовы были подать за него голос в избирательной комиссии, когда он достигнет депутатского возраста. Маргарита, проявившая свою силу при неблагоприятных обстоятельствах, в счастье опять стала женщиной мягкой и доброй. Конечно, и весь этот год Клаас был погружен в свои мысли; но, хотя он и произвел несколько опытов, стоивших недорого, на что хватало его доходов, все же в лаборатории он бывал редко. Возобновляя старинные обычаи дома Клаасов, Маргарита каждый месяц давала от имени своего отца семейный праздник, на котором бывали Пьеркены и Конинксы, и собирала высшее городское общество *на чашку кофе* в свои приемные дни, о которых шла немалая слава. Хотя частенько и рассеянный, Клаас, однако, присутствовал на

всех собраниях и так любезно исполнял свои светские обязанности, чтобы угодить старшей дочери, что дети могли подумать, уж не отказался ли он от разрешения своей проблемы. Так прошло три года.

В 1828 году событие, благоприятное для Эммануила, призвало его в Испанию. Хотя при наличии в его роду трех разросшихся ветвей ему нельзя было, казалось, и помышлять о родовых владениях дома де Солисов, но желтая лихорадка, старость, бесплодие, все капризы судьбы соединились, чтобы наследником титулов и большого состояния сделать Эммануила, последнего в роде. По случайности, которая неправдоподобной кажется только в книге, дом де Солисов получил графство Ноуро. Маргарита не захотела разлучаться с мужем, которого довольно долго должны были задержать в Испании дела, к тому же ей было любопытно посмотреть замок Каса-Реаль, где мать провела детство, и город Гренаду, колыбель де Солисов. Она уехала, положившись в управлении домом на преданность Марты, Жозеты и Лемюлькинье, уже привыкших вести хозяйство. Валтасар, которому Маргарита предложила совершить путешествие в Испанию, отказался под предлогом престарелого своего возраста; но истинной причиной его отказа были несколько работ, уже давно задуманных и манивших его возможностью осуществить все его надежды.

Граф и графиня де Солис-и-Ноуро пробыли в Испании [39] дольше, чем собирались: у Маргариты родился ребенок. В половине 1830 года они очутились в Кадиксе, где рассчитывали сесть на корабль, чтобы вернуться во Францию через Италию; но здесь они получили письмо, в котором Фелиси сообщала сестре печальные новости. За полтора года отец совершенно разорился. Габриэль и Пьеркен принуждены были ежемесячно выдавать Лемюлькинье деньги на домашние расходы. Старый слуга еще раз принес в дар хозяину свое состояние. Валтасар никого не хотел принимать, не пускал к себе даже своих детей. Жозета и Марта умерли. Кучера, повара и остальную прислугу — всех постепенно рассчитали. Лошадей и экипажи продали. Хотя Лемюлькинье хранил в глубочайшей тайне, как жил его хозяин, можно было думать, что тысяча франков, которую каждый месяц выдавали им Габриэль Клаас и Пьеркен, употреблялась на опыты. Судя по скудной провизии, покупаемой на рынке лакеем, оба старика довольствовались лишь самым необходимым. Наконец, чтобы не допустить продажи отцовского дома, Габриэль и Пьеркен вносили проценты за ту сумму, которую старик, без их ведома, занял под закладную на недвижимость. Никто из детей не имел влияния на старика, у которого в семьдесят лет была такая исключительная энергия, что он заставлял исполнять все свои желания, даже самые нелепые. Только, быть может, Маргарите удалось бы вновь взять власть над Валтасаром, и Фелиси умоляла сестру скорее приехать; она боялась как бы отец не стал подписывать векселя. Габриэль, Конинкс и Пьеркен, испуганные продолжительностью безумия, уже поглотившего безрезультатно

почти семь миллионов, решили не платить долгов Клааса. Это письмо побудило Маргариту изменить план путешествия, и она кратчайшим путем отправилась в Дуэ. Ее сбережения и новые богатства позволяли ей еще раз вполне погасить все долги отца; но она хотела большего, хотела повиноваться матери и не допустить, чтобы отец сошел в могилу обесчещенным. Конечно, только она могла повлиять на старика и помешать продолжению его разорительных работ в таких летах, когда, при его ослабевших способностях, нельзя было ждать от него никакого плодотворного труда. Но она желала, не подражая детям Софокла [40], руководить им без ссор, в том случае, если отец был близок к научной цели, ради которой он столько принес в жертву.

Господин и госпожа де Солис достигли Фландрии в последних числах сентября 1831 года [41] и прибыли в Дуэ утром. Маргарита велела подъехать к дому на Парижской улице, но оказалось, что дом заперт. Сильно дергали за звонок, никто не отвечал. Какой-то купец покинул порог своей лавки, привлеченный стуком кареты г-на де Солиса и его спутников. Многие смотрели из окон, радуясь зрелищу возвращения супругов, которых любили во всем городе, а также уступая чувству любопытства, ожидая событий, которые должен был вызвать в доме Клаасов приезд Маргариты. Купец сказал лакею графа де Солиса, что старый Клаас уже около часу, как ушел из дому. Вероятно, г-н Лемюлькинье повел барина прогуляться на городской вал. Маргарита послала за слесарем, чтобы открыть дверь и таким образом избежать сцены, которая могла бы произойти из-за упрямства отца, если бы он, как предупреждала ее Фелиси, отказался впустить ее к себе. Тем временем Эммануил пошел искать старика, чтобы сообщить ему о приезде дочери, а лакей побежал предупредить Пьеркенов. В одну минуту дверь была открыта. Приказав вносить вещи, Маргарита вошла в залу и вздрогнула от испуга при виде стен, до такой степени голых, точно все было выжжено огнем. Великолепная резьба работы Ван-Гейсума и портрет председателя суда были проданы — по слухам, лорду Спенсеру [42]. Столовая опустела, там стояло только два соломенных стула и грубый стол, на котором с ужасом заметила Маргарита две тарелки, два стакана, два серебряных прибора и на блюде остатки копченой селедки, которую, наверно, только что поделили между собою Клаас и его лакей. В одно мгновение обежала она дом, в каждой комнате которого открывалось нестерпимое зрелище наготы, такой же, как в зале и столовой. Идея Абсолюта прошла повсюду, подобно пожару. В комнате отца только и было мебели, что постель, стул и стол, на котором стоял дрянной медный подсвечник с оставшимся от прошлого вечера огарком свечи самого последнего сорта. Бедность дошла до того, что занавесок уже не оказалось на окнах. Самые незначительные домашние предметы, все, что могло иметь хоть какую-нибудь ценность, было продано, вплоть до кухонной посуды. Движимая любо-

пытством, не покидающим нас даже в несчастье, Маргарита вошла к Лемюлькинье, комната которого была такой же голой, как комната хозяина. В полуоткрытом ящике стола она заметила квитанцию ссудной кассы, удостоверявшую, что лакей несколько дней тому назад заложил свои часы. Она побежала на чердак и увидала, что лаборатория полна научными приборами, как прежде. Она велела открыть свои покои, — там отец ни на что не посягнул.

Убедившись в этом с первого же взгляда, Маргарита залилась слезами и все простила отцу. Значит, среди такого опустошительного неистовства его остановили отеческое чувство и благодарность к дочери! Это доказательство нежности, полученное в тот момент, когда отчаяние Маргариты достигло вершины, вызвало душевную реакцию, против которой бессильны и самые холодные натуры. Она сошла вниз, в залу, и ждала там прихода отца, терзаясь все возраставшими ужасными сомнениями. Каким увидит она его вновь? Вероятно, разбитым, одряхлевшим, измученным, ослабевшим от лишений, которые он претерпевал из-за гордости? А сохранился ли у него разум? При виде разграбленного святилища слезы текли у нее из глаз, но она их не замечала. Картины всей ее жизни, ее усилия, бесполезные меры предосторожности, ее детство, мать, счастливая и несчастная, — все, вплоть до улыбки ее маленького Жозефа при виде опустошения в доме, слагалось для нее в поэму, полную душераздирающей скорби. Но и предвидя несчастья, она все же не ожидала развязки, уготованной для увенчания всей жизни ее отца, жизни, одновременно столь возвышенной и столь жалкой. Положение Клааса ни для кого не являлось тайной. К стыду рода человеческого, в Дуэ не встретилось и двух великодушных сердец, чтобы воздать честь настойчивости гениального ученого. Для всего общества Валтасар был человеком, которого надо отдать под опеку, дурным отцом, проевшим шесть состояний, целые миллионы, искавшим философского камня в девятнадцатом веке, в веке просвещения, в веке неверия, в веке и т. п. ... Его поносили, клеймили прозвищем алхимика, бросали ему в лицо слова: «Хочешь делать золото!» Пусть не звучит хвала нынешнему веку, предоставляющему, по примеру всех веков, таланту умирать от равнодушия, такого же грубого, что и в те времена, когда умерли Данте, Сервантес, Тассо e tutti quanti *. Народы еще медленнее оценивают создания гения, чем короли.

Мнение о Клаасе понемногу просочилось из высшего общества Дуэ к буржуазии, а от буржуазии к простонародью. Семидесятилетний химик вызывал к себе глубокое чувство жалости у людей образованных, насмешливое любопытство — у народа, — два чувства, заключающих в себе, по существу, все то же презрение, то же vae victis **, которое бросает вели-

---

* И все им подобные (*итал.*).
** Горе побежденным (*лат.*).

ким людям толпа, видя их униженными. Многие приходили к дому Клааса посмотреть на окно того чердака, где развеялось дымом столько золота и угля. Когда Валтасар шел, на него показывали пальцем; часто, при виде его, слово насмешки или сострадания срывалось с уст простолюдина или ребенка; но Лемюлькинье старался передать ему эти слова как похвалу и мог обманывать его безнаказанно. Если зрение Валтасара сохранило ту высшую ясность, которою наделяет привычка к великим мыслям, то слух его ослабел. Многие крестьяне, люди грубые и суеверные, считали старика колдуном. Благородный, великий дом Клааса именовался в предместьях и в деревнях домом дьявола. Все, вплоть до лица Лемюлькинье, давало повод к зарождению нелепых россказней о хозяине дома. И вот, когда бедный старый илот шел на рынок за насущной пищей, которую он старался купить подешевле, на него в качестве *привеска* сыпались ругательства, и он был еще счастлив, если иные суеверные торговки не отказывались продать ему скудные припасы из боязни быть проклятыми за сношения со служителем ада. Итак, весь город был в общем враждебно расположен к великому старцу и его товарищу. Этому способствовала и жалкая одежда того и другого: они одевались, как те совестливые бедняки, которые соблюдают внешнюю опрятность и еще не решаются просить милостыню. Рано или поздно старики могли подвергнуться оскорблениям. Пьеркен чувствовал, каким бесчестием для семьи было такое публичное поношение, и всегда во время прогулок тестя посылал двоих-троих слуг, которые на некотором расстоянии окружали его для охраны, ибо Июльская революция не способствовала почтительности народа.

В то утро, по необъяснимой случайности, Клаас и Лемюлькинье, выйдя рано из дому, обманули тайную стражу Пьеркена и очутились одни в городе. Возвращаясь с прогулки, они уселись на солнышке на скамейку площади св. Иакова, где проходили дети, одни — в училище, другие — в коллеж. Заметив издали двух беззащитных стариков, лица которых повеселели на солнце, дети принялись говорить о них. Обычно дети быстро переходят от разговоров к смеху, а от смеха — к дурачеству, жестокость которого они не сознают. Семь или восемь из них, подошедшие первыми, остановились все же в отдалении и принялись рассматривать стариков, еле сдерживая смех, чем привлекли внимание Лемюлькинье.

— Видишь того, у которого голова, как колено?

— Да.

— Вот, это ученый от рождения.

— Папа говорит, что он делает золото, — сказал другой.

— Каким местом — этим или вот этим? — прибавил третий, показывая насмешливо на ту часть тела, которую так часто показывают друг другу школьники в знак презрения.

Самый маленький из кучки детей, который держал в руке корзиночку, полную провизии, и слизывал масло с хлеба, простодушно подошел к скамейке и сказал Лемюлькинье:

— Правда, что вы делаете жемчуг и алмазы?

— Да, солдатик, — ответил Лемюлькинье, улыбнувшись и потрепав его по щеке, — дадим тебе, когда станешь ученым.

— Ах! И нам! И нам! — воскликнули все.

Дети подлетели, как стая птиц, и окружили обоих химиков. Валтасар, глубоко погруженный в мысли, от которых отвлекли его эти крики, вдруг с таким изумлением посмотрел вокруг, что все рассмеялись.

— Смотрите, шалуны, уважать великого человека! — сказал Лемюлькинье.

— Уважать неряху? — закричали дети. — Вы колдуны... Да, колдуны! Старые колдуны! Колдуны! Вот вы кто!

Лемюлькинье встал и пригрозил детям палкой, они рассыпались во все стороны, подбирая на бегу комки грязи и камни. Какой-то рабочий, завтракавший в нескольких шагах, увидав, что Лемюлькинье поднял палку, подумал, что он хотел избить детей, и поддержал их страшными словами:

— Долой колдунов!

Дети, чувствуя, что у них есть опора, пустили свои снаряды и попали в обоих стариков, как раз когда граф де Солис показался в конце площади в сопровождении слуг Пьеркена. Не так быстро они подошли, чтобы помешать детям забросать грязью великого старца и его лакея. Удар был нанесен. Валтасар, до тех пор сохранявший все свое достоинство благодаря чистоте нравов, свойственной ученым, чьи страсти укрощены жаждой открытий, постиг внутренним чутьем разгадку этой сцены; его дряхлое тело не выдержало ужасного удара, нанесенного самым высоким его чувствам, он упал, пораженный параличом, на руки Лемюлькинье, и его отнесли на носилках домой в сопровождении обоих зятьев и их слуг. Никакая сила не могла помешать населению Дуэ идти вслед за носилками старика до самых дверей его дома, где находились Фелиси с детьми, Жан, Маргарита и Габриэль, уведомленный сестрой о ее приезде и приехавший с женой из Камбрэ. Ужасным зрелищем было возвращение домой старика, который не так боялся смерти, как того, что дети проникли в тайну его нищеты. Тотчас же поставили ему кровать посреди залы; всяческая помощь была оказана Валтасару, и к концу дня состояние его позволяло надеяться, что он останется в живых. Как ни искусно боролись с параличом, Клаас надолго впал почти в детство. Хотя удалось постепенно ослабить паралич, его действие все же сказывалось на языке, пораженном сильнее всего, — может быть, потому, что гнев сосредоточил здесь все силы старика в тот момент, когда он собирался бранить детей.

Эта сцена возбудила в городе всеобщее негодование. По некоему до сих пор неизвестному закону, управляющему чувствами толпы, все горожане вдруг перешли на сторону Клааса. В одно мгновение он сделался великим человеком, вызвал восхищение и приобрел всеобщее сочувствие, в котором ему отказывали накануне. Все восхваляли его терпение, волю, мужество и гений. Власти решили сурово наказать участников этой проделки, но беду уже нельзя было поправить. Семейство Клаасов само просило замять дело. Маргарита приказала обставить залу, голые стены которой вскоре были затянуты шелком. Когда через несколько дней после происшествия сознание вернулось к старому отцу и он увидал, что опять его окружает изящная обстановка и все необходимое для счастливой жизни, он знаком дал понять, что догадался о приезде Маргариты, — и в ту же самую минуту она вошла в залу. Увидав ее, Валтасар покраснел, и хотя он не заплакал, глаза его увлажнились. Холодными пальцами сжал он руку дочери, вложив в это пожатие все чувства и все мысли, которых не мог уже высказать. То было нечто святое и торжественное, — последнее «прости» ума, еще живого, сердца, еще одушевленного чувством благодарности. Истощив силы на бесплодные попытки, устав от борьбы с гигантской проблемой, впав в отчаяние, обреченный на безвестность в памяти потомства, великий человек должен был вскоре кончить жизнь; все дети окружили его с глубоким почтением, глаза его могли отдохнуть на образах изобилия, богатства, на трогательной картине его прекрасной семьи. Умиленность светилась постоянно в его взглядах, которыми он мог выражать свои чувства; глаза его вдруг приобрели такое разнообразие выражения, как будто получили дар светового, легко понимаемого языка. Маргарита заплатила долги отца и в несколько дней убрала дом Клаасов со всей современной роскошью, устранявшей какие бы то ни было предположения об упадке. Она не покидала изголовья Валтасара, стараясь угадывать все его мысли и исполнять малейшие желания. Несколько месяцев прошло в смене ухудшений и улучшений, свидетельствующих у стариков о борьбе между жизнью и смертью. Каждое утро дети собирались около отца, весь день оставались в зале, обедали у постели больного и уходили, только когда он засыпал. Среди всех развлечений, какие старались ему доставить, больше всего ему нравилось чтение газет, которые, в связи с политическими событиями, сделались очень интересны. Де Солис читал ему вслух, а Клаас внимательно следил за чтением.

В конце 1832 года[43] Валтасар провел ночь чрезвычайно трудную, так что сиделка, испугавшись внезапной перемены в больном, позвала г-на Пьеркена — доктора; действительно, доктор счел нужным не покидать больного, каждую минуту опасаясь, как бы он не скончался от внутреннего кризиса, принявшего характер агонии.

Старик невероятно сильными движениями старался стряхнуть с себя оковы паралича; он желал говорить и шевелил языком, будучи не в состоянии издать ни звука; мысли летели из его пылающих глаз; искаженное лицо выражало неслыханную боль; в отчаянии двигались пальцы, пот выступал крупными каплями. Утром дети пришли поцеловать отца, чтобы выразить свою любовь, которую каждодневные опасения близкой смерти делали все горячее, но он не проявил удовольствия, какое обычно доставляли ему такие знаки нежности. Пьеркен позвал Эммануила, который поспешил распечатать газету, чтобы попробовать, не внесет ли чтение перемены во внутренний кризис, мучивший Валтасара. Развернув лист, он увидал слова: *Открытие Абсолюта*[44], живо его поразившие, и прочел Маргарите заметку, где говорилось о судебном процессе по поводу того, что один знаменитый польский математик продал секрет Абсолюта. Хотя Маргарита просила не читать заметку отцу, и Эммануил прочел шёпотом это сообщение, все же Валтасар услыхал.

Умирающий вдруг приподнялся на обеих руках и бросил на испуганных детей взгляд, как молния поразивший всех; волосы, еще уцелевшие у него на затылке, зашевелились; морщины дрогнули; лицо загорелось внутренним огнем, одушевилось, приняв возвышенное выражение; он поднял сведенную яростью руку и громовым голосом крикнул знаменитое слово Архимеда: «Эврика!» *(Я нашел)*. А затем его бессильное тело тяжело рухнуло на постель, и с ужасным стоном он умер; но пока врач не закрыл его вышедших из орбит глаз, в них можно было видеть сожаление о том, что он так и не мог передать науке запоздалую разгадку тайны, с которой сорвала покрывало лишь костлявая рука Смерти.

Париж, июнь—сентябрь 1834 г.

НЕВЕДОМЫЙ ШЕДЕВР

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РАССКАЗ

(Первоначальная редакция)

I

Мэтр Френхофер

В конце 1612 года холодным декабрьским утром какой-то юноша, весьма легко одетый, вошел в дом по улице Больших Августинцев, походив до этого довольно долго взад и вперед мимо двери, подобно нерешительному влюбленному, не смеющему предстать перед своей первой возлюбленной, как бы доступна она ни была.

Наконец, он спросил, у себя ли мэтр Франсуа Порбус, и, получив утвердительный ответ от старухи, подметавшей сени, стал подыматься, но медленно, останавливаясь на каждой ступеньке, как новый придворный, озабоченный мыслью, какой прием окажет ему король. Взобравшись наверх по винтовой лестнице, юноша постоял на площадке, не решаясь коснуться причудливого молотка, украшавшего дверь мастерской.

Он испытывал то сильное чувство, которое заставляло биться сердца всех великих художников, когда, полные юного пыла и любви к искусству, они приближались к великим людям или к великому произведению.

У всех человеческих чувств бывает девственная свежесть, пора первого цветения, порывы, постепенно ослабевающие, пока счастье не станет лишь воспоминанием, а слава — ложью; среди недолговечных волнений сердца ничто не напоминает так любви, как юная страсть художника, вкушающего первые чудесные муки на пути славы и несчастий, — страсть, полная отваги и робости, смутной веры и неизбежных разочарований.

У того, кто в дни безденежья и первых творческих замыслов не испытывал глубокого трепета при встрече с большим мастером, всегда будет недоставать одной струны в душе, какого-то мазка кисти, какого-то чувства в творчестве, неуловимого поэтического оттенка. Есть немало самодовольных хвастунов, слишком рано уверовавших в свою будущность; но они кажутся людьми умными только глупцам.

В этом отношении неизвестный юноша наверное обладал истинным гением, если измерять талант по той первоначальной робости, по той необъяснимой застенчивости, от которой люди, созданные для славы, и красивые женщины избавляются, упражняясь в своем искусстве. Привычка к успеху заглушает сомнения, а стыдливость и есть, быть может, сомнение.

Бедный новичок, удрученный нуждой и удивляясь в эту минуту собственной дерзновенности, так и не решился бы войти к художнику, которому мы обязаны прекрасным портретом Генриха IV, но к счастью на помощь ему явился неожиданный случай.

По лестнице поднялся какой-то старик. По странному его костюму, по великолепному кружевному воротнику, по важной уверенной походке юноша догадался, что это покровитель или друг мастера.

Сделав шаг назад, чтобы уступить ему место, он стал его рассматривать с любопытством, в надежде найти в нем доброту художника или любезность, свойственную любителям искусства.

Увы! В лице старика было что-то дьявольское и еще нечто неуловимое, своеобразное, столь привлекательное для художников. Вообразите высокий выпуклый лоб с залысинами, нависающий над маленьким, плоским, вздернутым на конце носом, как у Рабле или Сократа; губы насмешливые и в морщинках; короткий, слегка приподнятый подбородок; седую остроконечную бороду; зеленые, цвета морской воды глаза, которые как будто выцвели от старости, но судя по перламутровым переливам белка, были способны бросать магнетический взгляд в минуту гнева или восторга. Впрочем, это лицо казалось поблекшим не столько от старости, сколько от тех мыслей, которые изнашивают душу и тело; ресницы уже выпали, а на надбровных дугах едва приметны были редкие волоски.

Приставьте эту голову к хилому и слабому телу, окаймите ее кружевами, сверкающими белизной и поразительными по ювелирной тонкости работы, накиньте на черный камзол старика тяжелую золотую цепь... и вы получите совершенное изображение этого человека, которому слабое освещение лестницы придавало фантастический оттенок. Это был портрет кисти Рембрандта, покинувший свою раму и молча движущийся в полутьме, созданной этим великим художником.

Он бросил на юношу проницательный взгляд, постучался три раза и дребезжащим голосом сказал болезненному человеку лет сорока на вид, открывшему дверь:

— Добрый день, мэтр Порбус! . .

Порбус учтиво поклонился и впустил юношу, полагая, что тот пришел со стариком.

Описание мастерской мэтра Порбуса было бы довольно важным делом, художественной и исторической деталью; но история так хватает

нас за горло, и так трудно дать хорошее описание, не говоря уж о скучающих читателях, которые имеют претензию все восполнять сами, что вы, честное слово, не получите этой моей вещицы, написанной маслом с натуры и обладающей известными достоинствами в отношении света, красок, пылинок, мелочей, фигур...

Вы в ней увидели бы, между прочим, расписное стрельчатое окно и маленькую девочку, натягивающую чулки, выписанных с достойной сожаления законченностью. Все это было так правильно, ложно, причесано, прилизано, как любительский этюд; но живопись так нездорова в наше время, что было бы преступлением писать картины еще и в литературе: и мы бываем скупы на образы из вежливости...

Юноша застыл перед картиной, уже знаменитой даже в те тревожные, смутные времена, так что ее приходили смотреть упрямцы, которым мы обязаны сохранением священного огня в дни безвременья. Во все века встречались люди, заботливо закапывавшие знамена и спасавшие низвергнутых богов!

Эта прекрасная страница искусства (слово, обозначающее произведение живописи, еще не было придумано; я мог бы с равным правом вам сказать *этот священный лик, что был столь любезно выписан*; но бутафория прошлых веков мне кажется скучной, да и многие уже не понимают старинных слов); стало быть, эта страница искусства изображала Марию Египетскую, расплачивающуюся за переправу на лодке. Шедевр, предназначенный для Марии Медичи, был ею впоследствии продан в дни нужды в Кёльн; и во время нашего вторжения в Германию (1806) некий артиллерийский капитан спас ее от неминуемой гибели, спрятав в свой дорожный сундук. Это был покровитель искусства, который предпочитал взять, чем украсть. Его пьяные, богохульные солдаты уже пририсовали усы святой покровительнице кающихся дев и с руганью собирались использовать как мишень для стрельбы бедную святую, которая даже в нарисованном виде должна была покориться своей судьбе. Теперь эта великолепная картина хранится в замке Гренадьер недалеко от Сен-Сира в Турени и принадлежит г-ну де Лансей.

— Твоя святая мне нравится, — сказал старик Порбусу, — и я заплатил бы тебе десять золотых экю сверх того, что дает королева; но попробуй посоперничай с ней!.. чёрт возьми!..

— Вам нравится эта вещь...

— Хе-хе!.. — пробурчал старик. — Она неживая! Когда в нее всматриваешься, не ощущаешь воздуха между ее руками и фоном картины... я не чувствую теплоты этого прекрасного тела, крови в ее жилах... Контуры неверны... Оставим всякий разбор, а то ты придешь в отчаяние!..

Старик сел на скамеечку, оперся головой на руки и замолчал.

— Учитель, — сказал ему Порбус, — все же я много изучал линии на нагом теле...

— Да... да... — возразил старик, — месяц, другой... и вы останавливаетесь на этом! .. Вы облекли вашу женщину в нарядную одежду из плоти; но где жизнь? .. Женщина, бесспорно, так держит голову, у нее такая мягкая покорность во взгляде, она так приподнимает юбку! .. Но где же *большее*? Вы передаете *малое*, чем довольствуется только посредственность... О Мабузе! .. О учитель мой! — воскликнул этот странный человек, — ты вор, ты унес с собою жизнь! ..

— При всем том, — продолжал он, — это лучше, чем полотна господина Рубенса... По крайней мере у тебя здесь имеются колорит, чувство и рисунок, три существенных части искусства...

— Но это восхитительно, сударь! .. — воскликнул громко юноша, пробуждаясь от глубокой задумчивости, — в обоих лицах чувствуется тонкость художественного замысла, неведомая мастерам Италии...

— Кто вы? .. — обратился к нему Порбус.

Бедный новичок покраснел.

— Увы, учитель, простите меня за дерзость, я неизвестен, малюю по влечению и прибыл только недавно в этот город, источник всех знаний...

— За работу! .. За работу! .. — сказал ему, улыбаясь, Порбус, подавая красный карандаш и лист бумаги.

Неизвестный юноша скопировал быстрыми штрихами фигуру Магдалины...

— Ого! — воскликнул старик, — Ваше имя?

Юноша подписал под рисунком: *Никола́ Пуссен*!

— Пойдемте завтракать? .. — сказал старик Порбусу. — Прошу вас обоих ко мне, я угощу вас копченой ветчиной и хорошим вином и, несмотря на плохие времена, мы поговорим о живописи. Мы что-нибудь да значим! Вот молодой человек не без способностей, — добавил он, ударяя по плечу Никола Пуссена.

Тут, обратив внимание на жалкую курточку нормандца, старик достал из-за кушака кожаный кошелек, порылся в нем, вынул два золотых и, протягивая их Пуссену, сказал:

— Я покупаю твой рисунок! ..

Пуссен вздрогнул.

— Возьми, возьми, — воскликнул Порбус. — Его мошна набита туже, чем у королей.

Вскоре они вышли из мастерской и, беседуя об искусстве, дошли до стоявшего неподалеку от моста Сен-Мишель красивого деревянного дома, который привел в восторг Пуссена своими украшениями, дверной колотушкой, оконными переплетами, лепными арабесками; он оказался вдруг в приемной комнате, около пылающего камина, близ стола, уставленного вкусными блюдами, и, по неслыханному счастью, в обществе двух великих художников, простых в обращении.

— Юноша! — сказал ему Порбус, видя, что он уставился на одну из картин, — не смотрите слишком пристально на это полотно, иначе вы впадете в отчаяние!

Это был «Адам» — картина, написанная Мабузе, чтобы освободиться из тюрьмы, где его держали заимодавцы... Вся фигура Адама действительно была полна столь мощной реальности, что с этой минуты Никола Пуссену стал понятен истинный смысл слов старика.

А тот смотрел на картину с видом удовлетворения, но без энтузиазма. Он как бы думал: «Я лучше пишу!»

— В ней есть жизнь!.. — сказал он; — мой бедный учитель здесь превзошел себя; но в глубине картины он еще не достиг правдивости. Сам человек — вполне живой, он вот-вот встанет и подойдет к нам... Но воздуха, которым мы дышим, неба, которое мы видим, ветра, который мы чувствуем, там нет. Да и человек здесь — только человек! Мабузе сам сознавался в этом с грустью, когда не бывал пьян!

Пуссен смотрел с беспокойным любопытством то на старца, то на Порбуса. Он подошел к последнему, вероятно, намереваясь спросить имя хозяина дома, но художник с таинственным видом приложил палец к устам, и юноша, живо заинтересованный, промолчал, надеясь рано или поздно по каким-нибудь случайно оброненным словам угадать имя хозяина, о богатстве и талантах которого достаточно свидетельствовали и уважение, проявляемое к нему Порбусом, и те чудесные произведения, какими была заполнена комната.

Увидя на темной дубовой панели прекрасный портрет женщины, Пуссен воскликнул:

— Это Джорджоне!

— Нет! — возразил старик, — это одна из ранних моих вещиц!

— Господи, значит я в гостях у самого бога живописи! — сказал простодушно Пуссен.

Старец улыбнулся, как человек, давно свыкшийся с подобного рода похвалами.

— Френхофер, учитель мой, — сказал Порбус, — не могу ли я получить немного вашего доброго рейнского?

— Две бочки, — ответил старик, — одну в награду за то удовольствие, которое доставил мне утром вид твоей красивой грешницы, а другую в знак дружбы.

— Ах, если бы не постоянные мои болезни, — продолжал Порбус, — и если бы вы разрешили мне взглянуть на вашу *возлюбленную*, я создал бы тогда произведение высокое, большое, проникновенное и фигуры написал бы в человеческий рост.

— Видеть мою работу!.. — воскликнул в сильном волнении старик. — Нет, нет, я еще должен шлифовать ее... Вчера под вечер, — сказал он, — я думал, что окончил свою Нуазезу. Ее глаза казались мне влажными.

а тело одушевленным, косы ее извивались... Она дышала!.. Но сегодня утром, при свете, я понял свою ошибку!.. Я еще не передал верную линию, точный изгиб женских форм...

Старик помолчал, затем начал снова:

— Вот уже десять лет, юноша, что я работаю; но что значат десять лет, когда дело идет о том, чтобы овладеть живой природой!.. Никто не сказал нам, сколько времени потратил властитель Пигмалион, создавая ту единственную статую, которая ожила!..

Старик впал в глубокое раздумье и, устремив глаза в одну точку, машинально вертел в руках нож.

— Это он ведет беседу со своим *духом*, — сказал Порбус вполголоса.

При этих словах Никола Пуссена охватило неизъяснимое любопытство художника. Старик с бесцветными глазами, сосредоточенный на чем-то и оцепенелый, стал для Пуссена существом, превосходящим человека, причудливым гением из неведомой сферы. Он будил в душе тысячу смутных мыслей, и нельзя определить точно явлений духовной жизни, сказывающихся в подобном колдовском воздействии, как нельзя передать волнение, которое вызывают звуки парижской шарманки, напоминающие сердцу изгнанника о родине.

Открытое презрение этого старика к самым лучшим начинаниям искусства, его богатство, его манеры, почтение, с которым относился к нему Порбус, его работа, так долго скрываемая, работа, осуществленная ценой великого терпения и, очевидно, гениальная, если судить по эскизу головы богоматери, который вызвал столь откровенное восхищение молодого Пуссена и был прекрасен даже при сравнении с «Адамом» Мабузе — все это порождало чувство, которое в современном языке передается одним только словом: *непостижимое!*.. Замечательное словечко! Оно вмещает всю фантастическую литературу; оно выражает все то, что ускользает от ограниченного восприятия нашего рассудка; и когда вы его подсовываете читателю, он пускается блуждать в просторах воображения; тогда все фантастическое вдруг начинает развиваться, оно пробивается, как зеленая трава, из глубин чего-то невразумительного и немощного...

В самом деле, этот старик, мэтр Френхофер, казался непостижимым, непонятным, и в этом сверхъестественном (сверхъестественный! вот еще хорошее словечко!) существе пылкому воображению Никола Пуссена ясно, ощутительно представилось только одно: то, что это был совершенный тип прирожденного художника, одна из тех капризных и безумных душ, которым дано столько власти и которые ею слишком часто злоупотребляют, уводя за собой холодный разум простых людей и даже любителей искусства по тысяче каменистых дорог, где те не найдут ничего, между тем как этой прелестной фее, безумной в своих причудах, видятся там целые эпопеи, дворцы, создания искусства. — Существо по природе насмешливое и доброе, богатое и бедное!

Таким образом, для энтузиаста Пуссена этот старик превратился внезапно в само искусство, искусство с его тайной, порывами и мечтаниями.

— Да, милый Порбус, — опять заговорил Френхофер, — мне до сих пор не удалось встретить безукоризненную красавицу!.. Тело, контуры которого были бы совершенной красоты, а цвет кожи... Но где же найти ее живой, — сказал он, прерывая сам себя, — эту необретаемую Венеру древних? Мы так жадно ищем ее, но едва находим лишь разрозненные частицы ее красоты... Ах, чтобы увидеть на одно мгновение, только один раз, божественно-прекрасную натуру, совершенство красоты, одним словом — идеал, я отдал бы все свое состояние!..

— Мы можем уйти, — сказал Порбус Пуссену, — он нас уже не слышит и не видит.

— Пойдемте в его мастерскую?.. — ответил восхищенный юноша.

— О, старый рейтар сумел закрыть туда вход. Его сокровища очень хорошо оберегаются, и нам туда не проникнуть... Не у вас первого возникла такая мысль и желание, я уже пытался раскрыть тайну...

— Тут, значит, есть тайна...

— Да, — ответил Порбус. — Старый Френхофер — единственный, кого Мабузе захотел взять себе в ученики. Френхофер стал его другом, спасителем, отцом, потратил на удовлетворение его страстей бóльшую часть своих богатств, а благодарный Мабузе передал ему свой секрет рельефа, свое умение придавать фигурам ту необычайную жизненность, ту натуральность, над которой мы так безнадежно бьемся, меж тем как Мабузе владел этим мастерством столь совершенно, что когда ему случилось пропить шелковую узорчатую ткань, в которую ему предстояло облечься для присутствия при торжественном выходе Карла Пятого, Мабузе сопровождал туда своего покровителя в одеждах из бумаги, разрисованной под шелк. Необычайное великолепие костюма Мабузе привлекло внимание самого императора, который, выразив благодетелю старого пьяницы восхищение по этому поводу, тем самым способствовал раскрытию обмана!.. Френхофер — человек, опьяненный нашим искусством, краски — его жизнь!..

— Мы проникнем в эту комнату!.. — воскликнул Пуссен, не слушая более Порбуса и более ни в чем не сомневаясь.

Порбус улыбнулся, видя восторженность юного незнакомца, и они расстались.

Никола Пуссен медленным шагом вернулся на улицу де-ля-Арп и даже, сам того не замечая, прошел мимо скромной гостиницы, в которой жил.

Торопливо взобравшись по жалкой лестнице, он вошел в комнату, расположенную на самом верху, под кровлей с выступающими деревянными стропилами — простое и легкое прикрытие старых парижских домов.

Он увидел у тусклого и единственного окна этой комнаты девушку, которая при скрипе двери вскочила в страстном порыве, — она узнала художника по тому, как он взялся за ручку двери.

— Что с тобой? — сказала она.

— Со мной, со мной, — закричал он, задыхаясь от радости, — случилось то, что я почувствовал себя художником! До сих пор я сомневался в себе, но нынче утром я в себя поверил, я могу стать одним из них!.. Да, Жиллетта, мы будем богаты, счастливы! Эти кисти принесут нам золото...

Но внезапно он смолк, и его серьезное, энергичное лицо утратило выражение радости, когда он взглянул на жалкие свои ресурсы. Стены были оклеены гладкими обоями, испещренными карандашными эскизами. У него нельзя было найти четырех чистых полотен. Краски в то время стоили очень дорого, и палитра у бедняги была почти пуста.

Живя в такой нищете, он был обладателем невероятных духовных богатств, всепожирающей гениальности, бьющей через край. Он был привлечен в Париж одним знакомым дворянином, а вернее сказать, собственным гением; здесь Пуссен случайно познакомился со своей возлюбленной, благородной и великодушной, как все те женщины, которые идут на страдания, связывая свою судьбу с великими людьми, делят их нищету, стараются понять их причуды, остаются стойкими в испытаниях бедности и в любви — как другие бестрепетны в погоне за роскошью и в своей бесчувственности.

Улыбка, блуждавшая на губах Жиллетты, позлащала эту чердачную каморку и соперничала с блеском солнца; ведь солнце не всегда светило, она же всегда была здесь, отдав страсти все свои душевные силы, привязавшись к своему счастью и страданию, утешая гениального человека, который, прежде чем овладеть искусством и славой, предавался любви.

— Поди ко мне, Жиллетта!.. послушай!..

Покорно и радостно девушка вскочила на колени художнику. В ней все было очарование и прелесть; хороша как весна, чистая, наделенная всеми сокровищами женской красоты и прекрасной душой.

— О боже! — воскликнул он, — я никогда не посмею сказать ей!..

— Какой-то секрет? — спросила она. — Ну, говори же!

Пуссен оставался в раздумье.

— Что же ты молчишь?..

— Жиллетта, милочка!

— Ах, тебе что-нибудь нужно от меня?

— Да.

— Если ты желаешь, чтобы я опять позировала тебе, — сказала она, надув губки, — то я никогда не соглашусь... Это дурно.

— Тебе было бы приятнее, чтобы мне позировала другая женщина?

— Может быть, — сказала она, — но только самая некрасивая...

— Ну, а что, если ради моей будущей славы, — продолжал Пуссен серьезно, — ради того, чтобы помочь мне стать великим художником, тебе пришлось бы позировать перед другим?

— Ты хочешь испытать меня... — сказала она. — Ты хорошо знаешь, что не стану.

Пуссен уронил голову на грудь как человек, сраженный слишком большой радостью или невыносимой скорбью.

— Послушай, — сказала Жиллетта, теребя Пуссена за рукав поношенной куртки, — я тебе говорила, Ник, что готова ради тебя пожертвовать жизнью; но я никогда не обещала тебе отказаться от моей любви...

— Отказаться от любви!.. — воскликнул тронутый Пуссен.

— Ведь если я покажусь в таком виде другому, не тебе, ты меня разлюбишь... да я и сама сочту себя недостойной тебя... Когда я повинуюсь твоим прихотям, это вполне естественно, я этим счастлива и горда. Но для другого!.. какая гадость...

— Прости, милая Жиллетта! — сказал художник, бросившись на колени. — Да, лучше мне быть любимым, чем прославиться!.. ты дороже богатства и славы. Так выброс мои кисти, сожги все эскизы. Я ошибся... мое призвание — любить тебя. Я не художник, я любовник!.. Да погибнет искусство и все его секреты!..

Она любовалась своим возлюбленным, радостная, восхищенная. Она властвовала! Она инстинктивно сознавала, что искусство забыто ради нее и брошено к ее ногам.

— Все же художник этот — совсем старик, — сказал Пуссен. — Он не увидит в тебе женщину, он увидит лишь красоту; ты так совершенна...

— Чего не сделаешь ради любви! — воскликнула она, уже готовая поступиться своей щепетильностью, чтобы вознаградить возлюбленного за все жертвы, какие он ей приносит.

— Но нет, — продолжала она, — тогда я погибну. Ах! погибнуть ради тебя!.. Но ты меня забудешь... Нет, ты это нехорошо придумал!..

— Я это придумал, а ведь я люблю тебя! — сказал он с некоторым раскаянием в голосе, — но, значит, я негодяй!..

— Давай посоветуемся с отцом Ардуэном... — сказала она.

— Ах, нет! пусть это останется тайной между нами!..

— Ну хорошо, я пойду... но ты не входи со мною, — сказала она. — Оставайся за дверью, с кинжалом наготове; если я закричу, войди и убей художника...

Весь поглощенный мыслью об искусстве, Пуссен прижал Жиллетту к груди. У него, сына дворянина, солдата, среди кистей всегда была шпага.

— Он больше не любит меня!.. — подумала Жиллетта, оставшись одна.

Она уже сожалела о своем согласии; но ею владел ужас, более жестокий, чем это сожаление; она пыталась отогнать страшную мысль, зародившуюся в ее уме. Ей казалось, что она меньше любит художника, думая, что он меньше достоин уважения.

II

Катрин Леско

Через два дня после встречи с Пуссеном Порбус пришел проведать мэтра Френхофера.

Старик находился во власти того глубокого и внезапного отчаяния, причиной которого, если верить математикам от медицины, является плохое пищеварение, ветер, жара или отек в надчревной области, а согласно спиритуалистам — несовершенство нашей духовной природы. Современный писатель сказал бы об этом *феноменальном состоянии*, что Френхофер затратил слишком много душевных сил; но оставим в стороне претенциозный жаргон наших дней, — старик просто-напросто утомился, заканчивая свою таинственную картину.

Он устало сидел в просторном кресле резного дуба, обитом черной кожей, и, не изменяя своей меланхолической позы, оцепенело посмотрел на Порбуса, как смотрит человек, уже свыкшийся с тоской.

— Ну, как, учитель, — сказал ему Порбус, — ультрамарин, за которым вы ездили в Брюгге, оказался плохим?.. Или вам не удалось растереть ваши новые белила?.. или масло попалось дурное, или кисти...

— Увы! — воскликнул старик. — Мне казалось одно время, что труд мой закончен, но я, вероятно, ошибся в каких-нибудь частностях, и я не успокоюсь, пока всего не выясню... Поэтому я решил предпринять путешествие, собираюсь ехать в Турцию, Грецию, в Азию, чтобы там найти модель и сравнить мою картину с различными типами женской красоты... Может быть, у меня там, наверху, — сказал он с улыбкой удовлетворения, — сама живая красота... Иногда я даже боюсь, чтобы какое-нибудь дуновение не пробудило эту женщину и она не исчезла...

Затем он внезапно встал, как бы уже готовясь в путь.

— Ого, — вокликнул Порбус, — я пришел вовремя, чтобы избавить вас от дорожных расходов и тягот.

— Как так? — спросил удивленно Френхофер.

— Молодого Пуссена любит женщина несравненной, безупречной красоты!.. Но только, дорогой учитель, если уж он согласится отпустить ее к вам, во всяком случае, придется показать нам свое полотно...

Старик стоял как вкопанный, застыв от изумления.

— Как!.. — горестно воскликнул он наконец, — показать мое творение, мою супругу?.. разорвать завесу, которой я целомудренно прикрывал свое счастье?.. Но это было бы отвратительным непотребством!.. Вот уже десять лет как я живу с этой женщиной! Она моя и только моя!.. Она любит меня. Не улыбалась ли она мне при каждом новом блике, положенном мною? У нее есть душа, я одарил ее этой душою... Эта женщина покраснела бы, если бы кто-нибудь, кроме меня, взглянул на нее... Показать ее!.. Но какой муж или любовник настолько низок, чтобы выставлять свою жену на бесчестье?.. Когда ты пишешь картину для двора, ты не вкладываешь в нее всю душу, ты продаешь придворным вельможам только манекены. Моя живопись — не живопись, это само чувство, сама страсть! Рожденная в моей мастерской, она должна там оставаться, храня целомудрие, и может выйти оттуда только одетой. Поэзия и женщина предстают нагими лишь перед своим возлюбленным. Разве мы знаем мадонн Рафаэля, Анджелику, воссозданную Ариосто, Беатриче, воссозданную Данте... Нет! до нас дошло лишь изображение этих женщин! Ну, а мой труд, хранимый наверху за крепкими запорами, — исключение в нашем искусстве... Это уже не живопись: это женщина!.. женщина, с которой вместе я плачу, смеюсь, беседую... размышляю. Ты хочешь, чтобы я сразу расстался с десятилетним моим счастьем так просто, как сбрасывают с себя плащ? чтобы я вдруг перестал быть отцом, любовником и богом? Эта женщина не просто творчество, она — творение!.. Пусть приходит твой юноша, я отдам ему свои сокровища, картины самого Корреджо, Микеланджело, Тициана; я буду целовать в пыли следы его ног; но сделать его моим соперником... какой позор... Ха-ха, я в большей мере любовник, чем художник! У меня хватит сил сжечь ее при последнем моем издыхании, но чтобы я позволил смотреть на нее чужому мужчине, юноше, художнику? нет, нет... Я убью на следующий же день того, кто оскорбит ее взглядом!.. Я убил бы тебя в тот же миг, тебя, моего друга, если бы ты не преклонил перед ней колени! Так неужели ты хочешь, чтобы я предоставил мой кумир холодным взглядам глупцов... Ах! любовь — тайна, любовь жива только глубоко в сердце, и все погибло, когда мужчина говорит другому: вот та, которую я люблю!..

Старик словно помолодел: глаза его засветились и оживились, бледные щеки покрылись ярким румянцем, руки дрожали.

Порбус, удивленный страстной силой, с какой были сказаны эти слова, не знал, как отнестись к столь необычным и глубоким чувствам.

В своем ли уме Френхофер, или он безумен? Владела ли им фантазия художника, или высказанные им мысли были следствием непомерного

фанатизма, возникающего, когда человек вынашивает в себе большое произведение? Есть ли хоть какая-нибудь надежда обуздать такую дикую страсть?

Обуянный всеми этими мыслями, Порбус сказал старику:

— Но ведь тут женщина за женщину?.. Разве Пуссен не предоставляет свою любовницу вашим взорам?

— Какую любовницу? — возразил Френхофер, — рано или поздно она ему изменит, моя же будет мне всегда верна!

— Что ж! — сказал Порбус, — не будем больше говорить об этом! Но раньше, чем вам удастся встретить, будь то даже в Азии, женщину, столь же безупречно красивую, вы можете умереть, не закончив своей картины...

— О, она окончена, — сказал Френхофер. — И тот, кто посмотрел бы на нее, увидел бы женщину, лежащую под пологом на бархатном ложе... Близ нее — золотой треножник, разливающий благовония. Освещение мягкое... У тебя явилось бы желание взяться за кисть шнура, подхватывающего занавес, тебе казалось бы, что видишь, как дышит грудь *Катрин*. А все-таки я хотел бы увериться...

— Поезжайте в Азию, — ответил Порбус, заметив во взоре Френхофера какое-то колебание.

И Порбус направился к дверям.

В это мгновение Жиллетта и Никола Пуссен подошли к дому Френхофера. Уже готовясь войти, девушка высвободила руку из руки художника и отступила, как бы охваченная внезапным предчувствием.

— Но зачем я иду сюда? — с тревогой в голосе спросила она своего возлюбленного, устремив на него глаза.

Удивленный Пуссен взял ее руку и сказал в глубоком волнении:

— Жиллетта, я предоставил тебе решать самой и хочу тебе во всем повиноваться. Ты моя совесть и моя слава... возвращайся домой?

— Разве я могу что-нибудь решать, когда ты со мною так говоришь?.. нет, я становлюсь просто ребенком. Идем, — продолжала она, видимо, делая огромное усилие над собою, — если наша любовь погибнет и я жестоко буду каяться в своем поступке, не будет ли твоя слава вознаграждением за то, что я подчинилась твоим желаниям? Войдем, я все же буду жить, раз обо мне останется воспоминание в твоей палитре!..

Открыв дверь, влюбленные встретились с Порбусом, и тот, пораженный красотою Жиллетты, у которой глаза были полны слез, схватил ее за руку, подвел ее, всю трепещущую, к старику, и сказал:

— Вот она, разве она не стоит всех шедевров мира?

Френхофер вздрогнул. Перед ним в бесхитростно простой позе стояла Жиллетта, как юная грузинка, пугливая и невинная, похищенная разбойниками и отведенная ими к работорговцу. Стыдливый румянец заливал

ее лицо, она опустила глаза, руки ее повисли; казалось, она теряет силы, и слезы ее были немым укором насилию над ее стыдливостью.

В эту минуту Пуссен в отчаянии проклинал себя за то, что извлек это сокровище из своей каморки. Любовник взял верх над художником, и тысячи мучительных сомнений вкрались в сердце Пуссена, когда он увидел, как помолодели глаза старика, как он, по привычке художников, так сказать, раздевал девушку взглядом, угадывая в ее телосложении все, вплоть до самого сокровенного. Познав вдруг жестокую ревность истинной любви, он воскликнул:

— Жиллета, уйдем отсюда!

При этом окрике возлюбленная его радостно подняла глаза, увидела его лицо и бросилась в его объятия.

— А, значит, ты меня любишь? — отвечала она, заливаясь слезами.

Она проявила мужество, когда надо было утаить свои страдания, а теперь не нашла в себе сил, чтобы скрыть свою радость.

— О, оставьте ее мне на два часа... — сказал старый художник, — и вы сравните ее с моей Катрин. Да, я согласен.

В возгласе Френхофера все еще чувствовалась любовь к созданному им подобию женщины. Можно было подумать, что он гордится ее красотой и заранее торжествует победу, которую она одержит над живой женщиной.

— Ловите его на слове!.. — сказал Порбус, хлопая Пуссена по плечу. — Женщины и плоды любви недолговечны, плоды искусства бессмертны...

— Неужели я для него только женщина? — ответила Жиллета, внимательно глядя на Пуссена и Порбуса.

Она гордо подняла голову и бросила сверкающий взгляд на Френхофера, но вдруг заметила, что ее возлюбленный любуется картиной, которую при первом посещении он принял за произведение Джорджоне.

— Ах, идемте наверх, — решила Жиллета. — На меня он никогда так не смотрел.

— Старик, — сказал Пуссен, выведенный ее голосом из задумчивости, — видишь ли ты этот кинжал? Он пронзит твое сердце при первой жалобе этой девушки, я подожгу твой дом, так что никто из него не выйдет. Понимаешь ли ты меня?..

Никола Пуссен был мрачен, речь его звучала грозно; его слова, жест, которым они сопровождались, успокоили Жиллету; и она почти простила ему то, что он принес ее в жертву искусству, своей славе, своему будущему.

Порбус и Пуссен стояли у двери мастерской и молча глядели друг на друга; вначале первый позволил себе сделать некоторые замечания:

— Ах, она раздевается... Он велит ей повернуться к свету, и т. д.

Вскоре он замолчал, увидев на лице у Пуссена беспокойство и грусть.

Сжимая рукоятку кинжала, юноша почти вплотную приложил ухо к двери. Порбус был в таком же напряжении, ему становилось понятно страдание Пуссена; и, стоя здесь в тени, оба они походили на заговорщиков, выжидающих, когда настанет час, чтобы убить тирана.

— Входите! входите! — сказал им старик, сияя счастьем. — Мое произведение совершенно, и теперь я могу с гордостью его показать. Художник, краски, кисти, полотно и свет никогда не создадут соперницы для моей *Катрин Лескo*!..

Порбус и Пуссен, охваченные нетерпеливым любопытством, вскоре очутились в просторной мастерской, где все было в беспорядке и покрыто пылью, свет падал сверху, где тут и там висели на стенах картины среди статуй, этюдов, бюстов, рук, скелетов и тканей. Оба они остановились сначала перед изображением полунагой женщины в человеческий рост, которое привело их в восторг.

— О!.. на эту вещь не обращайте внимания!.. — сказал Френхофер, — я делал наброски, чтобы изучить позу; картина ничего не стоит. — А тут мои заблуждения, — продолжал он, показывая художникам чудесные композиции, развешанные всюду по стенам.

При этих словах Порбус и Пуссен, изумленные презрением Френхофера к таким картинам, стали искать портрет, о котором шла речь, но не могли его найти.

— Вот, смотрите!.. — сказал им старик восторженно.

Его волосы растрепались, лицо пылало, глаза искрились; он задыхался.

— Ага! — воскликнул он, — вы не ожидали такого совершенства!.. Перед вами женщина, а вы искали картину!.. В этом полотне так много глубины! воздух так верно передан, что вы не можете его отличить от воздуха, которым дышите... Где искусство?.. оно пропало, исчезло!.. Это — тело девушки... Схвачен колорит, четкие контуры тела!.. Оцените!.. Недаром я семь лет изучал впечатление от сочетания света с предметами... А эти волосы... как они насыщены светом... Но она вздохнула, кажется!.. Эта грудь!.. Смотрите... кто не опустится перед ней на колени?.. Тело трепещет. Она сейчас встанет, подождите...

— Видите вы что-нибудь? — спросил Пуссен Порбуса.

— Нет, а вы?..

— Ничего...

Предоставляя старику восторгаться, оба художника стали проверять, не уничтожает ли все эффекты свет, падая прямо на полотно, которое Френхофер им показывал; они рассматривали картину, отходя направо, налево, то становясь напротив, то нагибаясь, то выпрямляясь.

— Да, да, это ведь картина, — говорил им Френхофер, ошибаясь относительно цели такого тщательного осмотра. — Глядите, вот здесь рама!.. мольберт!.. а вот мои краски, мои кисти!..

И, схватив одну из кистей, он простодушно показал ее художникам.

— Старый ландскнехт смеется над нами! — сказал Пуссен, подходя снова к мнимой картине. — Я вижу здесь только краски, скопившиеся, как на палитре...

— Смешавшиеся, туманные тона... — подхватил Порбус, — но...

Тогда, подойдя ближе, они заметили в углу картины кончик обнаженной ноги, выделявшийся из хаоса красок, тонов, неопределенных оттенков, образующих некую бесформенную туманность; кончик прелестной... живой ноги!

Они остолбенели от изумления перед этим обломком, уцелевшим от невероятного, медленного и постепенного разрушения картины. Нога выделялась здесь, как прекрасный торс какой-нибудь Венеры из паросского мрамора среди руин сожженного города.

— Под этим скрыта женщина!.. — воскликнул Порбус, указывая Пуссену на тонкие слои красок, которые старый художник наложил один на другой в различных частях картины, желая ее усовершенствовать.

Оба художника невольно повернулись в сторону Френхофера, начиная смутно постигать тот экстаз, в котором он жил.

— Он верит тому, что говорит!.. — сказал Порбус.

— Да, друг мой, — ответил старик, приходя в себя, — верить необходимо!.. В искусстве надо верить и надо сжиться со своей работой, чтобы создать подобное произведение... Некоторые из этих теней отняли у меня немало сил... Смотрите, вот здесь на щеке, под глазом лежит легкая дымка, которая в природе, если вы обратите на нее внимание, покажется вам почти непередаваемой; и как вы думаете, разве этот эффект не стоил мне больших трудов? *

И кончиком кисти он указал художникам на густой слой светлой краски.

Порбус хлопнул старика по плечу и, повернувшись к Пуссену, сказал:

— Знаете ли вы, что мы считаем его подлинно великим художником?

— Он более поэт, чем художник! — сказал серьезно Пуссен.

— Тут вот, — продолжал Порбус, дотронувшись до картины, — кончается наше искусство на земле...

— И, исходя отсюда, теряется в небесах, — сказал Пуссен.

---

* В издании Госслена, вышедшем в том же 1831 г., что и приводимая журнальная редакция, здесь появилось следующее добавление: «А затем, мой дорогой Порбус, рассмотри внимательней мою работу, и ты лучше поймешь то, что я говорил тебе относительно способа, каким фламандцы и итальянцы передают свет и контур... Четко проводя линию, как учил Перуджино, я слегка смягчил свет полутонами, на изучение которых потратил много времени, и вместо того, чтобы подчеркивать линию извне, я смешал тени и свет. Подойдите поближе... вам виднее будет фактура. Издали ее не разглядишь... Вот здесь она, полагаю, весьма достойна внимания» (B a l z a c. Romans et contes philosophiques, t. 3. Paris, Gosselin, 1831, pp. 261—262).

— Сколько пережитых наслаждений на этом полотне!.. — воскликнул Порбус.

Поглощенный своими мыслями, старик не слушал художников и улыбался воображаемой женщине *.

В эту минуту Пуссен услышал плач Жиллеты; она сидела одна в углу.

— Что с тобой, мой ангел?.. — спросил ее художник, снова ставший любовником.

— Убей меня! — сказала она, — любить тебя по-прежнему было бы позорно, потому что я презираю тебя... Ты — моя жизнь, и ты мне отвратителен... Мне кажется, я уже ненавижу тебя.

---

* В издании Госслена здесь появилась следующая вставка:

«— Но рано или поздно он заметит, что на его полотне ничего нет... — воскликнул Пуссен.

— Ничего... на ... моем полотне!.. — сказал Френхофер, глядя попеременно то на художника, то на мнимую картину.

— Что вы наделали? — обратился Порбус к Пуссену.

Старик с силой схватил юношу за руку и сказал ему: — Ты ничего не видишь?.. деревенщина! разбойник! ничтожество! дрянь!.. Зачем же ты пришел сюда?.. Мой добрый Порбус, — продолжал он, поворачиваясь к художнику, — а вы, вы тоже насмехаетесь надо мной?.. Отвечайте... Я помогал вам, я ваш друг... скажите, я, может быть, испортил свою картину?

Порбус, колеблясь, не решался ответить; но на бледном лице старика запечатлено было столь глубокое беспокойство, что Порбус показал на полотно и сказал:

— Смотрите сами!

Френхофер некоторое время рассматривал свою картину и вдруг зашатался.

— Ничего!.. ровно ничего!.. А я проработал десять лет!..

Он сел и заплакал.

— Значит, я глупец, безумец!.. У меня нет ни таланта, ни способностей, я только богатый человек, который бесполезно живет на свете!.. И мною, стало быть, ничего не создано!

Глядя на свою картину сквозь слезы, он вдруг гордо выпрямился и окинул обоих художников сверкающим взором:

— Клянусь плотью и кровью Христа, вы болваны! Да, завистники! Но я, я ее вижу!.. Она дивной красоты!.. А, вы боитесь моей славы! Прочь отсюда!.. Прочь!» (Указ. изд., стр. 262—264).

ПРИЛОЖЕНИЯ

Два „Философских этюда“ Бальзака

В литературной науке многие десятилетия существовало представление о «Человеческой комедии» как об изображении царства денежных интересов, безраздельного господства денег над всеми помыслами бальзаковских героев. В настоящее время эта точка зрения дополняется и изменяется. Как ни глубока и многостороння критика буржуазных отношений у Бальзака, пафос его творчества не исчерпывается обличением. Несравненный исследователь тайных механизмов общественной жизни, Бальзак верил в духовные силы человека, которые противостоят давлению материальных обстоятельств. В «Человеческой комедии» множество героев, чьи помыслы и действия продиктованы не выгодой, а высокой человеческой целью. Значительная часть этих героев фигурирует в «Философских этюдах»: философ, стремящийся постигнуть мироздание; ученый в поисках разгадки вещества; художник, композитор, открывающие новые и новые пути в искусстве. Для этого цикла характерны герои-искатели, стремящиеся к своей цели, вопреки тысяче препятствий. Они живут и сгорают в высоком напряжении мысли и чувств.

Бальзак особенно дорожил «Философскими этюдами» как средоточием своих заветных мыслей о человеке и мире. Этот цикл посвящен человеческой энергии — величайшей, по мнению автора, ценности в мире. В проблеме энергии сошлись основные философские идеи Бальзака: мысль о единстве мира, о единстве физического и духовного в человеке, унаследованная от просветителей (при своеобразном акценте на важности духовного начала для физического существования); идея воздействия общества на личность, историческое движение, новые черты которого Бальзак глубоко понимал и анализировал как никто другой в его время. Проблему сохранения или гибели энергии (жгучую проблему также и его личной биографии) Бальзак считал центральной. Многие современные бальзаковеды разделяют отношение автора к «Философским этюдам»,

признавая их жемчужиной «Человеческой комедии» (Б. Гюйон, П.-Ж. Кастекс, М. Бардеш, А. Эванс).

Судьба духовной энергии у Бальзака — тема трагическая. Наряду с захватывающими социальными драмами и в самих этих драмах он создает еще иные: он исследует опасности, которые подстерегают мысль в самом процессе познания. Творческое начало выступает в борьбе с многообразными преградами, победа порою носит трагический характер.

В изображении искателей и творцов Бальзак в высокой степени обладал даром исторического предвидения. Им предугаданы не только социальные типы будущего, что было отмечено Марксом, не только социальные революции, но и направление художественных и научных открытий: в этом сказалась универсальность его интересов и диалектический характер его философской мысли.

Набрасывая план в своей рабочей тетради («альбоме»), Бальзак объединил несколько философских этюдов: «Работа мозга: История одной идеи — Страдания изобретателя — Неведомый шедевр — Два сна»[1]. (Замысел романа «Страдания изобретателя» преобразился в 1834 г. в «Поиски Абсолюта»).

1

«Неведомый шедевр» — одно из самых выдающихся произведений Бальзака. В сжатом, полном драматизма рассказе, в отточенной форме выражены мысли об искусстве, глубина которых становится все яснее с течением времени. Это рассказ о единоборстве художника с природой; «никогда еще интимнейшая тайна искусства, — писал Стефан Цвейг, — стремление к совершенству, не были с таким неистовством доведены до масштабов трагического»[2]. При высоком накале чувства «Неведомому шедевру» присущи аналитическая мысль и трезвая ирония. Он многозначен и неисчерпаем; живое развитие искусства открывает все новые грани в истории «величия и падения» героя. Сезанн с огромным волнением узнавал себя в каких-то сторонах личности Френхофера[3], Пикассо сделал к этому небольшому рассказу около восьмидесяти иллюстраций.

«Неведомый шедевр» с подзаголовком «Фантастический рассказ» был напечатан в июле—августе 1831 г. в журнале «Артист» («L'artiste»). Вскоре автор включил его, с несколькими характерными добавлениями и

---

[1] H. de Balzac. Pensées, sujets, fragments. Paris, Blaisot, 1910, p. 97—98.
[2] Ст. Цвейг. Бальзак. М., «Молодая гвардия», 1961, стр. 134.
[3] Э. Бернар. Поль Сезанн, его неизданные письма и воспоминания о нем. М., 1912, стр. 36.

уже без подзаголовка, в третий том своих «Философских романов и рассказов».

Обе редакции 1831 г. были далеки от окончательной — от текста издания 1837 г. В 1831 г. содержание новеллы составлял эпизод из жизни художника Никола Пуссена, отнесенный к его юности. В ателье знаменитого Порбуса Пуссен встречается с загадочным художником Френхофером и узнает, что старик владеет ценнейшими секретами мастерства, что он написал картину, ревниво оберегаемую им от людских глаз. Френхофер ищет натурщицу; Пуссен соглашается показать ему свою возлюбленную Жиллету обнаженной в обмен на разрешение увидеть «Нуазезу». Девушка повинуется против воли. Но когда Френхофер, влюбленный в свой «неведомый шедевр», допускает к нему, наконец, Порбуса и Пуссена, те видят только бесформенное нагромождение мазков. В стремлении к совершенству старик сам погубил гениальное произведение, о котором позволял судить только сохранившийся в углу полотна кончик подлинно живой ноги, выступавший из хаоса красок.

Рассказ завершался словами плачущей Жиллеты, обращенными к Пуссену: «Мне кажется, я уже ненавижу тебя». Он был построен на романтическом конфликте любви и художественного призвания, отношения юноши и девушки выдвигались на первый план. Рецензент в 1831 г. имел некоторое основание писать: «В «Неведомом шедевре» — грациозных сценах из жизни художника — представлена борьба любви и честолюбия, сердца и разума, в которой эгоистический разум побеждает...»[4].

Острый конфликт чувств, неожиданный исход, связанный с безумием Френхофера, рисовали артистические натуры в плане романтической экзотики (в рассказах Бальзака «Слава и несчастье» (1829), «Сарразина» (1830), в образах художников также акцентировались неудержимые пламенные страсти). Основная часть проблем, составивших впоследствии сердцевину «Неведомого шедевра», в 1831 г. только намечалась.

«Фантастический рассказ» был написан вскоре после того, как завершились «годы учения» Бальзака. Уже вышли «Шуаны», «Шагреневая кожа». Последующие годы — время колоссальной продуктивности; ширится поток произведений, созревает замысел подчинить их единому плану и «...воспроизводить черты грандиозного облика своего века»[5]. В предисловиях, статьях, рецензиях Бальзака этих лет утверждается философская глубина искусства, его великая познавательная и общественная роль, исторический и социальный принцип изображения действитель-

---

[4] Рецензия Шарля Бернара перепечатана в кн.: Sp. de Loevenjoul. Histoire des oeuvres d'Honoré de Balzac. Paris, Calmann-Lévy, 1886, p. 358.

[5] О. Бальзак. Собр. соч. в 24 томах, т. 24. М., Изд-во «Правда», 1960, стр. 310 (предисловие к роману «Дочь Евы»). Все ссылки на собрание сочинений Бальзака на русском языке даны по этому изданию.

ности. Уже создав «Полковника Шабера», «Поиски Абсолюта», «Отца Горио» и другие, по выражению Жорж Санд, «нетленные книги», Бальзак в 1837 г. вернулся к «Неведомому шедевру».

В окончательной редакции рассказ, сокращенный в отдельных местах, в целом значительно увеличился. Все добавления были связаны с образом Френхофера; любовная линия Жиллеты и Пуссена, сплетаясь с основной отныне линией Френхофера, только оттеняла, драматически обогащала ее.

Новая редакция отразила творческий опыт Бальзака-реалиста и его углубившееся понимание живописи. В сцене в ателье Порбуса автор блестяще развернул разбор Френхофером картины «Мария Египетская»; обширные вставки были посвящены отношению произведения искусства к натуре, появились крылатые словесные формулы вместо прежнего неясного упрека в отсутствии того, что «больше модели». Была введена сцена исправления Френхофером картины Порбуса. В беседе художников в доме Френхофера, там, где в журнальной редакции старый мастер кратко выражал желание добиться объемности тел на полотне — в окончательной он точно и пространно говорит о технических средствах для достижения этой цели. Краткий рассказ Порбуса о Френхофере и его учителе Мабузе обогатился проницательным отзывом о заблуждениях Френхофера.

Было внесено изменение, важное в психологическом плане. В первой редакции действие, охватывало четыре дня и развязка отделялась от завязки всего двумя днями, в окончательной — тремя месяцами (см. начало второй главы). Углубляя личную трагедию Френхофера, Бальзак дал ей время созреть.

Соответственно были развернуты объяснения, которыми художник, уже впавший в безумие, сопровождает показ своей картины. В конце, после упреков Жиллетты, раньше заключавших рассказ, Бальзак приписал несколько новых строк, довершая образ Френхофера, еще более четко изобразив его конфликт с законами искусства. Теперь рассказ кончался гибелью героя.

Бальзак убрал иронические отступления в духе французского стернианства (о страсти к литературным описаниям, о последующей судьбе картины Порбуса, о романтическом жаргоне). Превращая «Неведомый шедевр» в рассказ о важнейших проблемах искусства, он устранил иронию, связанную с подчеркиванием авторского произвола и не относящуюся к сущности изображаемого конфликта. Благодаря этому общий тон стал строже, а ирония, сосредоточенная в основной ситуации, выиграла в силе и цельности.

В «Неведомом шедевре» переплелись проблемы психологии творчества, философские интересы автора и актуальные вопросы художественной жизни, современной писателю.

Рассказ был создан в пору, когда во Франции завершался период «романтических боев». Начавшись вместе с веком, эти бои с особой силой разгорелись в 20-х годах: эпигоны классицизма защищались от соединенных сил романтиков, написавших на своем знамени лозунги радикального обновления, осовременивания искусства и свободного проявления творческой личности. Романтическая волна поднялась во всех областях искусства — сражались и в ателье художников, и на выставках-салонах 1819, 1822, а особенно 1824 и 1827 гг. Мифологическая тематика в живописи, идеализация модели, отвлеченная правильность пропорций и симметрия в композиции по академическим канонам отступали перед исторической и современной темой, перед поисками психологической выразительности, бурной динамикой и живописностью полотен Жерико, Делакруа и их единомышленников.

Между литературой и живописью возникла братская связь. «Художники читали поэтов, а поэты посещали художников. Сочинения Шекспира, Данте, Гете, лорда Байрона и Вальтер Скотта можно было увидеть как в ателье художников, так и в рабочих кабинетах писателей» [6].

По словам Готье, предисловие к «Кромвелю», где Гюго провозгласил свободу искусства от подражания древним, сияло перед глазами молодого поколения, как скрижали Моисея на Синае.

После штурма «академической Бастилии», в условиях Июльской монархии, закрепившей власть буржуа, в среде победивших романтиков яснее обозначились группы, различные по своей общественной и эстетической ориентации. Сохраняет престиж Шатобриан, который еще в «Гении христианства» определил «прекрасный идеал» как искусство вуалировать и приукрашать природу. Гюго, бывший прежде вождем всех противников классицизма, становится главой демократически настроенных романтиков. Бальзак, у которого немало разногласий с Гюго, видит союзника в Стендале, отстаивавшем наиболее прогрессивное и глубокое понимание романтизма. В романах Бальзака и Стендаля в 30-х—40-х годах реализм достигает мощного расцвета. Часть бывших романтиков открыто переходит на службу буржуа и режиму Луи-Филиппа и создает «школу здравого смысла» (в живописи — «золотой середины»). Из романтизма же в 1830 г. выходит первый кружок писателей, художников, скульпторов, тяготеющий к искусству для искусства; к середине 30-х годов это течение уже обозначилось достаточно отчетливо.

В такой атмосфере, решая собственные задачи, Бальзак создал неисчерпаемо-глубокий этюд о большом художнике и о путях, которые могут привести к победам и поражениям в искусстве.

Действие его отнесено к 1612 г., главный герой почерпнул свои эстетические идеалы в живописи Возрождения. Творчество мастеров этой

[6] Th. Gautier. Histoire du romantisme. Paris, Charpentier, 1874, p. 204—205.

эпохи было особенно близко Бальзаку своей глубиной, масштабами и гениальной яркостью воплощения жизни; оно предоставляло наибольшие возможности для обоснования взглядов Бальзака на искусство.

Избранная эпоха давала и другое преимущество. Под знаменем старых мастеров происходила современная борьба академической и романтической школ в живописи: Энгр, глава академической школы, именовал себя приверженцем Рафаэля, а его постоянный противник, вождь романтиков Делакруа, восторгался Рубенсом. То же в литературе: романтический манифест Стендаля, жгуче-актуальный по содержанию, назывался «Расин и Шекспир».

Оставаясь в рамках Возрождения, придававших действию особую значительность и колорит, Бальзак привносит в прошлое современные интересы. Его Френхофер — ученик Мабузе, художник великой минувшей эпохи, по страстным поискам новых путей, по свободному теоретизированию и проявлению своей индивидуальности мог для читателя связываться и с десятилетиями «романтических боев».

В отличие от Френхофера, Франсуа Порбус (Франс Поурбус-младший, 1569—1622) — лицо историческое; среди фламандских художников ему принадлежит довольно значительное место. Бальзак придал «актуальность» слабым сторонам Поурбуса: в разборе Френхофером его картины звучат, в интенсивной бальзаковской форме, упреки романтиков в адрес академической живописи (сухость, безжизненная правильность — ср. ниже упоминание о раскрашенных манекенах, которые изготовляются для придворных). Но образ Поурбуса в рассказе отнюдь не сводится к чертам сходства с эпигонами классицизма. Давая отчасти повод для таких ассоциаций, образ бальзаковского Поурбуса соответствует исторической истине и подчинен общему художественному замыслу. Это серьезно работающий и думающий художник; Френхофер строго судит его картину, но готов заплатить за нее больше, чем дает королева. Поурбус к концу рассказа метко оценивает заблуждения Френхофера.

Главный герой новеллы, Френхофер, будто сошедший с картины Рембрандта, с первого появления поражает своей гениальностью и «чем-то дьявольским и невыразимым». Пуссену он кажется «богом живописи». Требовательность старого художника к себе и другим безмерна. Прославленную картину Поурбуса он разбирает язвительно и вдохновенно; под его кистью исчезает все несовершенное в этой работе, и она начинает жить. Его мысли об искусстве, вычеканенные в гениальной форме — это мысли самого Бальзака: за каждой формулой открываются перспективы в глубь «Человеческой комедии».

Френхофер отвергает мелочное, рабское подражание природе. «Вы недостаточно близко познаете форму, вы недостаточно любовно и упорно следуете за нею во всех ее поворотах и отступлениях... Только после долгой борьбы ее можно приневолить показать себя в настоящем виде».

«Эти непреклонные художники... упорствуют, пока не принудят природу показать себя совершенно нагой, в своей истинной сути».

Художник называет здесь формой только тот подлинный облик вещей, который надо уметь найти среди множества наносного, случайного. Творческое преображение натуры — закон; искусство — борьба, трудный акт познания, вырывание тайн у природы.

Это относится не только к художникам Возрождения, чьи имена придают словам Френхофера такую неотразимую убедительность. Это заповедь Бальзака: искусство — работа по извлечению правды. Он в своем изображении человека и общества также не давал обмануть себя показным, доискиваясь сущности.

«Задача искусства не в том, чтобы копировать природу, но чтобы ее выражать! Ты не жалкий копиист, но поэт! ... попробуй, сними гипсовую форму с руки своей возлюбленной и положи ее перед собой, ты не увидишь ни малейшего сходства, это будет рука трупа, и тебе придется обратиться к ваятелю, который, не давая точной копии, передаст движение и жизнь. Нам должно схватывать душу, смысл, характерный облик вещей и существ». Этот образ, к которому прибегает герой Бальзака, стал классическим обозначением и символом подлинного искусства.

«Впечатления! Впечатления! Да ведь они — только случайности жизни, а не сама жизнь! Рука, раз я уж взял этот пример, рука не только составляет часть человеческого тела — она выражает и продолжает мысль, которую надо схватить и передать. Ни художник, ни поэт, ни скульптор не должны отделять впечатление от причины, так как они нераздельны — одно в другом». Художнику открываются «источники выражения в прошлом целой жизни». Это предельно емкие «формулы» бальзаковских персонажей, чье поведение и образ мыслей обычно объяснены целым комплексом событий и обстоятельств исторических, общественных, личных, так что впечатление и причина нераздельны»[7]. Френхофер так глубоко выразил природу большого искусства, что слова его как бы заранее выявляют ложность некоторых путей, принятых позднейшими направлениями в искусстве: натурализмом («сними гипсовую форму...»), поздним импрессионизмом («Впечатления!.. Да ведь они случайности жизни...»).

Френхофер требует, чтобы смысл, сущность изображаемого брались художником в их высшем проявлении, были бы освещены мощным светом: «Вы схватываете внешность жизни, но не выражаете ее бьющего

---

[7] В устах Френхофера мы узнаем идеи, высказывавшиеся автором до и после третьей редакции «Неведомого шедевра». Ср.: «Талант проявляется в обрисовке причин, порождающих факты...» «Писатель должен показать нам все его корни» (Собр. соч., т. 24, стр. 81, 147—148). В предисловии к «Человеческой комедии» автор настойчиво указывал читателю на свои поиски «социального двигателя», «скрытого смысла огромного скопища типов, страстей, событий» (Собр. соч., т. 1, стр. 27).

через край избытка...» — и в этом также автор заодно со своим героем. Д'Артез, наиболее близкий его идеалу художник, определит искусство как «концентрированную природу». Образы Бальзака построены на мощном преувеличении, заострении типического (Гобсек — философ ростовщичества, некоронованный король Парижа; Клаас — ученый, весь без остатка ушедший в свою идею, «олицетворяет усилия всей современной химии» [8], Вотрен — «Наполеон каторги»; Горио — «Христос отцовской любви» и т. д.). На обвинение в исключительности и колоссальности своих героев Бальзак в 1846 г. ответил словами, свидетельствующими о том, насколько глубоко была продумана его теория «бьющего через край избытка»: «Заметьте,.. что всякий типический персонаж становится грандиозным именно в силу своей типичности» [9].

Таким образом, создатель Френхофера стремился вложить в его уста основные принципы своей эстетической мысли, те глубокие основы реализма, которые сложились к началу 30-х годов и на которые опиралось его художественное исследование современности.

2

Необычайная острота воздействия рассказа достигается тем, что на примере этого же героя, столь значительного интеллектуально и духовно, автор показывает — если воспользоваться словами предисловия к «Массимилле Дони», — «какой хаос порождает в душе художника мысль, доведенная до крайности», «в силу каких законов искусство приходит к самоубийству» [10]. Образ Френхофера раскрыт в развитии, в борьбе противоречий, как всегда у Бальзака. Действие сосредоточено вокруг кризисного момента этого развития [11]. Уже в первой главе содержатся зерна того, что случится три месяца спустя: Порбус порицает теоретизирование Френхофера в ущерб воплощению и под конец называет его искусным художником, «но в такой же мере и сумасшедшим».

---

[8] Письмо г-ну Ипполиту Кастилю, редактору «Недели». — Собр. соч., т. 24, стр. 222.
[9] Там же, стр. 222—223.
[10] Там же, стр. 313.
[11] Игнорирование развития образа зарубежными исследователями рассказа, рассмотрение взглядов героя на вершине и в конце его пути как единой системы приводит к путанице. От этого несвободна даже авторитетнейшая французская работа: P. Laubriet: Un catéchisme esthétique: «Le chef-d'oeuvre inconnu» de Balzac. Paris, Didier, 1961, p. 90, 123. Та же ошибка у М. Эйгельдингера. Требование Бальзака — не копировать природу, а ее выражать — Эйгельдингер никак не связывает ни с искусством Возрождения, ни с искусством XIX в. и самого Бальзака, но только с... кубизмом. M. Eigeldinger. La philosophie de l'art chez Balzac. Génève, Pierre Cailler, 1957.

В работе художника произошел разрыв между замыслом и результатом; утрата чувства реального сделала разрыв непоправимым и обратила во зло жажду совершенства. Бальзак назвал это «одной из интереснейших проблем человеческого духа в его схватках с искусством».

Один из важных ее аспектов — трудности и опасности пути от замысла к воплощению; из их гармонии рождаются шедевры, но между ними может раскрыться пропасть, и не только из-за недостатка энергии у художника, но также из-за своеобразного ее преизбытка, перевеса. «...Форма и идея — два антагонистических начала, иначе не было бы жизни» [12], — говорит Бальзак о творческом процессе. Большой художник преодолевает этот «антагонизм» [13]. Если идея, даже прекраснейшая, развивается вне суровых законов воплощения, произведение погибло. Порбус поясняет Пуссену: «...воззрения Френхофера шире и выше, чем у других художников», но у него «рассудок и поэзия не ладят с кистью»; здесь залог поражения. «Художник должен рассуждать только с кистью в руках» [14].

Френхофер без конца переписывает картину, и его самообольщение растет по мере того, как картина гибнет.

Сходная ситуация в повести «Гамбара» (1837): гениальный композитор на основе своих сложных научных теорий создает негармонические сочетания звуков, которые представляются ему небесной музыкой (лишь в редкие минуты опьянения, когда действие вина тормозит гипертрофированную работу мысли, он извлекает из инструмента собственного изобретения небывало прекрасные звуки). В «Массимилле Дони» (1837—1839), повести с внешне фривольным сюжетом, разлад замысла и его осуществления в искусстве символически воплощен в любовном чувстве итальянца Эмилио Мемми; возвышенное обожание возлюбленной достигло у него такой степени, что он мог любить ее только, «как любят ангелов

---

[12] «Массимилла Дони». — Бальзак. Повести и рассказы, в 2-х томах, т. 2. М., Гослитиздат, 1959, стр. 154. Ссылки на повесть даются далее по этому изданию.

[13] Бальзак был очень скрытен во всем, что касалось его собственного процесса творчества, но десятки раз сравнивал себя в письмах с рабочим, рудокопом, гравером, резчиком, судостроителем, пахарем, архитектором, солдатом, генералом: сравнения, общей основой которых служит борьба, преодоление препятствий. Ср. также в романе «Кузина Бетта» слова об «изнурительной борьбе» творческого труда» (Собр. соч., т. 13, стр. 215—216).

[14] Э. Бернар в воспоминаниях о Сезанне пишет: «По натуре Сезанн был страстным новатором, его методы были совершенно оригинальны, но его логика, помимо воли, так усложнила систему приемов, что работа его крайне затруднялась и как бы совсем парализовалась...» (Э. Бернар. Указ. соч., стр. 22). И далее: «Однажды вечером я заговорил с ним о «Неведомом шедевре» и Френхофере, герое Бальзака; он вышел из-за стола, встал передо мной и, стуча пальцем в грудь, не говоря ни слова, признал себя персонажем рассказа. Он был так взволнован, что глаза его наполнились слезами. Некто, живший раньше него, но обладавший пророческой душой, разгадал его». (Там же, стр. 36).

в небесах», отчего едва не покончил с собой. Но герой не гибнет: по совету врача-француза, на ночном свидании, когда Эмилио ждет свою любовницу — певицу Тинти, ее втайне от героя заменяет небесная возлюбленная — Массимилла. Гармония чувственного и духовного восстановлена, Эмилио и Массимилла вступают в счастливый брак.

Бальзак писал Ганской 20 октября 1837 г. о «Массимилле Дони»: «...ни одно произведение я не вынашивал так любовно, как эти символические страницы...» [15]. В другом письме он жалуется на поверхностных читателей, которые не поймут скрытого смысла повести; но когда-нибудь она будет оценена «как прекрасное объяснение одной из самых сокровенных сторон творческого процесса», «зачатия произведений искусства» [16]. В том же символическом ключе в «Массимилле Дони» говорится: «При перелете стрела так же далека от цели, как при недолете» [17].

Психологическая правдивость «Неведомого шедевра» была отмечена Марксом. П. Лафарг вспоминает: «Психологический этюд Бальзака «Le chef-d'oeuvre inconnu» произвел на Маркса глубокое впечатление; здесь Бальзак описывает настроение, которое отчасти пришлось пережить самому Марксу...» [18]. В письме от 25 февраля 1867 г. Маркс посоветовал Энгельсу прочитать рассказ Бальзака и назвал его «маленьким шедевром, полным прелестной иронии» [19].

Основной, чисто-бальзаковский тон рассказа создает сочетание пафоса утверждаемой истины, безграничной преданности искусству — с иронией. Предмет иронии Бальзака — неумение художника считаться с объективными законами искусства, возможное противоречие между субъективным восприятием и сущностью вещей [20].

В образе Френхофера Бальзак, всегда чуткий к явлениям своего времени, явственно обобщил некоторые черты художественной жизни первой трети XIX в.

---

[16] «Lettres à l'Etrangère», t. I. Paris, Calmann-Lévy, 1899, p. 437.
[16] Ibid., p. 458.
[17] «Массимилла Дони», стр. 96.
[18] «Маркс и Энгельс об искусстве», т. 2. М., «Искусство», 1957, стр. 585.
[19] Там же, стр. 527.
[20] Некоторые французские бальзаковеды не видят иронии в «Неведомом шедевре». Если верить А. Эвансу, Бальзак призывал художников разрушать искусство вместе с Френхофером и Гамбарой, «освобождая» его от материи ради совершания «чистых принципов» (H. Evans. «Louis Lambert» et la philosophie de Balzac. Paris, Corti, 1951, p. 251—253). П. Лобрие (книга которого содержит много полезных сведений и очень здраво освещает творческую историю рассказа) непоследователен в этом вопросе. В одном случае он пишет, что Бальзак «заставил героя осознать свой крах и безумие и вынес ему четкий обвинительный приговор» (стр. 120); в другом — что в названии новеллы нет иронии и путь Френхофера открывает новые перспективы (стр. 186, 199—200). Более всего показательно мнение Д. Вуга, который, признавая, что Бальзак осуждает своего героя, приписывает это недостатку смелости и называет это «предательством» (D. Vouga. Balzac malgré lui. Paris, Corti, 1958).

Автор «Неведомого шедевра» принадлежал романтизму как литературе нового века, обогатившейся историзмом, отметающей догматические правила и ограничения, завоевавшей для художника полную свободу в средствах художественного выражения. Он принадлежал романтизму широтой своих литературных вкусов, любовью ко всему необыкновенному и грандиозному, присущим его произведениям драматизмом, высоким накалом страстей. И вместе с тем он насмешливо отвергал (например, в статьях «Романтические обедни» (1830), «О литературных салонах и хвалебных словах») романтическое опьянение ролью художника как суверенного творца, не подчиненного никаким условиям и законам, и творчество для немногих.

Френхофер довел культ искусства до забвения границ, поставленных, по Бальзаку, самой природой искусства; он видит в «Нуазезе» не картину, а живую женщину; он творит для одного себя, скрывает свое произведение и намеревается уничтожить его перед смертью. «Как!.. Показать мое творение, мою супругу? Но это было бы отвратительным непотребством!.. Да, у меня хватит сил сжечь мою прекрасную Нуазезу при последнем моем издыхании; но чтобы я позволил смотреть на нее чужому мужчине, юноше, художнику? — нет! нет! Я убью на следующий же день того, кто осквернит ее взглядом!» Эту тираду мог бы произнести и какой-либо из одержимых художников Гофмана. Возведению искусства в абсолют Бальзак противопоставляет идею его реальной обусловленности законами воплощения и восприятия. «Случай Френхофера» — это желание стереть границы искусства, вместе с тем он соответствует традиционно-романтическому разладу духовного и чувственного; в последней картине стремление художника осталось только стремлением, его зримое воплощение бессвязно и дисгармонично. Бальзак предостерегает от того разрыва духовного и материального начал, который романтики провозгласили неизбежным.

Бальзак хорошо знал Гофмана, находил у него «страницы, отмеченные гением»[21], возможно, был обязан ему обращением к живописи и музыке как литературным темам, и спорил с ним (ср. в письме 1837 г. о Гофмане: «Я могу дать ключ от дворца, где он опьянялся»)[22]. В «Неведомом шедевре» Бальзак соприкасается с постоянной темой романтиков — темой крушения мысли, безумия и гибели художника; Гофман в романе «Житейские воззрения кота Мурра» и ряде новелл о художниках утверждает смертоносность творческого дара для его обладателя. Бальзак строит потрясающую личную драму своего героя не на идее «извечного» бессилия ищущего разума и духа — он раскрывает реальные заблуждения Френхофера, сопоставляет с ним не самодовольных обывателей, как обычно

[21] Balzac. L'oeuvre, t. XVI: Correspondance. Paris, «Formes et reflets», 1955, p. 238.

[22] Ibid., p. 239.

делает Гофман, а двух серьезных художников. В центре всего цикла «Философских этюдов» стоит совершенно романтическая, на первый взгляд, проблема «мысли, убивающей мыслителя»[23], но она волнует Бальзака в совсем ином плане, чем обычно романтиков, для него она не несет в себе ничего таинственного. Разрушительное действие «мысли» — в словоупотреблении Бальзака это также и чувства, вся духовная жизнь — есть для него следствие неразрывного единства физического и духовного в человеке и наглядное проявление такого единства. В трех этюдах действуют странные, необычайные герои. «Сколько «пережитых наслаждений на этом полотне!» — восклицает Порбус перед «Нуазезой» Френхофера. В «Массимилле Дони» выведены утонченные меломаны: один питает безграничное пристрастие к руладе, другой — к особому и редкому эффекту от слияния двух голосов. Их диалог свидетельствует о волнующих эстетических радостях, которые не могут быть ни с кем разделены. Этих «сладострастных фантастов», Капрайю и Катанео, Бальзак сравнивает с курильщиком опиума Вендрамином[24].

«Я всегда буду принадлежать к мятежной и неисправимой партии, которая непочтительно полагает, что картины, оперы и книги созданы для всех, и что художники очутились бы в большом затруднении, если бы им пришлось работать только для себя, были бы очень несчастливы, если бы оказались единственными ценителями своих произведений»[25]. В этом одна из общих идейных предпосылок «Неведомого шедевра», «Гамбары», «Массимиллы Дони»; Бальзаком отвергаются «сами себе довлеющие поэты»[26].

Связав психологический конфликт с обобщением современных ему тенденций в искусстве, Бальзак угадал и логику развития этих тенденций.

Френхофер, стремясь уйти от условностей, уничтожить всякую искусственность, добивается того, чтобы на его полотнах воздух «как бы облекал тело» и предметы были в атмосфере «как рыбы в воде». Он «семь лет изучал впечатление от соединения света с предметами»; он поглощен проблемами света и цвета, световоздушных эффектов — световых бликов на груди, легкой полутени под глазом. Он творит живопись, залитую

---

[23] Sp. de L d e v e n j o u l. Histoire des oeuvres d'Honoré de Balzac. Paris, 1886, p. 205. Имя героя возможно произведено от *френ, френос* — по-гречески ум, разум, дух. Слово «френология» от этого же корня, имя ее создателя Галля часто фигурируют в «Человеческой комедии». Как известно, Бальзак придавал большое значение именам своих персонажей и выбирал иногда «смысловые», например, фамилия ростовщика, которая «по воле случая, который Стерн назвал бы предопределением, была Гобсек» (*сухомятка*).

[24] «Массимилла Дони», стр. 132—135.

[25] B a l z a c. L'oeuvre, t. XVI: Correspondance, p. 235. В «Романтических обедних» саркастически рассказано о некоем меценате, предложившем хорошую цену за «Шагреневую кожу», с условием, что роман будет издан в двадцати экземплярах только для избранных. Ср. также Собр. соч., т. 13, стр. 215.

[26] «Массимилла Дони», стр. 136.

светом; «тень — только случайность», — учит он Пуссена. Френхофер разбивает жесткие очертания и на месте контура дает «дымку светлых и теплых полутонов»; в природе, «строго говоря, рисунка не существует». «Линия есть способ, посредством которого человек отдает себе отчет о воздействии света на предмет. Но в природе, где все выпукло, нет линий...» Когда создавался рассказ, уже обсуждались задачи пленера, уже работало первое поколение барбизонцев — Коро, Руссо, Дюпре, Тройон, Диаз. Как справедливо пишет В. Брюсов, новейшие теории «...уже носились в воздухе вокруг Бальзака. Но нужен был его гений, чтобы именно их выхватить из противоречивых толков, сталкивавшихся в мастерских художников и в залах «Салонов» [27].

Рядом с художником, отказавшимся от рисунка, стоит образ композитора, отказавшегося от мелодии («Гамбара»). В «Луи Ламбере» (1832) Бальзак обрисовал то отношение к поэтическому слову, которое стало позже характерным для символизма: особое внимание к звуковой стороне, к ассоциациям и образам, которые она порождает помимо логической функции слова [28]. Френхофер теоретизирует, обосновывая свои методы; Гамбара, еще в большей мере теоретик, произносит примечательные слова о «благородном сочетании искусства с наукой»: «Все, что расширяет науку, расширяет и искусство» [29]. Именно стремление дать искусству научную основу характерно для ряда направлений в живописи новейшего времени.

Поклонник развития и один из величайших новаторов в истории искусства, Бальзак менее всего был защитником канонов, менее всего мог отвергать искания, новаторство. Картины Френхофера наполняют Пуссена восторгом; Гамбара — «Орфей современной музыки, обреченный остаться безвестным». Оба беспредельно преданы искусству, живут муками и наслаждениями творчества. Но на их пути автор видит черту, за которой начинается разрушение искусства.

Френхофер, художник Возрождения, в своих шедеврах словно предвосхищает открытия импрессионистов, их завоевания в передаче природы. Он так стремился схватить реальность, что превратил ее в ничто. Совершенный образ растворился в «хаосе красок, тонов неопределенных оттенков» — близко к тому, как растаяла, распылилась природа у художников периода распада импрессионизма.

Тенденции бальзаковских героев ведут к такой «дематериализации» искусства, к такой его метаморфозе, при которой возникает полное пренебрежение к облику натуры, разрушается единство чувственного и духовного в искусстве. Катанео причисляет себя к «друзьям чистой музыки,

---

[27] В. Брюсов. Предисловие в кн.: «Бальзак. „Неведомый шедевр"». М., «Альциона», 1918, стр. 7.

[28] Собр. соч., т. 19, стр. 210—211.

[29] Собр. соч., т. 20, стр. 444 и 445.

людям, влюбленным в искусство без облачений»[30]. «Тебе, Капрайя, все же нужна тема, — говорит Катанео, — а мне достаточно самой стихии... мне дано объять бесконечность»[31]. Но «бесконечность» без «бренной земной оболочки»[32] (которая содержательна) означает разрушение искусства. Бальзак считал обреченными попытки изменить самые основы его, чувственную природу образности[33]. В «Массимилле Дони» есть строки о художниках, которые «...переступают ту область, где при помощи средства подражания рождаются пластические произведения, входят в чисто-духовную область абстракций... и перестают быть понятными для обыкновенных умов»[34].

Бальзак считает недопустимым, чтобы идея подавила, поглотила форму. «Когда причина сильнее ее результата — значит, результата нет»[35], нет произведения для мира людей. Интеллектуальность творчества становится голой умозрительностью и подавляет чувства и воображение художника. Он не примирил идею и форму, как «победоносные борцы», и его глубокомыслие в конечном счете становится неотличимым от формалистической игры.

Бальзаковедение насчитывает ряд работ, в которых Френхофера соотносят не только с неоимпрессионистами, но и с символизмом, кубизмом, сюрреализмом — как ни различны между собой названные течения[36]. Многое здесь привнесено пристрастиями авторов; общим для них является такое обращение с образом, будто он не принадлежит эпохе Бальзака; подлинное отношение Бальзака к пути Френхофера и родственных ему героев в лучшем случае замалчивается. Но сами аналогии не безосновательны. П. Лобрие объединяет духовных потомков Френхофера по признаку общего для них стремления пересоздать и превзойти природу, отправляясь от абстрактной идеи. Стремясь открыть новые миры, идя к своей цели умозрительным путем, они в жажде новой красоты нарушают границы, поставленные природой искусства.

Предвидения Бальзака — следствие его необычайного художественного чутья. Путь бальзаковского героя имеет прообраз в реальных событиях 30-х годов: он стал своего рода «прообразом» ряда явлений в искусстве будущих десятилетий.

---

[30] «Массимилла Дони», стр. 133.
[31] Там же, стр. 133—134.
[32] Там же, стр. 135.
[33] Ср. в «Гамбаре». — Собр. соч., т. 20, стр. 470, 480.
[34] «Массимилла Дони», стр. 136.
[35] Там же, стр. 154.
[36] См.: R. Rey. Balzac et les artistes. В кн.: «Balzac. Le livre du centenaire». Paris, Flammarion, 1952; M. Eigeldinger. Op. cit., ch. 3; D. Vouga. Op. cit., ch. 2, 6; P. Laubriet. Op. cit., 4-me partie; A. Evans. Balzac's myth of Pygmalion and modern painting. — «The romanic Review», oct. 1962, vol. LIII, N 3.

3

Автор поставил в один ряд «Неведомый шедевр» и «Поиски Абсолюта», так как Френхофер и Клаас — оба жертвы творческой страсти.

Тема научных и философских исканий волновала Бальзака с первых его шагов в литературе. Героиня его юношеского романа «Фальтюрн» (1818 или 1819) — волшебница, жрица науки, воспреемница тайн позднегреческих и восточных мистерий, с помощью которых человек должен стать царем природы. Галерея искателей знаний в творчестве зрелого художника весьма разнообразна: от антиквара из «Шагреневой кожи» до Фонтанареса, построившего первый паровой двигатель («Надежды Кинолы», 1842); от философа-теоретика Ламбера до хирурга Деплена («Обедня безбожника», 1836); от Ламбревиля, проектировавшего канал, который соединил бы Сену с Луарой («Административные приключения счастливой мысли», 1834) до астролога Руджиери (1836); от химика Клааса до Серафиты (1835).

В 1832—1833 гг. Бальзак собирал материалы для романа о Бернаре Палисси (1510—1590), создателе французской керамики и эмали, исследователе в области минералогии и химии, под конец жизни заключенном в Бастилию. Роман должен был называться «Страдания изобретателя» (заглавие, позже использованное для третьей части «Утраченных иллюзий»). В ноябре 1833 г. Бальзак обещает своему издателю «Страдания изобретателя» для 4-го тома «Философских романов и рассказов»[37]. В 1834 г. замысел преобразовался, исторический сюжет был оставлен ради современного и полностью связанного с постоянным направлением философских раздумий автора о материальном единстве мира. Он пишет Ганской 20 июня 1834 г.: «...убери тетрадь [с материалами о Палисси. — *Р. Р.*] в папку заготовок, а я начинаю сначала, принимаюсь за прекрасный, великолепный сюжет...» В конце июля, работая над «Поисками Абсолюта», пишет ей же: «Это необъятная тема, лучшая книга, какую я способен создать...»[38].

В октябре, после выхода романа в свет, автор сообщал той же корреспондентке: «Два академика учили меня химии для того, чтобы книга не погрешила против науки. Они заставляли меня править корректуры от десяти до двенадцати раз. Пришлось читать Берцелиуса, чтобы не отстать от науки, и совершенствовать стиль, чтобы не наскучить химией холодным французским читателям...»[39] Все в этом сообщении необычно

---

[37] Balzac. L'oeuvre, t. XVI, p. 143.
[38] «Lettres à l'Étrangère», t. I, p. 180.
[39] Ibid., p. 193.

для середины 30-х годов: тема современной науки в художественном произведении, стремление автора к точности в ее разработке, специальные занятия с этой целью.

Исследователи романа большей частью не принимали всерьез идей Клааса. Начиная с Сент-Бева, в Валтасаре видели поклонника алхимии, сжигающего в тиглях миллионное состояние в поисках философского камня[40]. Но по мере того, как углубляется изучение взглядов писателя, создаются предпосылки для другой точки зрения. Доказана отличная осведомленность Бальзака в разных отраслях науки[41]. Он следил за научными дискуссиями, новыми теориями и открытиями. Уже в «Шагреневой коже» автор развивает свой взгляд на некоторые проблемы физики и теоретической механики, он создает настоящий гимн палеонтологу Кювье, иронически резюмирует главные направления в современной медицине. Обращаясь к теме науки, Бальзак обычно пользовался достоверными источниками и опирался на крупные авторитеты. Его герои-ученые работают в атмосфере научных интересов, исканий, споров своего времени, воссозданной автором с той же точностью, какую он считал необходимой в художественном изображении различных общественных типов и классов. Взгляды многих героев Бальзака складываются под влиянием крупных ученых (так, Рафаэль Валантен стремится продолжить работы Биша о мозге, хирург Деплен — последователь Кабаниса, Бьяншон слушает лекции Кювье, Давид Сешар штудирует Дэви и Берцелиуса, Клаас работает под руководством Лавуазье, врач Миноре испытал влияние химика Руэля, и т. д.). Для Бальзака наука — не просто одна из новых тем, подсказываемая изменявшейся на глазах жизнью; она — почва, питающая его философские убеждения, он стремится опереться на науку в самом художественном познании действительности. В программном «Предисловии к Человеческой комедии» почетное место занимают имена Бюффона и Шарля Бонне, Кювье и Жоффруа Сент-Илера.

Бальзак воспринял у просветителей, которых назвал «отцами XIX века», учение о материальной природе мира и человека, веру в то, что мир познаваем путем наблюдения и эксперимента. Но неудовлетворенный картиной неподвижной действительности, разобщенных явлений в науке XVIII в., он обращается к мистическим философам, Сен-Мартену и Сведенборгу, привлеченный образом мира, в котором все связано в единое великое целое. Бальзак весьма свободно переосмысляет мистические системы, берет в них лишь то, что отвечает его собственным устремлениям видеть все в движении и развитии, и этими элементами своеобразно «до-

---

[40] G. Thouvanin. La génèse d'un roman de Balzac. RhlF, 1911, p. 876; F. Marceau. Balzac et son monde. Paris, Gallimard, 1955, p. 339.

[41] Подробнее об этом см.: Р. А. Резник. Наука и ученый в романе Бальзака «Поиски Абсолюта». — «Известия АН СССР», ОЛЯ, 1963, т. XXII, вып. 1.

полняет» наследие энциклопедистов. Его мысль не отливается в застывшую систему, она открыта для нового и постоянно обогащается выводами и теориями современного естествознания, уже стоявшего на пороге великих открытий XIX в.[42] Это объясняет слова Жоффруа Сент-Илера в письме к Бальзаку (в конце 1835 г.): «Вы так успешно и счастливо постигли самую суть философии естествознания, что бедным искателям из Академии наук следует стыдиться»[43].

В отношении Бальзака к химии сказалось его чувство нового и современного. В «Шагреневой коже» химия названа «демоном, разлагающим все» — именно это свойство выявлять изменения вещества и связи между ними влекло к ней Бальзака. Он писал: «Наша химия уже смела́ столько номенклатур...»[44]. Он ввел химию в роман.

В «Поисках Абсолюта» Клаас ищет путей для превращения угля в алмаз — задача, решенная в наши дни. При этом для героя создание искусственных алмазов — лишь одно из применений его главной идеи, «субстанции, общей всем творениям» («Абсолюта»), открытие которой позволит осуществить превращение элементов, «творить как сама природа». В фантастической форме проблема универсальной связи между элементами была поставлена еще старой алхимией; отсюда и интерес к ней Бальзака. Но в образе Клааса увлечение автора старыми мистическими учениями выразилось в единственном предрассудке химика — его вере в особое значение некоторых чисел. В остальном Клаас, изучавший химию под руководством Лавуазье, работает как ученый нового времени, исходя из научных данных о свойствах веществ и химических реакциях. Когда жена пытается противопоставить его дерзким замыслам идею бога, Клаас, атеист, разделявший философские убеждения XVIII в., восклицает: «Э, бог!».

В XX в. были открыты превращения вещества. Идея Клааса свидетельствует о том, что в отношении тайн природы Бальзак обладал интуицией, вытекающей из общего диалектического характера его мысли.

В «Поисках Абсолюта» впервые в европейской литературе главным героем является ученый в собственном смысле слова.

Литература Возрождения знала героев, символизировавших безмерные возможности человека: великанов Рабле, Фауста, Марло. Наука была только одним из видов их многообразной деятельности. Гуманистическая сатира на лженауку выступает в гротескных образах схоластов — воспи-

---

[42] S. de Sacy. Balzac et le Livre mystique. — «Revue des cours et conférences», 1929, 30 mars; J. van der Elst. Autour du Livre mystique. — «Revue de la littérature comparée», 1930, p. 92—118; Р. Резник. Философские взгляды Бальзака. — «Вопросы литературы», 1961, № 7, 120—137.

[43] Впервые опубликовано в 1962 г. См. H. de Balzac. Correspondance, t. II. Paris, Garnier, 1962, p. 775.

[44] Lettre à M. Charles Nodier. — Balzac. Oeuvres diverses, t. II. Paris, Conard, p. 565.

тателя Гаргантюа Тубала Олоферна, героев «Писем темных людей» (подстать им свифтовские лапутяне и члены академии Лагадо). В литературе XVII и XVIII вв. ученый — либо маг и волшебник, либо комический маньяк и шарлатан. Образ ученого-шарлатана — широкое сатирическое обобщение XVI в., — перенесенный в бытовой роман, стал своего рода маской, литературным штампом. Смешной педант, пройдоха встречаются в романах Шарля Сореля; врачи из комедий Мольера принадлежат к той же линии. Типичные примеры подобной трактовки ученого дает английский социально-бытовой роман XVIII в.: в «Приключениях Перегрина Пикля» Смоллета фигурирует безымянный «доктор», бахвал и наглец, набитый классическими цитатами; в романе Филдинга «История Тома Джонса-найденыша» пустословы и мошенники именуют себя философами.

С другой стороны, в готическом романе наука выступает как орудие таинственных преступлений. Таков знаменитый «Мельмот-скиталец» Мэтьюрина, одна из любимых книг Бальзака. У Гофмана в ряде произведений ученые конструируют зловещие автоматы, насылают безумие. Писатели «неистового» жанра подхватили эту традицию. В новелле Шарля Рабу «Тобиас Гварнериус» (1832) скрипичный мастер с помощью особого аппарата переводит душу своей умирающей матери в корпус скрипки. В «Шампавере» Петрюса Бореля (1833) старый ученый анатомирует любовников своей молодой жены.

Бальзак отдал дань обеим традициям изображения ученого — сатирической и «колдовской». Отблеск первой лежит на фигурах ученых в «Шагреневой коже», смешных своей профессиональной ограниченностью, односторонностью суждений (разумеется, это образы несравненно более сложные, чем в плутовском или социально-бытовом романе прошлого века). Пример трактовки второго рода — юношеский роман «Вековечный» с его демоническим и всемогущим героем. Демоническое начало и после 20-х годов влекло к себе автора «Прощенного Мельмота» и «Тайн Руджиери», но оно получило иную основу.

В «Поисках Абсолюта» офицер Адам Вежховня, подсказавший Клаасу идею Абсолюта, вспоминается Жозефине в дьявольском обличье — с «глазами, пылавшими, как языки пламени,..бровями, черными, как адские угли...», угловатым худым лицом и непобедимым красноречием искусителя. Но при внешности и темпераменте, которые подошли бы герою «черного романа», у Вежховни вполне реальная биография — он польский изгнанник, неудачливый ученый-бедняк. Самого Валтасара Клааса жажда и пафос знания, отрицание бога роднят по духу с образами ученых в литературе Возрождения. Но вместе с тем Клаас — создание писателя-реалиста нового времени, который сам стремился уподобиться ученому не только по глубине, но и по тщательности и точности исследования современного общества. При смелом полете научно-философской мысли в романе нет

фантастики. Клаас ведет двойную борьбу — с природой, не выдающей свою тайну, и с предписаниями общества. «Поиски Абсолюта» — это также история подорванного, погибшего и восстановленного состояния, история буржуазной семьи, это и сложная любовная драма. В образе героя романтические масштабы, грандиозность страсти сочетаются с психологической и бытовой детализацией. История ученого передана с присущим Бальзаку искусством, в котором титанизм чувств и громадный эмоциональный накал неотделимы от трезвого анализа реальных отношений.

Как многие значительные герои «Человеческой комедии» (Гобсек, Горио, Френхофер), Клаас — одержимый: он одержим страстью к исследованию. Это неповторимое качество бальзаковских персонажей, «заряженных волей по самую глотку», как сказал о них Бодлер[45]. Подобно гуманистам Возрождения, просветителям и социалистам-утопистам, Бальзак видит в страстях могучую силу, выражение великих возможностей человека, высшее проявление энергии. Сочувственно излагая теорию страстей Фурье, Бальзак соглашается с тем, что страсти божественны по своей сущности и только социальная среда делает их дурными[46]. При этом его неизменно волнует проблема действия страстей на жизненные силы человека: мысль (она же чувство, страсть) «убивает и возрождает»[47] — в условиях, создаваемых обществом, несравненно чаще убивает, чем возрождает. Подтверждение этого Бальзак всегда видел в собственной жизни, снедаемой творческой страстью. Художественное освещение страстей у него сложно и двойственно: поэтизирование сочетается с предостережением, подавление страстей он считает общественной необходимостью. «Жизнь — пламя, которое следует накрывать золой»[48]. Его постоянно занимают мании как наиболее разрушительная форма страстей. Но отказаться от поэзии страсти он не может, тем более там, где речь идет о страсти высокого общественного значения, ибо «история человеческого сердца» у него неотделима от «истории общества»[49].

Исследовательская жажда Клааса вначале изображается в плане излюбленной бальзаковской темы сжигающей страсти вообще. Она величественна, опасна и разрушительна. В романе противоборствуют ее поэтизирование и осуждение. Образ Клааса отличается характерной для Бальзака многогранностью: человек, выделяющийся в своей среде благородством натуры, вдумчивостью и духовными интересами, Клаас обрисован как гражданин Фландрии, как влюбленный и супруг, как ценитель искусства, хозяин дома, интересный собеседник. Но все отступает перед

---

[45] Ch. Baudelaire. L'Art romantique. Paris, Calmann-Lévy, s. d., p. 176.
[46] «Письма о литературе, театре и искусстве». — Собр. соч., т. 24, стр. 138.
[47] Les martyrs ignorés. — H. de Balzac. Oeuvres diverses, t. III. Paris, Conard, p. 137.
[48] Ibidem.
[49] Письмо Ганской от 26 октября 1834 г. — Собр. соч., т. 23, стр. 279.

главной страстью. Всепоглощающий фанатизм Клааса изображен как растущее безумие. Перемены в его образе жизни, связанные с работой, автор называет «зловещими», его отрешенность от окружающего — «душевным недугом». Умирающей жене он говорит о разложении азота. Но Бальзак глубоко увлечен своим героем, который работает «ради человечества, а не из личного корыстного расчета», и уверен, что «вся природа будет принадлежать нам». В Валтасаре есть фаустовское начало — неприятие частичных или приблизительных решений, неустанное движение к дальней цели, за которой встают еще более дальние и трудные. Подобно ряду других высокоодаренных героев «Человеческой комедии» (художнику Френхоферу, судье Попино, политику Э. Маркасу), Клаас наделен некрасивой, но необычайно выразительной и впечатляющей внешностью. Его приближающиеся шаги звучат в зале, где ждет жена, как «величественная поступь мыслителя, влекущего с собой целые миры».

Сама композиция романа такова, что не легко решить, задуман ли он как история героической борьбы ученого за свое право работать или как история семьи, разрушаемой отцом-маньяком. Роман начинается с описания фламандского буржуазного благополучия и поэтической патриархальности: родословная Клаасов, богатства, собранные предками, дом с дорогим убранством, картинная галерея, клумбы редких тюльпанов. Появляется душа дома — Жозефина Клаас, не похожая ни на светских львиц, ни на буржуазных дам «Человеческой комедии», сумевшая силой своего душевного обаяния заставить Клааса забыть о ее физических недостатках. Читатель знакомится с историей их любви и необычного, прочного счастья. Все это ценности, которые будут разрушены Клаасом. Постепенно распадается семья, умирает Жозефина: «Идея Абсолюта прошла повсюду подобно пожару».

Валтасар велик в своей правоте, но и противницы его тоже правы; каждая из сторон полностью «высказывает» все, что можно сказать. Эта обоснованность конфликта, придающая ему характер неотвратимости, дает повод к таким толкованиям романа, как у Эванса: «С замечательной беспристрастностью Бальзак отказывается делать выбор...» [50] А. Беген восхищается тем же: «Ни в каком другом произведении Бальзак не дал столь блестящего доказательства своей беспристрастности». «Гений и любовь терзают, губят друг друга в неискупимой и равной борьбе, как воины духовной Илиады» [51].

Но в действительности выбор сделан, и в романе нет фатализма. При всем глубоком сочувствии автора к Жозефине и Маргарите — над всеми действующими лицами возвышается Клаас. Виной всему не только пагуб-

---

[50] H. Evans. Op. cit., p. 245.
[51] Balzac. L'oeuvre, t. XII. Paris, «Formes et reflets», p. 542, 546.

ная природа страсти, виновно общество — оно и его нормы представлены нотариусом Пьеркеном, «переводившим все в жизни на цифры». История ученого до Бальзака еще не изображалась в таком плане. Растущие долги, колоссальные счета фирмы, поставляющей оборудование и реактивы для опытов; толки в городе, где считают безумным того, кто тратит на исследования все свои доходы; настойчивые предупреждения нотариуса; страх перед векселями, продажа фамильных ценностей, наконец, опустевшая кухня в доме, атмосфера презрения, показная жалость и тайное злорадство вокруг обедневшей семьи. И автор возмущается обществом, которое «всякий час совершает преступления ... насмешкой унижает все прекрасное ... забавляется, взвешивая еще не охладевшие трупы». «Пусть не звучит хвала нынешнему веку, представляющему, по примеру всех веков, таланту умирать от равнодушия...» Во внутреннем сопротивлении обществу и обстоятельствам вырисовывается все величие Клааса, и его история становится эпопеей. Насильно оторванный от своих занятий, Клаас «являл собой зрелище поистине трагическое». Даже нотариус Пьеркен «с невольным уважением смотрел на этого льва в клетке...» Для Клааса у автора появляется стиль огромной экспрессивности, грандиозные уподобления, которые у Бальзака всегда свидетельствуют о крайнем увлечении: «Он, как титан, поднял на своих руках мир, и вновь мир, еще тяжелее, упал ему на грудь». Поединок ученого с обществом становится особенно драматическим на его последней стадии. «К стыду рода человеческого, в Дуэ не встретилось и двух великодушных сердец, чтобы воздать честь настойчивости гениального ученого ... весь город был в общем враждебно расположен к великому старцу...». Трагическим величием овеяна кончина Клааса, сделавшего свое открытие поздно, как Фауст. Скованный параличом, он не может о нем рассказать; но Абсолют найден, открыт одновременно двумя исследователями...

В романе сквозь черты маньяка вырисовывается новый социальный тип ученого, с его благородной одержимостью идеей. Над всеми справедливыми упреками Жозефины и даже над ее гибелью, над благоразумной и законной самозащитой Маргариты, над семейными и классовыми традициями и над авторской боязнью сжигающей страсти — над всеми противоборствующими тенденциями романа возвышается апофеоз Клааса в его социальной и личной трагедии.

Верный общей теме цикла, Бальзак рисует в «Неведомом шедевре» великую энергию и трагедию художника, в «Поисках Абсолюта» — энергию изобретателя в схватке с буржуазным обществом и трагическую победу героя.

4

«Философские этюды» разнообразны по стилю. Бальзак не раз писал об особом художественном качестве этого цикла — об иносказаниях, образах-символах и «формулах», о перевесе абстракции над индивидуальными чертами [52] и все же включил сюда несколько произведений без специальных примет «философского жанра». Таковы и «Неведомый шедевр», и «Поиски Абсолюта», где при поразительной насыщенности мыслью художественные образы живут собственной, а не извне продиктованной, условной жизнью. Как верно заметил В. Брюсов, в отличие от философских романов Флобера, романов Золя, в которых видна громадная подготовительная работа и эрудиция авторов, в «Неведомом шедевре» эрудиция автора нигде не чувствуется — сведениями, знаниями обладает не он, а только его герои [53].

Основной конфликт рассказа получил всю свою убедительность оттого, что он вошел в плоть и кровь героя, стал его страстью и жизнью. К общим идеям приводят глубоко личные устремления и переживания героя. Только это сообщает идеям такую волнующую силу.

Главное призвание и страсть героя получают богатое, разнообразное выражение в живых противоречиях его поведения. Френхофер — художник по природе, творческая натура; творчество — борьба, и весь его образ проникнут напряжением борьбы; для него все зависит от победы или поражения. Его характерные слова — «битва», «схватка», «борцы», «триумф», «выследить природу», «принудить ее сдаться». Это «сверхъестественное существо», этот «демон» разговаривает со всей бесцеремонностью художника в пылу работы и спора, резко, иногда на характерном жаргоне: «Твоя женщина неплохо скроена...» Забирая кистью краску, он ворчит сквозь зубы: «Эти тона стоит бросить за окно вместе с их составителем...» Свою раннюю работу, которую Пуссен принимает за Джорджоне, он называет «пачкотней». Показывая Пуссену, как нужно писать, приговаривает: «Паф! Паф! Паф! Вот как это мажется, юноша!» И позже: «Это полотно лучше, чем полотна наглеца Рубенса с горами фламандского мяса, присыпанного румянами...»

А в нужных обстоятельствах он находит иные, окрыленные слова: «Ты не достиг ни сурового очарования сухости, ни обманчивого волшебства светотени. Как расплавленная медь прорывает хрупкую форму, так в этом месте богатые и золотистые тона Тициана прорвались сквозь строгий контур Альбрехта Дюрера, в который ты ее втиснул. В других местах рисунок

---

[52] См. письмо Монталамберу от 23 августа 1831 г.; предисловие к первому изданию «Мистической книги»; «Письмо Ипполиту Кастилю»; цитировавшееся выше письмо Ганской о «Массимилле Дони»; предисловие Ф. Давена к «Философским этюдам».

[53] В. Брюсов, Указ. соч., стр. 6.

устоял и выдержал великолепный избыток венецианской палитры». Он находит гениально-меткие формулы задач искусства.

Непосредственность жизни — не только в речах героя, но и в ряде деталей, которые не могли бы появиться там, где образы в большей или меньшей степени аллегоричны. Слушая, как Френхофер разбирает «Марию Египетскую», Пуссен «с трудом сдерживает желание его избить». Порбус неожиданно подает неизвестному юноше красный карандаш и бумагу, чтобы тот показал, на что способен. Старый художник, упомянув в разговоре Рафаэля, снимает с головы черную бархатную шапочку, «чтобы выразить свое преклонение перед королем искусства».

Френхофер — личность исключительная; и его мастерство, ум, страстность, фанатическая преданность искусству и высокое красноречие углубляют обобщение, которое заключено в образе. Демоническое, «сверхъестественное» в нем только усиливают впечатление от его вполне земной судьбы. Чем выше он как личность, тем тяжелей должен пережить свое поражение. Конфликт дан в предельно острой форме. Френхофер ведет борьбу, в которой ставкой служит жизнь; для него, как для шекспировских героев, жизнь — ничто перед идеей или чувством. И когда он обнаруживает свое поражение, ему уже нельзя помочь. Высоким драматизмом насыщено внутреннее, психологическое действие на последней странице новеллы, когда Френхофер, прозрев, плачет, потом осыпает художников руганью, заподозрив в них завистников и воров, потом уходит в себя, угрюмо, судорожно выпроваживает гостей, а ночью сжигает все свои картины и умирает. Этот совершенно особенный случай, эти обстоятельства, у которых мало общего с обыденностью, выявляют законы действительной жизни. Таков обычный метод Бальзака.

Высказанные здесь взгляды автора на искусство приобретают несравненную рельефность оттого, что они сведены так тесно с показом гибельного пути — в лице одного художника, в судьбе одной картины. Эта форма, характерная для новеллы, способствует той концентрации и остроте мысли, к которой Бальзак стремился. «Величие» и «падение» Френхофера стоят рядом; остаток живого изображения сохранился на его испорченном полотне.

Примечательно в этом рассказе о художниках и живописи, что описания немногих сцен, которые его составляют, обстановки, внешности главного героя выполнены как картины, большей частью построенные на светотени, подобно Рембрандту. Бальзак всегда охотно прибегает к сравнениям и ассоциациям с картинами; но в «Неведомом шедевре» этот прием приобретает особое значение в связи с содержанием рассказа. Автор стремится к тому, чтобы впечатление читателя максимально приближалось к впечатлению от картины на полотне. Таков портрет Френхофера: глубоко запавшие зеленые глаза, остроконечная борода, усталость «не столько от старости, сколько от тех мыслей, которые изнашивают

и душу, и тело. Ресницы уже выпали, а на надбровных дугах едва приметны были редкие волоски. Приставьте эту голову к хилому и слабому телу, окаймите ее кружевами, сверкающими белизной и поразительными по ювелирной тонкости работы, накиньте на черный камзол старика тяжелую золотую цепь, и вы получите совершенное изображение этого человека, которому слабое освещение лестницы придавало фантастический оттенок. Вы сказали бы, что это портрет кисти Рембрандта, покинувший свою раму и молча движущийся в полутьме, присущей этому великому художнику».

Такой же характер носит описание мастерской Порбуса. «Свет был сосредоточен на мольберте с прикрепленным к нему полотном, где было положено только три-четыре белых мазка, и не достигал углов этой обширной комнаты, в которых царил мрак; но прихотливые отсветы то зажигали в бурой полутьме серебристые блестки на выпуклостях рейтарской кирасы, высевшей на стене, то вырисовывали резкой полосой полированный резной карниз старинного шкафа, уставленного редкостной посудой, то усеивали блестящими точками шероховатую поверхность каких-то старых занавесей из золотой парчи, подобранных крупными складками, служивших, вероятно, натурой для какой-нибудь картины. Описание Жиллеты в момент, когда ее впервые видит Френхофер, описание обоих художников, ожидавших у дверей мастерской Френхофера появления Жиллеты, — построены на сравнениях, которые ассоциируются с картинами. Обрисованы позы, расстановка фигур, распределение света. Такое приближение слова к живописи в новелле о проблемах живописи немало способствует единству и цельности художественного впечатления.

В «Поисках Абсолюта» история открытия вплетена в богатую социальную, нравоописательную, психологическую ткань романа. В расстановке образов, в развитии действия нет следа рационалистической преднамеренности. Образ Клааса, в противовес традиционной маске «рассеянного ученого», Бальзак строит на новых и тонких наблюдениях: «Хотя люди науки и погружены в бездны мысли и постоянно заняты жизнью умственной, тем не менее они замечают мельчайшие частности окружающей жизни... Порою, пробуждаясь..., они обнаруживают богатую память, и оказывается, что они ничему не чужды». Любовно-семейная линия глубоко своеобразна; счастье Валтасара и Жозефины вырастает из противоречий. Физические недостатки духовно прекрасной и страстной женщины и связанная с ними тайная робость внушили Клаасу особую деликатную дипломатию, «любовь почти рыцарскую», которые обостряют чувства и преданность Жозефины; счастье постоянно создается и возрождается. «Диалектика» этих отношений, характер и внутренняя жизнь Жозефины принадлежат к лучшим страницам Бальзака, они могли бы наполнить особый роман; бальзаковское изобилие проявляется в том, что они стали только частью ро-

мана[54]. Когда же затухает любовь родителей, убитая идеей «Абсолюта», начинается подъем новой любовной линии — полного, чистого чувства Маргариты и де Солиса. Единственное лицо с комическим элементом — Пьеркен и его «доброта нотариуса, уверенного, что попечение о талерах и есть любовь». Действие, после обширной и многоступенчатой подготовки, развиваясь через ряд драматических перипетий, набирает темп, становится катастрофичным. В последней части семейное празднество по случаю трех бракосочетаний в доме, восстановленном Маргаритой в прежнем блеске, похоже на традиционную развязку, но это лишь видимость, сцена несет в себе только зерно развязки (алмаз, обнаруженный в лаборатории); «надстраивается» подлинный финал — последние опыты «блудного отца», открытие и смерть.

Рассказ и роман об убивающей мысли-страсти не только новы в своем содержании и многозначны; созданный в них художественный мир отличается тем «бьющим через край избытком» жизни, о необходимости которого в искусстве автор сказал устами героя «Неведомого шедевра».

Одна из главных тем в предисловиях, которые писал Бальзак к своим произведениям и сериям произведений, один из лейтмотивов его переписки — единство «Человеческой комедии». Он хочет охватить все социальные типы и человеческие отношения, все общественные процессы, все стороны жизни и всю ее сложность («нет ничего цельного в нашем мире, все в нем мозаично»)[55] — но для того, чтобы создать единое художественно-философское целое, «прийти к синтезу путем анализа»[56]. Его мучают сомнения, успеет ли он осуществить свой замысел в такой степени, чтобы сделать единство столь многочисленных и разнообразных произведений очевидным[57]. Он называет свои романы «фрагментами», сравнивает их с разрозненными камнями, назначение которых выявится вполне только когда будет достроено все здание[58]. Он рад и благодарен в тех редких случаях, когда встречает у критиков внимание к своему общему замыслу[59].

Разъясняя связи между отдельными романами, он, историк французского общества, в творчестве которого бесконечное множество аспектов, постоянно возвращался к «Философским этюдам» и к тому, что назвал в «Предисловии к Человеческой комедии» «разрушительными бурями мысли»[60].

[54] Убедительным кажется предположение И. Мерлана о том, что роман «Поиски Абсолюта» «вобрал» в себя замысел произведения «Les amours d'une laide» — «Любовь дурнушки» (это заглавие фигурирует в письме к матери от 1 сентября 1832 г. и, по-видимому, относится к задуманной тогда серии «Этюдов о женщинах»).

[55] Предисловие к «Массимилле Дони». — Собр. соч., т. 24, стр. 307.

[56] Там же, стр. 310.

[57] Там же, стр. 303.

[58] H. de B a l z a c. Correspondance, t. 2. Paris, Garnier, 1962, p. 501, 730.

[59] Ibid., p. 597, 700.

[60] Собр. соч., т. 1, стр. 36.

Тема эта не ограничена рамками «Философских этюдов». Страсть к справедливости полковника Шабера, из-за которой он заболевает отвращением к окружающему, отказывается от своего состояния, имени и личности и уходит в богадельню, хоронит себя в безвестности и молчании; страстная преданность правосудию Жюля Попино, судьи по призванию, друга бедняков, ученого правоведа, по этим причинам навсегда пониженного в должности, отстраненного от решения дела, в котором применил всю свою проницательность («Дело об опеке»); страстная идея социальной справедливости у Мишеля Кретьена, защитника вечного мира и европейской федерации народов, погибшего на баррикадах, — все это в «Человеческой комедии» разные формы духовной энергии, высшего напряжения человеческих сил. Бальзак рисует страстную мысль как пламя, пожирающее самый очаг, в котором оно пылает, — но именно в ее изображении видит поэтическую связь между своими «этюдами».

Автор «Фауста» предостерегал от попыток нанизывать богатое содержание его поэмы на «тощий шнур» какой-нибудь одной идеи; это тем более должно относиться к «Человеческой комедии». Но при всей сложности бальзаковской мысли, стремящейся охватить предмет со всех сторон, одна из главных поэтических идей Бальзака раскрывается как утверждение человеческого призвания в обществе и мире, вопреки трагизму судьбы.

Р. Р.

Примечания

„Неведомый шедевр"

«Неведомый шедевр» с подзаголовком «Фантастический рассказ» напечатан впервые в журнале романтиков «Артист» («L'Artiste») от 31 июля и 4 августа 1831 г. Рассказ состоял из двух глав: «Мэтр Френхофер» и «Катрин Леско». В том же году он вошел с некоторыми добавлениями и без подзаголовка в издание: H. de Balzac. Romans et contes philosophiques, t. 3. Paris, Gosselin. В 1833 г. эти повести были перепечатаны тем же издателем без изменений. В 1837 г. «Неведомый шедевр», впервые датированный февралем 1832 г., был включен в издание «Философских этюдов»: H. de Balzac. Études philosophiques. Paris, Delloye et Lecou, t. XVII; текст рассказа увеличился более чем на одну треть. В 1845 г. он вошел в первое издание «Человеческой комедии»: H. de Balzac. Le comédie humaine, t. XIV. Paris, Furne, Dubochet et Hetzel. Первая глава здесь называлась «Жиллетта» и появилось посвящение «Одному лорду» (A un lord), неразгаданное до настоящего времени. Последний раз при жизни автора «Неведомый шедевр» (под названием «Жиллетта») вышел в составе двухтомного сборника рассказов Бальзака: H. de Balzac. Le provincial à Paris. Paris, Gabriel Roux, 1848, t. I.

Рукописи рассказа и авторские корректуры не сохранились.

Наиболее примечательные издания XX в.: H. de Balzac. Le chef-d'oeuvre inconnu, ill. par P. Picasso. Paris, Ambroise Vollard, 1931; H. de Balzac. Le chef-d'oeuvre inconnu. [Б. м.], Skira. 1945; H. de Balzac. Oeuvres complètes. Éd. nouvelle, établie par la Société des Études balzaciennes. Accompagnées de fragments inédits, de notices historiques et critiques et d'une documentation iconographique contemporaine, avec des caracteres et ornements de l'imprimerie de Balzac, t. 18. Paris, Le Prat, 1960.

На русском языке наиболее интересное издание: Оноре Бальзак. Неведомый шедевр Перевод И. М. Брюсовой. Вступительная статья Валерия Брюсова. Москва, «Альциона». 1918.

В зарубежном бальзаковедении долгое время оспаривалась принадлежность Бальзаку вставок, обогативших редакцию 1837 г. По одной версии, автором их был якобы Т. Готье, по другой — Э. Делакруа. Первая версия была выдвинута Лованжулем (Sp. de Loevenjoul. H. de Balzac et Th. Gautier, в книге того же автора «Autour de H. de Balzac». Paris, Calmann-Lévy, 1897). Лованжуль опирается на недатированную и неясную записку Бальзака, где «Неведомый шедевр» не упомянут. Приводим ее:

«Теофилю Готье.

После нашей встречи я заболел, но сейчас у меня дома вся вещь, уже набранная, не хотите ли пообедать со мной сегодня, чтобы просмотреть все, есть два или три места неясных, которые мы исправили бы в несколько минут.

Приходите, нужно спешно выправить и отдать в печать.

Алькофрибас.»

(B a l z a c. L'oeuvre, t. 16: Correspondance. Paris, «Formes et reflets», 1955, p. 218). Не исключено, что записка действительно относится к «Неведомому шедевру», как не исключено и то, что Бальзаку случалось беседовать с Готье о живописи. Но Лованжуль не принимает во внимание расхождений во взглядах Бальзака и Готье; последний — провозвестник «искусства для искусства» — трактуется Лованжулем как соавтор рассказа, имеющего совершенно иное направление.

Версия об авторстве Делакруа принадлежит Ф. Фоска (F. F o s c a. Les Artistes dans les romans de Balzac. — «Revue critique des idées et des livres», XXXIV, mars 1922) и поддержана Мэри Скотт, Адемаром, А. Эвансом-младшим. В качестве доказательств выдвигаются факт знакомства Бальзака с Делакруа и ряд параллелей, которые можно провести между суждениями героев новеллы и мыслями Делакруа о рисунке, цвете и условностях в живописи (ср. Д е л а к р у а. Дневник, в 2-х томах. М., изд. Академии художеств, 1961, т. 1, стр. 307; т. 2, стр. 220, 229, 244, 366). Но, не говоря уже о том, что мысли эти высказаны Делакруа в 50—60-е годы, подобные параллели к Бальзаку нетрудно найти, например, в высказываниях О. Ренуара (см., например, о рисунке: Сб. «Мастера искусства об искусстве». М., ИзоГИЗ, 1934, стр. 201, 203). Хотя мы не располагаем сведениями о каких-либо беседах Бальзака и Делакруа на темы живописи, знакомство с крупнейшим художником эпохи (или, возможно, рассказы о нем Готье, дружившего и с Делакруа, и с Бальзаком) могло способствовать углублению специальных познаний автора «Неведомого шедевра». Однако для решения этого, на наш взгляд, искусственно созданного вопроса об авторе вставок 1837 г. важнейшими остаются следующие обстоятельства: во-первых, — редакция 1837 г. является высшим художественно-философским обобщением творческих принципов самого Бальзака; во-вторых, — рассказ по своей проблематике органически связан со всем циклом «Философских этюдов», к замыслу которого не имеют никакого отношения ни Готье, ни Делакруа; и, в-третьих, — уже вставки 1831 г., сделанные автором для издания Госслена, до знакомства с Готье, отчасти указывали направление переработки 1837 г. Характерно, что сторонница авторства Делакруа Мэри Скотт исходит из тезиса, будто «Неведомый шедевр» представляет в творчестве Бальзака некое инородное тело, будто рассказ ни в чем не соприкасается с другими его произведениями.

Советские исследователи, начиная с А. Морозовой, полемизировали с версиями об авторстве Готье или Делакруа. В настоящее время эти версии, прямо связанные с пренебрежительным отношением к Бальзаку, встречавшимся в зарубежном бальзаковедении, в основном преодолены и во Франции. П. Лобрие, используя накопившиеся материалы и доводы, методически разбил в своей монографии все аргументы защитников названных версий, подводя к выводу: «Чьей бы помощью ни воспользовался Бальзак, он все переплавил и сообщил своему произведению единство собственной мысли». (P. L a u b r i e t. Un catéchisme esthétique: «Le chef-d'oeuvre inconnu» de Balzac. Paris, Didier, 1961, p. 124).

Последний сторонник версии Лованжуля об авторстве Т. Готье — Роже Пьеро, не выдвигавший новых доводов в ее пользу, отказался от нее в своем издании «Переписки» Бальзака, назвав записку к Готье, на которую ссылался Лованжуль, «довольно загадочной», а самую версию — «соблазнительной, но непрочной гипотезой», (H. de B a l z a c. Correspondance, t. III. Ed. de R. Pierrot. Paris, Garnier, 1964, p. 204).

К «Неведомому шедевру» в цикле «Философских этюдов» примыкают повести «Гамбара» (1837) и «Массимилла Дони» (1837—1839), в которых также поставлены проблемы психологии творчества. К этому ряду принадлежала и утерянная повесть «Фрелора» (фрагмент ее опубликован М. Бардешем в сборнике «Balzac. La femme-auteur et autres fragments inédits». Paris, Grasset, 1950). Сам автор, разъясняя свой замысел в предисловии к «Массимилле Дони», объединял все названные этюды (Собр. соч., т. 24, стр. 313). Об этом же он писал Ганской 24 мая 1837 г.: ««Массимилла Дони» и «Гамбара» в «Философских этюдах» — явление музыки, в двояком облике исполнителя и композитора, — подвергаемой тому же испытанию, какому подвергнута мысль в «Луи

Ламбере»: произведение, осуществление убиты преизбытком творческого начала — то же, что продиктовало мне «Неведомый шедевр» применительно к живописи» («Lettres à l'Etrangère», I, p. 398—399). Многократное возвращение к теме свидетельствует о том, насколько глубок был интерес к ней Бальзака.

Рассказ печатается в переводе И. Брюсовой под ред. В. Дынник, с некоторыми изменениями (в отдельных случаях нами восстановлен перевод И. Брюсовой по изданию 1918 г.; при участии В. Слободчикова внесены поправки смыслового и стилистического характера. — *Р. Р.*).

Первая редакция рассказа на русском языке печатается впервые. Текст, вошедший в окончательную редакцию, дан в том же переводе И. Брюсовой под ред. В. Дынник; текст, впоследствии отвергнутый Бальзаком, а равно и текст, переработанный им для окончательной редакции, переведены В. Слободчиковым.

[1] *...мэтр Франсуа Порбус.* Правильнее Франс Поурбус-младший (1569—1622) — фламандский художник. Родился в Антверпене, обосновался в Париже около 1600 г. Портреты кисти Поурбуса (наиболее известны портреты Генриха IV и Марии Медичи, находящиеся в Лувре) ценятся выше его размеренных и холодных религиозных композиций («Тайная вечеря», «Видение св. Франциска»). Поурбус отличался вдумчивостью. В его лучших работах забота о точности сочетается с искренностью, правдивым психологическим раскрытием модели и значительными достоинствами колорита. Поурбус был довольно популярен в эпоху романтизма. Его картины, по свидетельству Гюго, входили в художественную коллекцию, собранную Бальзаком в его последнем жилище, особняке на улице Фортюне (В. Гюго. «Что я видел». — Гюго. Собр. соч. в 15 томах, т. 14, М., Гослитиздат, 1956, стр. 254). В Ленинградском Государственном Эрмитаже Поурбус-младший представлен двумя групповыми портретами советников городского магистрата.

[2] *...живописец Генриха IV, забытый Марией Медичи ради Рубенса.* Кроме портретов Генриха IV, Поурбусу принадлежат групповые портреты официальных лиц. Мария Медичи, регентша Франции после убийства Генриха IV (1610), делала значительные заказы Рубенсу. В Лувре хранится серия панно Рубенса для Люксембургского дворца, выполненная между 1621 и 1625 гг., с изображением главных событий жизни Марии Медичи.

[3] *Вы сказали бы, что это портрет кисти Рембрандта...* В портретах бальзаковских персонажей обычны сравнения с картинами известных художников. В «Человеческой комедии» насчитывается 213 таких сравнений, чаще других — с картинами Рафаэля, Тициана, Леонардо; с Рембрандтом — 25 раз (M. Scott. Art and artists in Balzac's Comedie Humaine. Chicago, 1937, p. 5, 18).

[4] *...в те тревожные, смутные времена...* Регентство Марии Медичи (1610—1617) отмечено правлением фаворитов, заговорами принцев и вельмож, общим усилением феодальной оппозиции.

[5] *Эта прекрасная страница искусства изображала Марию Египетскую...* Известно множество картин, изображающих Марию Египетскую (среди них полотна художника в манере Корреджо, Риберы, Греза), но не обнаружено картины Поурбуса на этот сюжет. Многие его работы были утеряны, и Бальзак хотел причислить к ним еще одну, по-видимому, созданную его воображением. В первой редакции «Неведомого шедевра» иронически описаны последующие злоключения картины, попавшей в руки солдат и использованной ими в качестве мишени. В окончательном тексте стоит скупая фраза: «Этот шедевр, предназначенный для Марии Медичи, был ею впоследствии продан в дни нужды».

[6] *...недостаточно знать в совершенстве синтаксис...* Эта филиппика Френхофера против безжизненной правильности в живописи, как и упреки в ложности цвета и отсутствии воздуха, возвращали читателя эпохи Бальзака к спорам между романтиками и эпигонами классицизма.

[7] *...тебе придется обратиться к ваятелю, который, не давая точной копии, передаст движение и жизнь.* Дидро в «Салонах» называет уловку некоторых скульпторов, снимающих слепки с рук, ног, плеч живой модели, «достойной не скульптора, а простого литейщика...» (Дидро. Собр. соч. в 10 томах, т. 6. М., Гослитиздат, 1946, стр. 91). Среди просветителей, которых Бальзак назвал «отцами XIX века» (Письмо к г-ну Ипполиту Кастилю, редактору «Недели». — Собр. соч., т. 24, стр. 227), ему был особенно близок Дидро, во многом опередивший свое время. Бальзак отлично знал «Салоны» и восхищался этой книгой (см. Léon Gozlan. Balzac intime. Paris, s. d., p. 190). Можно предположить, что в знаменитых строках «Неведомого шедевра» есть отзвук приведенного суждения Дидро.

[8] *Ни художник, ни поэт, ни скульптор не должны отделять впечатление от причины, которые нераздельны — одно в другом.* Одно из главных требований Бальзака к искусству. Ср.: «Талант проявляется в обрисовке причин, порождающих факты...», «Писатель должен показать нам все его корни» (факта. — *Р. Р.*) (Собр. соч., т. 24, стр. 81, 147—148). В предисловии к «Человеческой комедии» автор говорит, что его задача найти «социальный двигатель», «скрытый смысл огромного скопища типов, страстей и событий» (Собр. соч., т. 1, стр. 27).

[9] *Форма ... только посредник для передачи идей, ощущений, разносторонней поэзии.* Ср. ту же мысль в «Массимилле Дони». В подробном анализе оратории Россини «Моисей» автор настаивает на том, что величие и значительность этого произведения прежде всего в выражении страданий и судеб целого народа. «Поэт держался только силою своей мысли, мощью созданных им образов»; «...мелодии, а не гармонии, дано переходить из века в век». (Бальзак. Повести и рассказы, в 2-х томах, т. 2. М., Гослитиздат, 1959, стр. 143, 162). С той же точки зрения дается разбор «Дон-Жуана» Моцарта и оперных произведений Гамбары в одноименной повести. Мысль о значительности содержания, идейной глубине как первом условии долговечности любого произведения искусства Бальзак развивает по поводу новелл А. Мюссе, «драгоценных безделушек», противопоставляя им литературные произведения, построенные на важном обобщении, значительной идее. («Письма о литературе, театре и искусстве». — Собр. соч., т. 24, стр. 158—159).

[10] *О Мабузе!* Мабузе (Malbodius — от латинского Malbodium, раннего латинского названия города Мобежа), Ян Госсарт (ок. 1478—ок. 1532) — фламандский художник. Его творчеством открывается новый этап Возрождения в живописи северных стран Европы. Побывав в Италии, он воспринял представление о ценности реального мира, идеал физически совершенного человека, глубинность композиции. Присущие ранним полотнам Госсарта готическая вытянутость форм, плоскостность и декоративность сменяются выявлением пластичности и вещественности натуры. Художник широко вводит в нидерландскую живопись античную мифологию («Венера», «Даная», «Нептун и Амфитрита»).

Бальзак, возможно на основании четырехтомного труда Декана «Жизнь фламандских художников» (J. B. Decamps. La vie des peintres flamands, allemands et hollandais. Paris, 1753—1763), ошибочно полагал, что Мабузе умер в 1562 г.; в этом случае Френхофер, «ученик Мабузе», мог быть жив в 1612 г., к которому приурочено действие рассказа. Из книги Декана почерпнуты и сведения о жизни и характере Мабузе, колоритный анекдот о пропитой матерки дамы. В Лувре хранится «Портрет Яна Каронделе», в Эрмитаже — «Снятие с креста» работы Мабузе.

[11] *Никола Пуссен.* В рассказе речь идет о молодых годах знаменитого впоследствии французского художника Никола Пуссена (1594—1665). Гармоничные образы Пуссена воплощают характерный для классицизма идеал героической человечности («Танкред и Эрминия», «Смерть Германика», «Аркадские пастухи», «Моисей, иссекающий воду из скалы» и другие). Пуссен, духовный соратник Корнеля, не пользовался популярностью у «Молодой Франции», Готье его недолюбливал; Бальзак же ставил его в один ряд с Данте, Сервантесом, Мильтоном (статья «О художниках»), Рафаэлем («Lettres

à l'Étrangère», I, p. 157). В повести «Массимилла Дони» упомянуто последнее, трагическое полотно Пуссена «Потоп» (Лувр), как пример глубокого по мысли, сложного и совершенного произведения искусства (Бальзак. Повести и рассказы, в 2-х томах, т. 2, М., Гослитиздат, 1959, стр. 143). Можно предположить, что присущая Пуссену строгая продуманность средств художественной выразительности при сдержанной силе чувства, единство замысла и воплощения побудили Бальзака остановиться на Пуссене как будущем антиподе Френхофера, утратившего эту гармонию и контроль над своим творчеством. В рассказе Пуссену 19 лет. Бальзак, по-видимому, читал Фелибьена (A. Felibien. Entretiens sur la vie et sur les ouvrages des plus excellents peintres anciens et modernes. Paris, 1666—1688, t. IV), который считался лучшим «историком Пуссена». В молодости художник действительно был очень беден и в поисках учителей добрался из своей нормандской деревушки до Парижа. Бальзак тем свободнее мог приурочить вымышленный эпизод к юности Пуссена, что этот период остается наименее ясным в биографии художника.

[12] *Мабузе насчитывал только одного ученика...* В действительности несколько фламандских художников считаются учениками Мабузе, среди них Мартин ван Гемскерк (1498—1574), прозванный «голландским Рафаэлем». В Эрмитаже хранится его триптих «Распятие».

[13] *Это был «Адам»...* Среди работ Мабузе нет картины под таким названием. В Хэмптонском и Берлинском музеях имеются два варианта картины Мабузе «Адам и Ева».

[14] *«Какой прекрасный Джорджоне!»* Джорджоне — великий итальянский художник венецианской школы (1478 (?)—1510). Мастер колорита, он достиг замечательной мягкости письма, окутывая фигуры легкой, прозрачной светотенью. По-видимому, по этому признаку Пуссен принимает за Джорджоне раннюю работу Френхофера, поиски которого шли в том же направлении. Бальзак высоко ценил художников-венецианцев (ср. имена Тициана и Веронезе в речи Френхофера), но еще выше ставил Рафаэля, по его мнению, сочетавшего в своем творчестве преимущества венецианской школы колорита и флорентийской школы рисунка и композиции. В Лувре Джорджоне представлен картинами «Святое семейство» и «Сельский концерт», в Эрмитаже — «Юдифью» и «Мадонной с младенцем».

[15] *Френхофер, учитель мой...* Герой впервые назван по имени. По рассказу трудно судить о его национальности. Как ученик Яна Госсарта Френхофер соотнесен с нидерландской школой.

[16] *Строго говоря, рисунка не существует!* Рассуждения героев рассказа о рисунке и колорите коренятся в современных Бальзаку спорах среди художников. Основой академической техники было подчеркивание значения линий, контура; Энгр отводил цвету второстепенную роль в сравнении с рисунком. Делакруа придерживался противоположной точки зрения. Он видел в цвете одно из основных средств создания образа — прогрессивный принцип романтиков, повлекший за собой отказ от серых, коричневых, бурых тонов академической палитры. У Френхофера увлечение цветом переходит в отрицание рисунка. Ср. Делакруа: «Совершенно так же, как в природе не существует мазков, в ней отсутствуют и контуры. Всегда и неизбежно приходится возвращаться к условным средствам каждого искусства, являющимся языком этого искусства. Что представляет собой рисунок, сделанный приемом «черного и белого», как не чистую условность, к которой зритель привык настолько, что она не мешает его воображению видеть в этом обозначении природы полное соответствие ей?» (Делакруа. Дневник, в 2-х томах, т. 2. Запись от 13 января 1857 г. М., изд. Академии художеств, 1961, стр. 229).

[17] *Нам неведомо, сколько времени потратил властитель Пигмалион...* Пигмалион в греческой мифологии — скульптор, влюбившийся в изваянную им статую. Вняв его молитве, богиня любви Афродита оживила статую и отдала ее Пигмалиону в супруги.

[18] *Как Орфей, я сошел бы в ад искусства...* Орфей — легендарный певец, укрощавший своим искусством диких зверей, зачаровывавший камни и реки. Наиболее известный эпизод его поэтической биографии — нисхождение в царство мертвых, Аид, откуда он вывел свою жену Эвридику.

[19] *...Анджелику...* Анджелика — героиня поэмы Ариосто «Неистовый Роланд» (1532), воплощение чарующей женственности.

[20] *...Беатриче...* Образ небесной возлюбленной и олицетворение высшей мудрости в поэме Данте «Божественная комедия» (1321).

[21] *Не представляют ли предметы такого же явления в атмосфере, как рыбы в воде?* Ср. Делакруа: «Связь. Это воздух, это рефлексы, которые сливают в одно целое наиболее различные по цвету предметы»; «Когда мы смотрим на окружающие нас предметы, будь то пейзаж или интерьер, мы замечаем, что между ними есть нечто связующее, являющееся следствием окутывающей их атмосферы и всякого рода рефлексов, которые вовлекают каждый предмет в некую общую гармонию». (Делакруа. Дневники, в 2-х томах, т. 2, стр. 244. Запись от 25 января 1857 г.).

«Поиски Абсолюта»

Первое издание романа — «La recherche de l'Absolu», в кн.: H. de Balzac. Scènes de la vie privée, t. III. Paris, Bechet, 1834. Он был датирован июнем—сентябрем 1834 г. и разделен на 7 глав: «Дом Клаасов», «История фламандской четы», «Абсолют», «Смерть матери», «Самоотверженность молодежи», «Отец в изгнании», «Абсолют найден». «Сцены частной жизни» входили в серию «Этюды нравов XIX века».

Следующее издание романа — H. de Balzac. Balthazar Claës, ou la Recherche de l'Absolu. Paris, Charpentier, 1839; роман был разбит на 4 главы без названий.

В первом издании «Человеческой комедии» автор переместил роман из «Этюдов нравов» в «Философские этюды», деление на главы было уничтожено. Это издание — H. de Balzac. La comédie humaine, t. XIV. Paris, Furne, Dubochet, Hetzel, 1845.

После первого издания романа Бальзак вносил в текст поправки главным образом стилистического характера; немногие исключения оговорены в наших комментариях. Рукопись «Поисков Абсолюта» была подарена автором Э. Ганской; в настоящее время автограф хранится в собрании Лованжуля, в Шантийи.

Ф. Давен писал со слов Бальзака в предисловии к «Этюдам нравов XIX века»: «Чтобы быть художником вполне, нужно стать разумным средоточием всего, воплотить в себе сияющее единство всех человеческих знаний. Г. де Бальзак узнал от химии, чего она достигла, на чем остановилась; он изучил ее язык и ... вооружился одной из тех ослепительных гипотез, которые, возможно, когда-нибудь осуществятся» (Sp. de Lovenjoul. Histoire des oeuvres de Balzac. Paris, 1886, p. 58).

В письме к Ганской сообщается, что два академика учили химии автора «Поисков Абсолюта» («Lettres à l'Etrangère», t. I, p. 193). Один из упоминаемых автором академиков — Ложье; в коллекции Лованжуля хранится экземпляр романа, подаренный Бальзаком Ложье в октябре 1834 г. с надписью: «В знак благодарности от автора, который мало смыслил в химии». Другой, как предполагают, Гей-Люссак или Шеврель.

Однако публика и критики восприняли теоретические изыскания Клааса в свете привычного литературного изображения алхимиков. Бальзак, который во время напряженной и бесконечно увлекавшей его работы над романом был уверен, что «Поиски Абсолюта» увеличат его славу (см. письмо Ганской от 1 июля 1834 г., там же, стр. 167), в марте 1835 г. разочарованно сопоставляет успех «Отца Горио» с холодным приемом, оказанным роману о химике: «Этот бестолковый Париж ... не обратил внимания на „Поиски Абсолюта"...» (там же, стр. 237). В литературном обозрении газеты «Конститюсионель», посвященном роману, некто за подписью I. C. T. иронии-

чески перечислил длинный ряд всевозможных магов, алхимиков и мошенников «от Зосимы Панополитанского до Клааса, созданного г-ном Бальзаком». Сент-Бев, встретивший роман осторожной и унизительной по тону похвалой, оценил его нравоописательную и психологическую сторону, но о деятельности главного героя отозвался весьма пренебрежительно, сопоставив его, для вящего посрамления Клааса и его автора, с кротким и богобоязненным алхимиком из анонимной брошюры 1832 г. «Разгаданный Гермес». В театре «Жимназ» в 1837 г. давали одноактный водевиль Баяра и Бьевиля «О золоте, или Мечта ученого» «по мотивам» бальзаковского романа, о чем директор театра любезно известил автора («Correspondance», III. Paris, Garnier, p. 345). Только к концу прошлого века начинают соотносить «Поиски Абсолюта» с современным развитием науки. Затем попытки эти уступили место версии, согласно которой на замысел романа решающим образом повлияло знакомство Бальзака с польским математиком и философом-мистиком Вронским (см. G. Thouvenin. La genèse d'un roman de Balzac. — «Revue d'histoire littéraire de la France», 1911, p. 876; F. Baldensperger. Orientations étrangères chez Balzac. Paris, Champion, 1927). В конце романа есть отзвук анекдотического судебного процесса 1818 г., на котором Вронский выступил обвинителем против своего ученика, якобы получившего от него секрет «Абсолюта». Бальзак заимствовал некоторые черты биографии Вронского — польского изгнанника и наполеоновского офицера — для образа Адама Вежховни, «искусителя» Клааса, и, возможно, взял у Вронского слово «Абсолют». Но самое содержание понятия «Абсолют» в романе (материальная первооснова мира) не имеет отношения к мистическому «Абсолюту» Вронского, его темному и сложному теистическому учению. В настоящее время во французском бальзаковедении уже преодолена тенденция сводить Бальзака к различным «источникам», отрицая оригинальность его мысли («Notice sur «La recherche de l'Absolu», в кн.: H. de Balzac. Oeuvres complètes. Edition nouvelle, établie par la Société des études balzaciennes, t. XIX. Paris, Le Prat, 1960, p. 102).

Роман печатается в переводе Б. А. Грифцова под редакцией В. А. Дынник. В отдельных случаях восстановлен перевод Б. А. Грифцова по 16-му тому собрания сочинений Бальзака в 20-ти томах под редакцией А. Луначарского и Е. Корша. М.—Л., Гослитиздат, 1933; нами внесены отдельные уточнения и стилистические поправки.

[1] *Госпоже Жозефине Деланнуа...* Посвящение появилось в издании 1839 г. Жозефина Деланнуа — друг матери Бальзака, вдова богатого поставщика провианта. Ее семья и семья Бальзаков были дружны на протяжении нескольких десятилетий. Жозефина Деланнуа не раз помогала писателю во время его денежных затруднений. Ей были подарены рукопись «Гамбары» и экземпляр «Поисков Абсолюта» издания 1834 г. с поправками автора для издания 1839 г. и посвящением.

[2] *...перешагнуть за предел, что и делали Микеланджело, Бьянка Капелло, г-жа де Лавальер, Бетховен и Паганини.* В ряду проявлений «силы кипучей, переливающейся через край» Бальзак называет великих художников и Бьянку Капелло, фаворитку, а с 1579 г. жену герцога Тосканы Франческо Медичи, известную преступлениями, которыми она проложила себе дорогу к трону; г-жу де Лавальер (1644—1710) — возлюбленную Людовика XIV, ушедшую в монастырь после того, как она была оставлена королем.

[3] *...ради выгод Ганзейского союза.* Ганза — торговый и политический союз северонемецких городов в XIV—XVII вв. Власть в ганзейских городах принадлежала купеческой верхушке.

[4] *...под именем «дома Клаасов».* Имя Клаасов встретилось Бальзаку при сборе материалов для задуманного им исторического романа «Король галантереи» (1826—1828), действие которого было приурочено к 1539 г. (фрагменты опубликованы в изд.: H. de Balzac. Oeuvres complètes, t. 15, Appendice, Paris, Le Prat, 1956—1962). В рукописи Бальзака фигурировал старшина ткачей Лоран Клаас, казненный при подавлении восстания против Карла V в Генте. Бальзак ввел гентского Клааса в «Поиски

Абсолюта», представив Валтасара Класса его потомком — обычное для писателя стремление к достоверной исторической основе в родословных своих героев.

[5] ...*традиционный праздник Гейана*... Великан Гейан — герой фламандских народных преданий, покровитель города Дуэ.

[6] ...*знаменитый резчик по дереву Ван-Гейсум из Брюгге*. Ван-Гейсумы — голландские художники XVII и первой половины XVIII в., прославившиеся главным образом изображением цветов. Бальзак называет Ван-Гейсумом современника нидерландской революции, вырезавшего по дереву массовые сцены; видимо, этого созданного им художника он «приписал» семейству известных Ван-Гейсумов, подобно тому, как в «Неведомом шедевре» приписал известному живописцу Поурбусу картину «Мария Египетская».

[7] ...*сцены из жизни Артевелде*... Артевелде — старшина цеха пивоваров в городе Генте, возглавивший в 1336 г. восстание во Фландрии.

[8] ...*шишки, где Галль помещал миры поэзии*. Франц-Иосиф Галль (1758—1828), австрийский анатом и врач. Его работы по анатомии мозга, мысль о зависимости важных физиологических процессов от высшей нервной деятельности имели научное значение. Но популярность Галля, жившего с 1807 г. во Франции, была основана не на этих трудах, а на созданной им лженауке френологии, учившей определять умственные способности и душевные качества человека по форме его черепа. Локализация функций мозга подтвердилась позднейшими открытиями, но «универсальное» применение, которое дал Галль идее локализации в своей френологии, было антинаучно.

[9] ...*научная система, приписывающая всякому человеческому лицу сходство с головой животного*... — система Лафатера (см. примечание 10).

[10] ...*Лафатеру захотелось бы изучить его лицо*... И. К. Лафатер (1741—1801) — швейцарский богослов, поэт и натуралист. Свои «Физиономические фрагменты» (1778) Лафатер построил на идее соответствия между лицом и характером человека, тем самым вступив, по словам ученого нашего времени, на одну из самых трудно проходимых тропинок науки (Г. Глязер. Исследование человеческого тела от Гиппократа до Павлова. М., Медгиз, 1956, стр. 214). Суждения Лафатера основаны на интуиции и произвольны. Галль и Лафатер десятки раз упоминаются в описаниях бальзаковских персонажей, внешность которых обычно представлена как отправное начало для суждений об их психологии. Эти авторы, при всей фантастичности их домыслов, импонировали Бальзаку утверждением тесных связей между физическими и духовными чертами человека.

[11] ...*энтузиаст принял бы его за ясновидящего Сведенборговой церкви*... Сведенборг (1688—1772) — шведский мистик, автор многочисленных теософских трактатов; в мире природы видел только символ огромного невидимого мира духов. Бальзак был знаком с весьма сложным учением Сведенборга по сокращенному и неточному изложению Дайян де ла Туша. Часто ссылаясь на шведского «пророка», Бальзак в действительности использовал в своей «Мистической книге» лишь отдельные элементы его учения, совершенно свободно их преобразовав.

[12] ...*и внучки испанского герцога Каса-Реаль*. В первом издании романа здесь кончалась 1-я глава «Дом Клаасов» (La maison Claës). Следовало название 2-й главы — «История фламандской четы» (Histoire d'un ménage flamand).

[13] *То были знаменитые произведения Рубенса, Рейсдаля, Ван-Дейка*... Бальзак называет тринадцать знаменитых голландских и немецких художников — характерный для него гиперболизм в перечне сокровищ, которыми владеют его герои. Другой подобный пример — художественная коллекция Понса в романе «Кузен Понс» (1847).

[14] *Большинству женщин знакомы те тревоги*... В первом издании этими словами открывалась 3-я глава — «Абсолют» (L'Absolu).

[15] *Я прочла Фуркруа, Лавуазье, Шапталя, Нолле, Руэлля, Бертоле, Гей-Люссака, Спалланцани, Левенгука, Гальвани, Вольта*... В этом перечне названы рядом химики

и натуралисты, ученые XVIII и первых десятилетий XIX в., способствовавшие утверждению идеи общности между неорганическим и органическим миром. Левенгук (1632—1723), значительно усовершенствовав микроскоп, наблюдал сходное клеточное строение растительных и животных тканей, создавая почву для общебиологической теории клетки. Лавуазье открыл природу горения и сохранения массы, открыл также сущность процесса дыхания, приложив к живому организму химические законы, проявляющиеся в мертвой природе. Гальвани в полемике с Вольта доказал существование токов в животных организмах. Не установлено, читал ли Бальзак труды всех ученых, названных в романе, или же с частью их был знаком только в изложениях; так или иначе он воспринимал их в плане идеи материального единства мира, которая владеет и героем «Поисков Абсолюта». В письмах к Ганской упоминается о том, что для «Поисков Абсолюта» Бальзак читал Берцелиуса, сделавшего чрезвычайно много для обоснования и развития атомистических представлений, считавшего электричество коренным свойством материи.

[16] *...в манере Бернара де Палисси...* см. выше.

[17] *...старик Саварон де Саварюс...* Саварон де Саварюсы в «Человеческой комедии» — один из старинных родов Бельгии (см. роман «Альбер Саварюс», 1842).

[18] *Польского дворянина звали Адам Вежховня...* Фамилия дана герою по названию поместья Эвелины Ганской Вежховня (Верховня) на Украине.

[19] *...у нас возникла бы единая химия.* По мысли Бальзака, единая — «унитарная» химия означает отвергающая непереходимую преграду между неорганическим и органическим миром, исходящая из связи между элементами. Ибо у них общее происхождение. Французский ученый Эд. Гримо (автор книги «Химические теории и знаки», 1884) обратил внимание на то, что термин «унитарная химия» употреблен Бальзаком за десять лет до Шарля Жерара (1816—1856). Жерар — создатель новой классификации органических соединений, подчеркивавшей взаимосвязи между ними, один из основоположников атомно-молекулярного учения, исправивший ошибку Берцелиуса (отрицание внутреннего единства частиц), называл свои взгляды «унитарной системой», «унитарным методом».

[20] *...близки к великой «троичности»...* Вера в таинственное значение некоторых чисел — единственный из предрассудков алхимиков, разделяемый Клаасом.

[21] *...но так как в семени их тоже нет...* В первом и втором изданиях романа было «но так как в воздухе их тоже нет» (см. соответственно р. 132, 116).

[22] *...вероятно, содержали в себе общее начало, переходящее из одного вещества в другое в условиях атмосферы, насыщенной солнечными лучами.* В двух первых изданиях читаем только: «вероятно, содержали в себе общее начало» (р. 132, 116—117). Вторая половина фразы, начиная от слова «переходящее», была добавлена Бальзаком в третьем издании (р. 364).

[23] *Из этого безупречно убедительного опыта...* Опыт с кресс-салатом описан у нескольких старых авторов, ошибочно полагавших, что растения получают из почвы только воду и сами, своей «жизненной силой», создают из воды и воздуха все неорганические вещества, обнаруживаемые в них анализом. Несостоятельность таких взглядов была уяснена еще во времена Бальзака. Т. Соссюр опровергал их в 1804 г. (T. Saussure. Recherches chimiques sur la végétation. Paris, 1804, p. 242, 283); в 1840 г. Либих доказал, что растения получают из почвы минеральные соли. Описание опыта у Бальзака почти верно, объяснение же ошибочно: в действительности рост кресс-салата в данных условиях происходит за счет тех минеральных веществ, которые заключены в семени, и прекращается, когда запасы солей в семени исчерпаны. Бальзак, как обычно, свободно переосмысляет материал своего источника и, повторяя некоторые неверные утверждения (например, об отсутствии солей в семени), приписывает результаты опыта не «жизненной силе», а существованию в различных элементах общей основы и превращениям, происходящим в растениях под воздействием солнечного света.

[24] ...*у Шталя, Бехера, Парацельса, Агриппы*... Агриппа из Кёльна (1486—1535) — известный ученый и врач, советник императора Карла V; был алхимиком и написал трактат «Оккультная философия». Парацельс (1493—1541) — швейцарский хирург и философ, сочетавший глубокие наблюдения и экспериментальный метод с элементами астрологии, учением об особом духовном начале, «архее»; обвинялся в ереси, был прозван «Лютером от медицины». И.-И. Бехер (1625—1682) — немецкий алхимик и врач. Г.-Э. Шталь (1660—1734) — немецкий химик и врач; в своих медицинских теориях отдал большую дань мистике. Интерес Бальзака к алхимикам основан на том, что они поставили, в фантастической форме, проблему универсальной связи между элементами; его привлекало также стремление алхимиков к неограниченной власти над миром (ср. его повесть «Тайны Руджиери», 1836).

[25] ...*у идиота мозг содержит в себе наименьшее количество фосфора*... Как отмечает М. Яуанк, во времена Бальзака занимались морфологией мозга, но не его химией; Берцелиус настаивал на присутствии фосфора в мозгу, не делая выводов о физиологии интеллекта. Если идея Бальзака не была совершенно оригинальной (о зависимости интеллекта от количества фосфора в мозгу писали Кабанис в 1803 г., Кувьер в 1834 г.), она тем не менее была новой, нераспространенной. Оригинальным было сочетание ее с представлением об электротоках в организме (M. Yaouanc. Notes balzaciennes — RHLF, 1953, № 4). Бальзак проявляет точное чутье, выделяя среди химиков Берцелиуса, считавшего электричество основной «силой» природы. Процессы в мозгу рисуются Бальзаку как электрохимические; он видит в человеке «равнообразные комбинации электричества», утверждает, что ощущение и мышление требуют сгорания; в общих чертах это направление мысли не противоречит исследованиям биохимических основ психики, характеризующим науку середины XX в.

[26] *После вечера, столь важного в жизни этой семьи*... — в первом издании начало 4-й главы «Смерть матери» (La mort d'une mère).

[27] ...*пришел двадцать девятый бюллетень*... — последний бюллетень наполеоновской армии во время русской кампании, датированный 3 декабря 1812 г. из Молодечно.

[28] *Это все те же картины Мириса или Терборха*... — голландские художники XVII в. Мирис (Мьерис) писал выразительные бытовые сцены («Продавщица шелка», «Женщина у зеркала», «Чаепитие»). Терборх изображал размеренную жизнь горожан. Его картины, несложные по сюжету, с немногими фигурами в спокойных позах и любовно выявленной фактурой богатых тканей, отличаются изяществом.

[29] ...*как мог бы это сделать по меньшей мере Мирабо*... Мирабо — депутат Генеральных штатов, знаменитый оратор, представлявший либеральное дворянство и буржуазную верхушку накануне французской революции и на ее раннем этапе.

[30] ...*г-жа Буриньон, так же, как писатели квиэтисты и иллюминаты*... Антуанета Буриньон (XVII в.) — автор многочисленных мистических сочинений, заполненных «откровениями святого духа». Квиетизм — мистически-религиозное направление второй половины XVII в., проповедь растворения духа в религиозном созерцании; квиетисты отвергали официальные религиозные догмы и церковные власти. Иллюминаты — в Европе второй половины XVIII в. тайные религиозно-политические общества с утопической программой социальных и религиозных реформ.

[31] ...*суровые преследования цензуры, постигшие Фенелона и г-жу Гийон*. Франсуа Фенелон (1651—1715) — французский писатель, автор романа «Приключения Телемака». Как последователь квиетизма был сослан в Камбре в 1697 г. Жанна-Мари Гийон (Гюйон) (1648—1717), квиетистка, проповедовавшая бесхитростную «веру пастухов», автор книги «Потоки духа» и многих мистических стихотворений; за ересь была в заключении в монастыре, затем в Венсенской крепости и в Бастилии.

[32] ...*опыт по разложению азота* ... *Азот содержит в себе кислород и еще некую невесомую субстанцию*... В XX в. удалось не разложение, а превращение азота В 1919 г. Резерфорд, бомбардируя атомную мишень азота α-частицами, получил кисло-

род, при выбрасывании протонов. Известен радиоактивный изотоп азота, превращающийся в углерод.

[33] *Общество не проявляет ни одной из тех добродетелей...* в первом издании — начало 5-й главы «Самоотверженность молодежи» (Devouements de la jeunesse).

[34] *Он потерял всякую предусмотрительность, вроде тех негров...* По-видимому, материал для сравнения взят Бальзаком из новеллы Проспера Мериме «Таманго» (1829).

[35] *Ты читала Стерна?* Лоренс Стерн (1713—1763) — английский писатель, автор романов «Жизнь и мнения Тристрама Шенди» и «Сентиментальное путешествие», в остроумной форме разрушавший как рационалистические, так и сентименталистские схематические представления о человеческом характере. Бальзак в «Физиологии брака» назвал Стерна «оригинальнейшим из английских писателей».

[36] *Несколько месяцев протекло совершенно спокойно.* В первом издании — начало 6-й главы «Отец в изгнании» (Le père en exil).

[37] *Случайно за семь лет осуществилась, в мое отсутствие, задача...* В первом издании: «Случайно за пять лет»... (р. 357). Изменение внесено во 2-м издании (р. 322).

[38] *...ужасающая сила, происходящая от движения воспламененной материи и, вероятно, создающая металлы и алмазы.* В первом и втором изданиях: «...ужасающая сила катаклизма, быть может, создающая металлы и алмазы...» (р. 359, 324).

[39] *Граф и графиня де Солис-и-Ноуро пробыли в Испании...* В первом издании — начало 7-й главы «Абсолют найден» (L'Absolu trouvé).

[40] *...не подражая детям Софокла...* По рассказу Цицерона, Софокл, продолжавший творить до глубокой старости, забросил свои имущественные дела и был привлечен к суду сыновьями, требовавшими признания его слабоумным и лишения прав управлять имуществом. В доказательство того, что он не безумен, поэт прочитал судьям песнь хора из своей последней трагедии «Эдип в Колоне», и они решили дело в его пользу.

[41] *...в последних числах сентября 1831 года...* В первом издании: «В последних числах сентября 1830 года...» (стр. 371—372). Изменение внесено во 2-м издании (р. 332).

[42] *...были проданы — по слухам, лорду Спенсеру.* Джордж Спенсер (умер в 1834 г.) — первый лорд адмиралтейства, известный коллекционер предметов искусства.

[43] *В конце 1832 года...* В 1-м издании: «В начале 1831 года...» (р. 384). Во втором издании: «в начале 1832 г.» (р. 344).

[44] *...Он увидел слова: Открытие Абсолюта...* В первом издании — «увидел слово Абсолют...» (р. 386). «Открытие» добавлено Бальзаком во 2-м издании (р. 345).

Список иллюстраций

СТРАНИЦА ИЗДАНИЯ «НЕВЕДОМОГО ШЕДЕВРА», иллюстрированного Пабло Пикассо (Париж, 1931) . . . . . .
ФРЕНХОФЕР. Гравюра с рисунка Берталя по изданию «Человеческой комедии», т. 14 (Париж, 1845) . . . . . .
ФРАНС ПОУРБУС-МЛАДШИЙ. Гравюра из книги по истории живописи (Париж, 1864)
ПУССЕН И ЖИЛЛЕТТА У ФРЕНХОФЕРА. Гравюра из иллюстрированных сочинений Бальзака (Париж, 1851) . . . . . .
ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА ИЗДАНИЯ «НЕВЕДОМОГО ШЕДЕВРА», иллюстрированного Пабло Пикассо (Париж, 1931) . . . . . .

Содержание

НЕВЕДОМЫЙ ШЕДЕВР (*Перевод И. М. Брюсовой*) 5
ПОИСКИ АБСОЛЮТА (*Перевод Б. А. Грифцова*) 33
НЕВЕДОМЫЙ ШЕДЕВР. Фантастический рассказ
Первоначальная редакция (*Перевод И. М. Брюсовой и В. А. Слободчикова под редакцией Р. А. Резник*) . . 179

ПРИЛОЖЕНИЯ

Два «Философских этюда» Бальзака. *Р. А. Резник* 199
Примечания (*составила Р. А. Резник*) 225
Список иллюстраций 235

Оноре де Бальзак

НЕВЕДОМЫЙ ШЕДЕВР
ПОИСКИ АБСОЛЮТА

*

Утверждено к печати редколлегией серии «Литературные памятники»

Художник *Б. И. Астафьев*. Технический редактор *Ю. В. Рылина*

Сдано в набор 15/XII 1965 г. Подписано к печати 28/II 1966 г. Формат 70×90¹/₁₆. Печ. л. 14,75. Усл. печ. л. 17,26. Уч.-изд. л. 15,5. Тираж 35.000 экз. Изд. № 523. Тип. зак. 666.

Цена 1 р. 10 к.

Издательство «Наука». Москва, К-62, Подсосенский пер., д. 21

1-я тип. издательства «Наука». Ленинград, В-164, 9 линия, дом 12